

SLAVICA XLII

A kötetet lektorálták:

DSc Agyagási Klára

DSc Hunyadi László

DSc Eberhard Winkler

Dr habil. Balázs L. Gábor

Dr habil. Goretity József

CSc Regéczi Ildikó

CSc Петър Сотиров

ISSN 0583-5356

Debreceni Egyetem

Felelős kiadó: Szilvássy Zoltán rektor

Szedés: DE BTK Szlavisztikai Intézet

Nyomás: DE Repográfiai Osztály

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

Slavica

XLII

EDITIONEM CURANTE
NAVA-VANDA SAHVERDOVA

ADIUVANTE
GORETITY JÓZSEF

REDIGUNT
KLÁRA AGYAGÁSI



DEBRECEN
2013

Авторы тома – Autorzy tomu – Авторите на сборника – Autors of the volume

Prof. DSc AGYAGÁSI Klára
Debreceni Egyetem
Magyarország
klara.agyagasi@gmail.com

Dr. BALOG Edit
Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Magyarország
baloged@jgypk.u-szeged.hu

DR. V. GILBERT Edit
Pécsi Tudományegyetem
Magyarország
gilbert.edit@pte.hu

д-р Юрий Павлович ГУСЕВ
Институт славяноведения РАН
Россия
juguszzev@yandex.ru

проф. ДЪЯКОВА Тамара Александровна
Воронежский государственный
университет
Россия
tamara @vmail.ru

PhD GYÖRFI Beáta
Debreceni Egyetem
Magyarország
blazsenyka@yahoo.com

Prof. DSc HETÉNYI Zsuzsa
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyarország
hetenyi.zsuzsa@btk.elte.hu

доц. д-р Венета ЯНКОВА
Шуменски Университет
„Епископ Константин Преславски“
България
veneta_yankova@abv.bg

проф. д-р Живка КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА
Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“
България
jivka@yahoo.com

KOVÁCS Kornél (MA)
Debreceni Egyetem
Magyarország
kkornel89@gmail.com

Dr. habil. KROÓ Katalin
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyarország
krookatalin@freemail.hu

Вера Петровна ЛЕДЕНЕВА (МА)
Debreceni Egyetem
Magyarország
veneva87@mail.ru

PhD REGÉCZI Ildikó
Debreceni Egyetem
Magyarország
iregeczi@yahoo.com

dr hab. Wiesław Tomasz STEFAŃCZYK
Uniwersytet Jagielloński
Polska
wieslaw.stefanczyk@uj.edu.pl

SZABÓ Krisztina (MA)
Научная библиотека Ужгородского
Национального Университета
Украина
kriszti@mail.ru

PhD SZABÓ Tünde
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Magyarország
sztunde@btk.nyse.hu

VASS Annamária (MA)
PhD-hallgató
Debreceni Egyetem
Magyarország
annamaria.vass@gmail.com

Вадим Олегович ВОЗДВИЖЕНСКИЙ (МА)
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
Magyarország
vadim_vozdvizhensky@mailbox.hu

СОДЕРЖАНИЕ

AGYAGÁSI Klára: К 70-летию профессора Золтана Хайнади.....	9
Публикации проф. Золтана Хайнади	13
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ	27
Дьякова, Тамара: Русские грёзы: к вопросу о национальном менталитете	29
ВОЗДВИЖЕНСКИЙ, Вадим: Венгерский период и его место в биографии Сквороды.....	47
ГУСЕВ, Юрий: Йожеф Этвеш и Николай Гоголь	69
KROÓ Katalin: Performance as Embedded Text in the Literary Work from a Semiotic Point of View	77
REGÉCZI Pálkó: Театральность Петербурга в театральном пространстве. «Маскарад» Лермонтова.....	93
SZABÓ Krisztina: Философия любви и ее художественное воплощение в романе И. А. Гончарова «Обрыв»	107
SZABÓ Tünde: Тайна угловой комнаты. Ветхозаветная и новозаветная традиции в повести Л. Улицкой «Сонечка»	119
GILBERT Edit V.: Women's roles, destinies and characters in works of Lyudmila Ulitzkaya and Magda Szabó	127
NETÉNYI Zsuzsa: «Кровавый разлив». Погромы 1905 года в русско-еврейской прозе	135
ЯЗЫКОЗНАНИЕ	147
КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА, Живка: Этимологическая память слова как вспомогательный критерий в этимологическом исследовании (Заметки к семантической реконструкции названий правой стороны, восходящих к и.-е. *deks-).....	149
AGYAGÁSI Klára: О трех редких диалектизмах, легших в основу некоторых русских заимствований в марийском языке.....	165
ЛЕДЕНЕВА, Вера: Труд как аксиологическая доминанта образа человека в речевом жанре «поздравление»	177
КУЛЬТУРОЛОГИЯ	187
ЯНКОВА, Венета: Татарски образи в историографията и в историческата памет (по материали от Полша и Литва) (Част 2).....	189

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ	209
GYÖRFI Beáta: Обзор новейших исследований по формальному описанию грамматических явлений славянских языков.....	211
VASS Annamária: Игорь Сухих, <i>Русский канон. Книги XX века.</i> Москва, 2013.....	222
БАЛОГ Эдит: Виктор Ариповский, <i>Литературоведческие исследования.</i> Ужгород, 2011	229
STEFANCZYK, Wiesław Tomasz: <i>A szótól a szövegig,</i> red. Vilmos Bárdosi, Budapest, 2012	234
KOVÁCS Kornél: С. В. Бромлей, <i>Проблемы диалектологии, лингвогеографии и истории русского языка.</i> Москва, 2010.....	236
NAGY István: Irodalomértés – kultúrabölcseleti alapon.....	241

К 70-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА ЗОЛТАНА ХАЙНАДИ

Профессор Института Славистики Дебреценского университета, известный исследователь и всеми уважаемый преподаватель классической русской литературы Золтан Хайнади в январе 2014 года отмечает 70-летие со дня рождения.

Он родился в 1944 году в городе Коложвар. В 1963 г. он поступил на отделение русского и венгерского языка и литературы университета им. Аттилы Йожефа (г. Сегед), которое он окончил в 1968 г. Молодой специалист устроился в Педагогическом институте в г. Печ, где он преподавал русскую литературу в течение 10 лет. В 1971 г. он защитил диссертацию на соискание степени «*doctor universitatis*», в своем альма-матере в г. Сегеде, а в 1977 г. стал аспирантом-заочником в университете им. Ломоносова в Москве. В 1978 г. Хайнади был приглашен на работу в Институт славянской филологии университета им. Лайоша Кошута в Дебрецен, где преподавал русскую литературу XIX века, и проработал дальнейшие 35 лет до ухода на пенсию.

Кандидатскую диссертацию он защитил в 1980 г. на тему «*О природе трагического и катарсиса в произведениях Льва Толстого*». В этом же году ученый стал доцентом дебреценского университета. Между 1989 и 1992 годами Золтан Хайнади был избран на должность директора Института славянской филологии, а заведующим Кафедрой русской литературы он работал с 1989 г. до конца июня 2008 г. Будучи директором института с 1989 года он являлся ответственным редактором ежегодника, публикующего филологические труды института «*Slavica*». (Ежегодник с 2007 года получил международную квалификацию ERIH C). В 1992 г. он опубликовал свою вторую монографию (*Русский роман*), который принес ему международную известность.

Научная карьера Хайнади продолжалась хабилитацией в 1997 г.: он опубликовал в качестве хабилитационного труда монографию под названием *Культура как память*. С этого времени Золтан Хайнади играет очень активную организаторскую роль в научной жизни института и университета. Он, вместе с коллегами, являлся составителем нового учебного плана славистического образования по болоньской системе в Дебреценском университете, а также разработал программу «Классический русский и польский роман в компаративном подходе» для Литературоведческой докторской школы университета. Участником разных конкурсов ему удалось получить значительные гранты для финансирования публикации шести литературоведческих монографий и основанного им периодического сборника *Русский постмодерн*. Было издано 8 томов этой периодики, которые включали переводы

на венгерский язык таких произведений, которые подняли русскую культурологию и лингво-философское мышление на мировой уровень.

Уделяя особое внимание воспитанию нового поколения литературоведов, Золтан Хайнади успешно готовил студентов к Государственной научной конференции вузов (OTDK), где его ученики в секции литературоведения два раза занимали первое место. Под его руководством было написано и защищено 6 диссертаций PhD. Его личность воплощает идеальное представление о педагоге и ученом одновременно. Он, прежде всего, филолог, в этимологическом смысле слова – «любитель логоса», миротворящего огненного слова. Он умственный труженик, принесший в жертву работе свое зрение. Он часто говорил: наша моральная обязанность – оказать филологическую помощь. Такая его направленность способствовала опознанию более глубоких смысловых связей выдающихся произведений классической русской литературы одаренными студентами, и этим он старался научить их мыслить самостоятельно.

Между 1999 и 2002 гг. ему присудили профессорскую стипендию им. Иштвана Сечени, а в марте 2004 г. он защитил диссертацию на тему *София и Логос – Парадигматическо-синтагматическая система русской культуры, бинарные оппозиции, альтернативы их преодолений* на соискание ученого звания «доктор Венгерской Академии Наук». В 2005 г. президент Венгерской Республики назначил его профессором классической русской литературы и культуры Дебреценского университета. Увенчанием карьеры профессора Хайнади в 2006 г. было награждение Медалью Пушкина, которая была ему вручена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Будапеште за большой вклад в сближение и взаимообогащение культур народов Российской Федерации и Венгерской Республики и укрепление дружественных отношений между двумя странами.

За 44 года своего активного творческого пути профессор З. Хайнади опубликовал 8 монографий (две из них на русском языке), ряд университетских пособий и более ста научных статей в престижных журналах на русском, немецком, английском, французском и венгерском языках в разных странах мира. В научной деятельности профессора З. Хайнади можно выделить три периода: 1. После окончания университета определилось его научное пристрастие: Лев Толстой был для него ближе всего. Он посвятил творчеству Толстого две монографии. 2. Книга «Русский роман» оказалась серьезной данью литературоведа десятилетнему увлечению поэтикой. 3. В третий период он с головой ушел в изучение вопросов семантики и семиотики культуры.

Его научные результаты во всех трех областях распространялись в широком кругу публики и были встречены признанием и одобрением. О его трудах появляются рецензии специалистов в таких журналах, как *Australian Slavonic and East European Studies*, *Rusistica Española*, *La Revue Russe*, *Slavia Orientalis*, *Canadian Slavonic Papers*. Но редко бывает, когда ученому удается поддерживать контакт не только со специалистами исследованной им темы,

но и с повседневными читателями, интересующимися мнением иностранных исследователей о своей отечественной литературе. Хайнади это удалось. Благодаря электронному виду коммуникации к авторам статей быстро доходят письма читателей журнала *Литература*, как это было, например, в 29 номере в 2004 г. Читатели писали в редакцию журнала следующее: «Спасибо, что печатаете таких чудесных исследователей, как Золтан Хайнади. Удивительно, как тонко понимает он язык русской литературы. А статья о Чехове его просто прекрасна. – Сургутчане из гимназии Салахова». Недаром ученый гордится сильнее всего тем, что его статьи публикуются регулярно в России, в журнале *Литература и Вопросы литературы*.

Многосторонность научных интересов З. Хайнади известна. Недавно из печати появилась книга профессора-юбилера «Огонь бытия. Светящийся логос». Она представляет собой сборник статей ученого, напечатанных в различных периодических изданиях в последние годы. Важное место в его статьях занимают вопросы искусства (живописи, музыки, фильма) в их взаимодействии с литературой. Здесь присутствует также явно, как и во всех остальных работах З. Хайнади, его поэтическая концепция «художественных систем».

После обозрения важных моментов жизненного пути профессора Золтана Хайнади с позиции фактов, хотелось бы перейти на более субъективный тон. Ведь последние 27 лет за исключением небольшого перерыва мы работали вместе не только в институте, но и в одном кабинете. Это время – с 1987 года – которое было периодом реорганизации русистического высшего образования в Венгрии, было насыщено спорами и даже конфликтами разнообразного характера. Золтан Хайнади во время изменений всегда стремился к миру и компромиссам, сохраняя старые ценности, создавая новые. Он всегда представлял мудрость и умеренность, благодаря чему он пользовался доверием разных поколений университетского общества.

А что получили студенты от учителя? Прежде всего, веру в силу слова, любовь к тому, чем занимаешься, и постоянное стремление к улучшению и совершенствованию знания. Остается только надеяться, что его учение дойдет до учеников и будет ими понято. Ведь это – высшая награда учителя. Здесь уместно напомнить и о двадцатилетней деятельности З. Хайнади в качестве редактора международного научного ежегодника «*Slavica*». Мы долгие годы работали вместе над рукописями авторов. Нам было радостно, когда в редакцию поступали хорошие статьи, но надо сказать, что иногда получали и полуготовые работы. Профессор Хайнади с бесконечным терпением переписывался с авторами таких рукописей, давал подробные указания для их улучшения. Он не жалел времени и энергии, помогая начинающим исследователям распознать свои ошибки, и улучшить качество работы. Он показал новому поколению пример профессионализма и взыскательности, чем оставил свой след – как ученый и педагог – в истории венгерского русистического литературоведения.

70 лет – многим может оказаться напоминанием о беге времени. Но в случае Золтана Хайнади это не так. Он не стареет ни видом, ни духом. Остается пожелать ему активных лет и новой серии творческих успехов, радости в работе и в личной жизни. С днем рождения!

*Проф. Клара Адягаши
ответственный редактор ежегодника*

ПУБЛИКАЦИИ ПРОФЕССОРА ЗОЛТАНА ХАЙНАДИ

1968

Első ének. Fiatal költők versei. Szerk. Mezei András // Tiszatáj 22, (1968/6), 566.

Abody Béla: Saulus vagy Paulus // Jelenkor 11, (1968/11), 1068–1069.

1969

Tragikum és katarzis az *Anna Kareninában*. Miért nem fejezte be Tolsztoj a regényt Anna halálával? // A Pécsi Tanárképző Főiskola közleményei (PTF Acta) 13, (1969), 69–85.

Che Guevara az Új Írásban // Jelenkor 12, (1969/1), 94.

1970

Balla László: Meddőfelhők // Tiszatáj 24, (1970/3), 270.

A satirikus fantasztikum tradíciói Majakovszkij két drámájában // PTF Acta 14, Pécs, (1970), 60–73.

1972

A Dosztojevszkij és a Tolsztoj művek befejezetlenségének háttere // PTF Acta 16, (1972), 29–36.

A korszerű idegen nyelvű irodalomtanítás problémái // Felsőoktatási Szemle 21, (1972/7–8), 494–498.

A szovjet-magyar irodalmi kapcsolatok 50 éve // 50 éves a Szovjetunió. Pécs, (1972), 67–70.

1973

Некоторые вопросы преподавания русской и советской литературы в пединститутах // Főiskolai Ruszisztikai Napok. Szeged, (1973), 62–64.

Dialektikus kapcsolatok Tolsztoj *Anna Karenina* című regényében // PTF Acta 17, (1973), 109–118.

1975

A „véletlen családok” tragikuma. Az *Anna Karenina*, a *Galavljov család* és *A Karamazov testvérek* tragikum és katarzis koncepciójának összevetése // PTF Acta 19, (1975), 5–15.

L. N. Tolsztoj Anna Karenina című regényének magyar nyelvű fordításairól és fogadtatásáról // MAPRJAL Baranya megyei emlékülés anyaga. Szerk. Dr. HAJNÁDY Zoltán és Dr. HAJZER Lajos. Pécs, (1975), 54–63.

1976

Az esztétikum és etikum összefüggései Tolsztoj és Csehov „családi boldogság” témájára írott műveiben // PTF Acta 20, (1976), 3–18.

Az orosz irodalom története. A XIX. század második fele (oroszul) (Hajnády Zoltán – Diósi Rezsőné – Csőzik Istvánné). Tankönyvkiadó, Budapest, (1976), 36l.

Orosz irodalmi szöveggyűjtemény II. 1–2. köt. (oroszul) (Hajnády Zoltán – Diósi Rezsőné – Csőzik Istvánné). Tankönyvkiadó, Budapest, (1976), 708.

Az orosz irodalom története I. Útmutató orosz szakos levelező hallgatók számára. Pécs, (1976), 167.

1977

A halál ábrázolása Lev Tolsztoj műveiben // Filológiai Közöny 23, (1977/2–3), 199–210.

Az orosz irodalom története II. Útmutató orosz szakos levelező hallgatók számára. (Hajnády Zoltán – Diósi Natália) Pécs, (1977), 151.

1978

Мотив смерти в творчестве Льва Толстого. Функция изображения смерти в трагическом и катарсисе в произведениях Льва Толстого // Studia Slavica Hungarica 24, (1978), 19–38. HU ISSN 0039–3363

A mai soknemzetiségű szovjet irodalom (1955–1975). (Rumpler Nyina – Vilor Nyinelj – Hajnády Zoltán). Tankönyvkiadó, Budapest, (1978), 400.

1980

О природе трагического в романах Л. Н. Толстого // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Изд. Московского университета. Москва, (1980).

Kikerüli vagy legyőzi Tolsztoj a tragédiát? // Filológiai Közöny 26, (1980/2), 169–181.

1981

О природе трагического и катарсиса эпических произведений Льва Толстого // Slavica 17, (1981), 111–127. ISSN 0583-5356

Egy mai ausztrál saga. (Collen McCullough. The Thorn Birds) // Nagyvilág 26, (1981/11), 1735–1736.

Рецензия на книгу Seidel M. Satiric Inheritance, Rabelais to Sterne // *Helikon* 27, (1981/2–3), 328–330.

Рецензия на книгу *Autobiography. Essays Theoretical and Critical*. Ed. by James Olney // *Helikon* 26, (1981/4), 463–464.

Рецензия на книгу Основин В. В. Русская драматургия второй половины XIX. века // *Helikon* 27, (1981/4), 450–451.

1982

О «всеобщности» трагедии («Анна Каренина») // *Acta Litteraria* 24, (1982/1–2), 191–201.

Рецензия на книгу Olney, James. *Metaphors of Self. The Meaning of Autobiography* // *Helikon*. 28, (1982), 608–609.

McCullough, Colleen // *Világirodalmi Lexikon IV. Akadémiai Kiadó, Budapest*, (1982), 502.

1983

Поиски путей преодоления трагического (И. Тургенев и Л. Толстой) // *Hungaro-Slavica*. (1983), 87–96. HU ISSN 0039–3363

Мотив «воскресения» в творчестве Льва Толстого 70-х и 90-х годов // *Slavica* 19, (1983), 73–83.

Ivan Pjics és a halálhoz-mért-lét. Lev Tolsztoj és Martin Heidegger // *Világosság* 24, (1983/7), 432–439.

Рецензия на книгу Основин В. В. Драматургия Л. Н. Толстого // *Helikon* 19, (1983/1), 100–101.

A középkorúak válságának megértése. Peter O'Connor: *Understanding the Mid-Life Crisis* // *Helikon* 19, (1983/3), 113–114.

1984

Lev Tolsztoj: *Bál után. Kisregények és elbeszélések (utószó)* // *A világirodalom remekei*. Európa Könyvkiadó, Budapest, (1984), 369–375.

„Szerszámunk a toll, termőföldünk a lélek” // *Napjaink* 23, (1984/4), 34–36.

Рецензия на книгу Юрий Борев. *Эстетика* // *Helikon* 30, (1984/2–4), 378–379.

Рецензия на книгу William Elford Rogers. *The Three Genres and the Interpretation of Lyric* // *Helikon* 30, (1984/1), 88–89.

Рецензия на книгу *A szenvedély megszállottjai*. Collen McCullough: *An Indecent Obsession* // *Nagyvilág* 29, (1984/3), 457–458.

1985

Lev Tolsztoj. Tragikum, halál, katarzis [Лев Толстой. Трагическое, смерть, катарсис] Akadémiai Kiadó, Budapest, (1985), 211. ISBN 963 05 3941 1

Lieber László: Hajnáy Zoltán, Lev Tolsztoj // *Alföld* 36, (1985/12), 92–93

Jagusztin László: A műelemzés értéke. Hajnáy Zoltán, Lev Tolsztoj. Tragikum, halál, katarzis. // *Napjaink* 25, (1986/4), 31–32.

Cs. Varga István: Tolsztoj – a felelősségmóráл гениusza // *Tiszatáj* 40, (1986/4), 76–78.

Gereben Ágnes: Tragikum, halál, katarzis. Hajnáy Zoltán Lev Tolsztoj monográfiája // *Nagyvilág* 31, (1986/10), 1572–1573.

Bakcsi György: Hajnáy Zoltán, Lev Tolsztoj. Tragikum, halál, katarzis. Monográfia. Akadémiai Kiadó, 1985 // *Szovjet irodalom*, (1987/3), 172–174.

“The Starry Heavens Above and the Moral Law Within.” Tolstoy’s Moral Philosophy // *Acta Litteraria* 27, (1985/3–4), 261–293.

Ivan Ilych and Existence Compared to Death. Lev Tolstoy and Martin Heidegger // *Acta Litteraria* 27, (1985/1–2), 3–15.

«Звездное небо надо мной и нравственный закон во мне.» О нравственной философии Толстого // *Studia Slavica* 31, (1985), 137–148.

Lukács György és az orosz regény // Lukács György irodalomelmélete. Pécs, (1985), 123–137.

1986

Художественная деталь – целостность мирозерцания // *Slavica* 22, (1986), 107–118.

С глазу на глаз со смертью. (Рассказ Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича») // *Навстречу VI. Конгрессу МАПРЯЛ. Вопросы изучения и преподавания языка и литературы в ВНР. Сб. статей. Часть II. Русская и советская литература.* Будапешт, (1986), 19–31.

1987

Lev Tolsztoj világa [Мир Толстого] Európa Könyvkiadó, Budapest, (1987), 316. ISSN 0324–3311

Imre László: Tolsztoj világa (Hajnáy Zoltán könyve) // *Nagyvilág* 33, (1988/4), 616–617. HU ISSN 0324–3311

Рецензия на книгу *Jeszenyin világa*. Cs. Varga István könyve // *Nagyvilág* 32, (1987/11), 1736–1737.

1988

Запечатленная память (Об Андрее Тарковском) // *Dolce Filologia. Irodalomtörténeti, kultúrtörténeti és nyelvészeti tanulmányok.* Zöldhelyi Zsuzsa c. egyetemi

tanár, az MTA doktora 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Hetényi Zsuzsa. Budapest, (1988), 323–333. ISBN 963 463 2122

Művészi részlet – egyetemes világkép (A. P. Csehov: *A kutyás hölgy*) // Filológiai Közlöny 35, (1988/4), 215–221.

„Hosszú elbeszélések lánc”. Lermontov: Korunk hőse (előszó) // Orosz-szovjet filológiai tanulmányok. (Szerk. Iglói Endre–Jaguszti László), Tankönyvkiadó, Budapest, (1988), 269–277.

Рецензия на книгу А гылкос варjak. Robert Drewe: *The Savage Crows* // Nagyvilág 33, (1988/6), 939–940.

Рецензия на книгу Bakcsi György: *Gogol világa*. Európa Könyvkiadó, 1986 // Szovjet irodalom (1988/5), 160–162.

Рецензия на книгу Jelzöttűz az éjszakában. XX. századi ausztrál elbeszélők // Nagyvilág 33, (1988/8), 1250–1251.

Рецензия на книгу A Pulszkyak sorsa – ausztrál szemmel. Thomas Shapcott: *Száműzött fehér szarvas (White Stag of Exile)* // Nagyvilág 33, (1988/8), 1251–1253.

1990

Ivan Il'ič und das „Sein zum Tode” (Lev Tolstoj und Martin Heidegger) // Wiener Slavistisches Jahrbuch. Band 36, (1990), 23–35.

Старые и новые люди (Обломов и Отцы и дети) // Slavica 24, Debrecen, (1990), 125–145.

Рецензия на книгу Emlékek a „megváltó szenvedés” írójáról. Anna Dosztojevszkaja: *Emlékeim* // Nagyvilág 35, (1990/7), 1098–1099.

Редактирование ежегодника Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 24 (1990).

1991

Az orosz regény [Русский роман]. Tankönyvkiadó, Budapest, (1991), 158. ISBN 963 18 3056 X

Boda István: *Az orosz regény* // Hajdú-Bihari Napló, (1991), IX/6, 8.

Kovács Albert: *A műelemzés útvesztői* (Hajnády Zoltán: *Az orosz regény*) // Nagyvilág 37 (1992/4), 583–585.

Роман об ответственности человека (люди избранники) // Slavica 25, (1991), 133–166.

Редактирование ежегодника Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 25 (1991).

1992

Русский роман. Дебрецен, (1992), 257 с. ISBN 963 471 834 5

- V.M. Markovics: Hajnady Zoltan, Az orosz regeny (Русский роман) // *Slavica* 25, (1991), 279–281.
- Lila Zarnowski: Hajnady Zoltan, Русский роман. Review // *Australian Slavonic and East European Studies*. Melbourne, (1992/1), 139–142.
- Leszek Mikrut: Hajnady Zoltan, Русский роман. Дебрецен, 1992 // *Slavia Orientalis*. Krakow, (1993/3), 464–465.
- Eduard Vlasov: Hajnady Zoltan, Russki roman. Debrecen, Kossuth University. 1992 // *Canadian Slavonic Papers* 35/ 3–4, (1993), 407–408.
- М. Де Лос Льянос: Hajnady Zoltan, Русский роман. Дебрецен, 1992 // *Rusistica Espanola*. Madrid, (1994/4), 76–80.
- Roger Comtet: Hajnady Zoltan, Русский роман. Debrecen, Department of Slavic Languages and Literatures. Kossuth University, 1992, 257 p. // *La revue Russe. La culture populaire slave*. Paris, (1995), № 8, 116–119.
- Ю. Гусев: Русская литература в Венгрии // *Вопросы литературы*. Москва, (1995), Вып. IV, 369–372.
- Л.М. Рыскаль: Хайнади Золтан. Русский роман // *Slavica* 39–40, (2010–2011), 356–362.

1993

Странник и скиталец в европейской и русской литературах // *Wiener Slavistisches Jahrbuch*. Band 39, (1993), 17–22.

О литературной аргументации // *Slavica* 26, (1993), 131–141.

Редактирование ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 26 (1993).

1994

Бесы (роман о битве идей) // *Studia Russica* 14–15, (1990–1994), 328–349.

1995

A kultura mint emlekzet. Fejezetek az orosz kultura tortenetebol [Культура как память. Главы из истории русской культуры]. Nemzeti Tankonyvkiado, Budapest, (1995), 138. ISBN 963 18 6801 X.

Иштван Хетеш: Hajnady Zoltan, Культура как память (Главы из истории русской культуры). Nemzeti Tankonyvkiado, Budapest, 1995, 138 p. // *Slavica* 28, (1997), 229–234.

Hetesi Istvan: Hajnady Zoltan, A kultura mint emlekzet (Fejezetek az orosz kultura tortenetebol). Nemzeti Tankonyvkiado, Budapest, 1995, 138 // *Filologiai Kozlony*, (1997/3–4), 124–128.

Фауст contra Обломов. Sophrosyne и ataraxia // *Australian Slavonic and East European Studies*. (1995), Volume 9. № 2, 47–60.

Русская философия жизни // Slavica 27, (1995), 103–107.

Редактирование ежегодника Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 27 (1995).

1996

Szaltikov-Scsedrin: A Galavljov család // Huszonöt fontos orosz regény. Szerk. Hetényi Zsuzsa. Budapest, (1996), 101–115, ISBN 963 85444 73.

1997

Pays-passeur ou pays-passerelle? La littérature russe classique vue par la critique Hongroise // Slavica Occitania 5, Toulouse, (1997), 155–175.

Теургическое искусство // Studia Russica 16, (1997), 239–246.

Идея русского универсализма // Slavica 28, (1997), 7–21.

Редактирование ежегодника Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 28 (1997).

1998

Культура как память. Главы из истории русской культуры. // Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (1998), 253, ISBN 963 18 8450 3.

Л.М. Рыскаль: Золтан Хайнади «Культура как память». Главы из истории русской культуры. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, с. 253. // Slavica 41, Debrecen, (2012), 237–242.

Память слова // Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő Péter Mihály 70. születésnapjára. Szerk. Zoltán András. Budapest, (1998), 155–175.

1999

Пушкин – uomo universale // Slavica 29, Debrecen, (1999), 109–118.

Рецензия на книгу Ruzsa György: A régi orosz festészet kapcsolatai a kezdetektől a XVI. század végéig. Budapest, 1998 // Slavica 29, (1999), 272–273.

Редактирование ежегодника Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 29 (1999).

2000

Иван Ильич или Помни о смерти. Лев Толстой и Мартин Хайдеггер // Литература. Москва, (2000), № 33, 5–7.

Бессмертие через творчество // Литература. Москва, (2000), № 39, 14–15.

Фауст и Обломов: противостояние // Литература. Москва, (2000), № 4, 14–15.

Культура как память // *Slavica* 30, (2000), 73–91.

Tolsztoj az új évezred küszöbén // *Debreceni Szemle* 8/4, (2000), 578–583.

Fjodorov kozmikus univerzalizmusa // Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. Debrecen, (2000), 33–37, ISBN 472 440 X.

Странник и скиталец // *Rossica Lublinensia. Literatura mit sacrum kultura. Vol. 1.* Lublin, (2000), 65–74.

Редактирование ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 30 (2000).

2001

Редактирование ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 31 (2001).

2002

Sophia és Logosz. Az orosz kultúra paradigmaticus-szintagmaticus rendszere, bináris oppozíciói, leküzdésük alternatívái [София и Логос. Парадигматическо-синтагматическая система русской культуры, бинарные оппозиции, альтернативы их преодолений]. Kossuth Könyvkiadó, Debrecen, (2002), 326. ISBN 963 472 638 0

Kasza Éva: Hajnády Zoltán, *Sophia és Logosz. Az orosz kultúra paradigmaticus-szintagmaticus rendszere, bináris oppozíciói, leküzdésük alternatívái.* Kossuth Könyvkiadó, Debrecen, 2002. 326 // *Helikon* (2003/1–2), 126–127.

Madarász Imre: *Az orosz kultúra keresztmetszete* // *Köznevelés* 60/17, (2004. április 30) 24.

Jagusztin László: *A kultúra mint kiegyenlítő erő.* Hajnády Zoltán. *Sophia és Logosz. Az orosz kultúra paradigmaticus-szintagmaticus rendszere (bináris oppozíciói, leküzdésük alternatívái)* // *Disputa*, Debrecen, (2004), 90–93.

D. Molnár István: Hajnády Zoltán, *Sophia és Logosz. Az orosz kultúra paradigmaticus-szintagmaticus rendszere. (Sofia i logos. Paradygmaticzno-syntagmaticzny system kultury rosyjskiej).* Debrecen, 2002, 326 // *Slavica* 33, (2005), 299–307.

Jagusztin László: Hajnády Zoltán, *София и Логос. Парадигматическо-синтагматическая система русской культуры, бинарные оппозиции, альтернативы их преодолений.* Kossuth Könyvkiadó, Debrecen, 2002, 326 // *Slavica* 33, (2005), 307–310.

Потерянный рай // *Литература. Москва*, (2002), № 16. 9–10.

Художественная деталь // *Литература. Москва*, (2002), № 30, 8–10.

Беспримесная сатира // *Литература. Москва*, (2002), № 33, 19–20.

Dušan Makovičy passeur de la culture hongroise à Iasnaya Poliana. *Slavica Occitania* 14, Toulouse, (2002), 157–171.

София и Логос // *Slavica* 31, (2002), 65–93.

Душан Маковицкий – посредник венгерской культуры в Ясной Поляне // *Cirill és Metód példáját követve. H. Tóth Imre 70. születésnapjára. Szerk. Bibok Károly, Ferincz István, Kocsis Mihály. Szeged, (2002), 179–190, ISBN 963-482-573-7.*

2003

Герой нашего времени // Литература. Москва, (2003) № 16, 5–6, 15.

Странник и скиталец в европейской и русской литературах // Литература. Москва, (2003) № 31.

Евразийская культурно-историческая парадигма. // *Miscellanea Corviniana. Köszöntő könyv Hollós Attila 70. Születésnapjára. Szerk. Abonyi Réka, Janurik Szabolcs, Zoltán András. Budapest, (2003), 96–105. <http://www.geocities.com/corviniana/Corvina.doc>. (Hollós Attila Festschrift)*

Апология и деконструкция соборности как идеи русского универсализма // *Slavica* 32, (2003), 135–152.

Редактирование ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 32 (2003).

2004

Архетипический топос // Литература. Москва, (2004), № 29, 7–13.

Подтекст. «Три сестры» Чехова // Литература. Москва, (2004), № 11, 25–28.

A Pétervár-mítosz az orosz irodalomban // *Pétervár szemiotikája az orosz irodalomban. // Orosz Posztmodern 3. Szerk. Fonalka Mária. Kossuth Könyvkiadó, Debrecen, (2004), 5–26. ISSN 1586-8524, ISBN 963 472 813 8*

A *Három nővér* szubtextusa // *Modern Filológiai Közlemények* 5, Miskolc, (2004/12), 57–64.

Az orosz irodalom // 21. századi enciklopédia. Világirodalom. Sorozatszerkesztő Szvák Gyula, szerkesztő Madarász Imre. Pannonica Kiadó, Budapest, (2004), 208–241.

Эрос и Логос // A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére. Szerk. bizottság: Jerzy Faryno, Thomka Beáta, Ivan Verč. Szerk. Szitár Katalin. Argumentum, Budapest, (2004), 353–365, ISBN 963 446 293 6.

Сад как архетипический топос у Чехова // *Slavica* 33, (2004), 217–229.

2005

Поэтический переворот Льва Толстого // Литература. Москва, (2005), № 17. 21–28.

Русская Психея. Чехов «Душечка» // Литература. Москва, (2005), № 16. 18–23.

Puskin *Mozart és Salieri* kistragédiájának paradoxonjai // Mozart és Salieri. Orosz Posztmodern 4. Szerk. Fonalka Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (2005), 5–24. ISSN 1586-8524, ISBN 963 472 932 0.

Способы нарративного выражения эмоций (*Зрелище, звук, запах, вкус и осязаемое* как символы интенсивной восприимчивости бытия в русской литературе) // Slavica 34, (2005), 107–124.

Редактирование ежегодника Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 34 (2005).

2006

Парадоксы «Моцарта и Сальери» Пушкина // Slavica 35, (2006), 125–138.

A kultúra mint emlékezet // Debreceni Szemle 14/4, (2006), 484–498.

A kert mint archetipikus toposz Csehovnál // Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe I–II. (Alapozó ismeretek az orosz-szláv és az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok köréből) Szerk. Kroó Katalin, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (2006), II /636–650, ISBN 963 9704 58 x.

Filmnarratívák. Tarkovszkij *Andrej Rubljov* // A szavak érzéki csábítása. Narratív szövegvilágok. A szenzualitástól a metanyelvig. Orosz Posztmodern 5. Szerk. Fonalka Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (2006), 189–219. ISSN 1586-8524, ISBN 963 473 018 3.

Az érzékszervek irodalma. Az érzelem narratív kifejezési módjai (A látvány, a hang, a szag, az íz és a tapintás, mint a lét iránt való intenzív érzékenység szimbólumai az orosz irodalomban) // A szavak érzéki csábítása. Orosz Posztmodern 5. Szerk. Fonalka Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (2006), 5–34, ISSN 1586-8524, ISBN 963 473 018 3.

Редактирование ежегодника Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 35 (2006).

2007

Палинодия Гоголя // Croatica et Slavica Iadertina № 3, Zadar, (2007), 392–404.

Sophia – a teremtés női princípiuma // Örök női archetípusok. Orosz Posztmodern 6. Szerk. Fonalka Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (2007), 5–26. ISSN 1586-8524, ISBN 978 963 473 082 8.

Az orosz nő apológiája // Örök női archetípusok. Orosz Posztmodern 6. Szerk. Fonalka Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (2007), 108–127. ISSN 1586-8524, ISBN 978 963 473 082 8

Sophia és Logosz // Debreceni Szemle 15/1, Debrecen, (2007), 174–185.

Színek mágiája, hangok liturgiája, illatok orgiája // Добрый великань. Tanulmányok Hetesi István tiszteletére. Szerk. Jankovits László, Pap Balázs, V. Gilbert Edit. Pécs, (2007), 49–59, ISBN 78 963 642 194 6.

Редактирование ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 36 (2007).

2008

Зрительно-биографическая эмблема // Вопросы литературы (2008), № 2. 222–236.

(Авто)биографичность Толстого // *Croatica et Slavica Iadertina* № 4. Zadar, (2008), 497–511.

Текст–подтекст–контекст. «Три сестры» Чехова // *Slavica* 37, (2008), 111–120.

Сожженная книга Гоголя // Вестник Волгоградского Государственного Университета. Серия Литературоведение. Журналистика. Вып. 7, (2008), 5–14.

Az orosz psziché. Csehov *Tündérke* // „Szóba formált világ”. Tanulmánykötet Han Anna habilitált egyetemi docens születésnapjára. Szerk. Hetényi Zsuzsa. *Dolce Filologia* 7. Budapest, (2008), 69–84, ISBN 978-963-463-979-4.

A látható életrajzi embléma // Rejtőzködő orosz nárciszok. *Orosz Posztmodern* 7. Szerk. Fonalka Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (2008), 5–32, ISSN 1586-8524, ISBN 978 963 473 480 1.

Lev Tolsztoj poétikai fordulata // Rejtőzködő orosz nárciszok. *Orosz Posztmodern* 7. Szerk. Fonalka Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (2008), 66–92, ISSN 1586-8524, ISBN 978 963 473 480 1.

Редактирование ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 37 (2008).

2009

Творящее слово. Универсальность Пушкина // Вестник Волгоградского Государственного Университета. Серия Литературоведение. Журналистика. ВОЛГУ Вып. 8. (2009), 5–18.

Искусство и метафизика смерти. Лев Толстой и Мартин Хайдеггер. Философско-поэтический опыт сравнительного изучения // Вопросы литературы, (2009), №5. 304–332.

Чувственное искушение слов. Бунин «Жизнь Арсеньева. Юность» // Вопросы литературы, (2009), № 1. 253–270.

A halál művészete és metafizikája (Tolsztoj és Heidegger) // *Pro Philosophia Évkönyv*, Szerkesztők: Garaczi Imre, Kalmár Zoltán, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, (2009), 21–35, ISSN 2060–100X.

Oblomov mint Anti-Faust // Visszavonások könyve. Orosz Posztmodern 8. Szerk. Fonalka Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (2009), 30–67. ISSN 1586-8524, ISBN 978-963-473-326-3.

Gogol palinódiája. Teodícea vs. antropodícea // Visszavonások könyve. Orosz Posztmodern 8. Szerk. Fonalka Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (2009), 5–29. ISSN 1586-8524, ISBN 978-963-473-326-3.

Редактирование ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 38 (2009).

2010

Обломов как анти-Фауст // Вопросы литературы, (2010), № 4. 360–386.

Живописание словом. О поэтической функции визуального изображения в творчестве Толстого // Вопросы литературы, (2010), № 6, 359–377.

Бытие к смерти // *Croatica et Slavica Iadertina*. № 5. Zadar, (2010), 473–492.

Страна-паром или страна-мост. Классическая русская литература в восприятии венгерской критики // «Вестник» № 24, Российский культурный центр, Будапешт, (2010), 119–127.

2011

A lét tüze. A fénylő logosz [Огонь бытия. Светящий логос]. Debrecen, University Press, (2011), 326, ISBN 978 963 318 094 5.

Textus – szubtextus – kontextus // *Közelítések – Közvetítések*. Anton Pavlovics Csehov. Szerk. Regéczi Ildikó, Didakt Kiadó, Debrecen, (2011), 92–106, ISBN 978 963 89167 8 5.

«Война и мир» Л. Толстого как «бесконечный лабиринт сцеплений» // *Slavica* 39–40, Debrecen, (2010–2011), 139–163.

Земная и небесная любовь: Венера и Мадонна. О метафизике любви в лирике Пушкина // *Studia Slavica Savariensia, Szombathely*, (2011), № 1–2. 139–146.

Подражал ли Пушкин? // «Вестник» № 25. Российский культурный центр, Будапешт, (2011), 129–133.

Редактирование ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 39–40 (2010–2011).

2012

Апология русской женщины // „Европа чете Чехов“. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, (2012), 11–22, ISBN 978-954-524-868-9.

«Зримая литература». Экфрасис в поэтике Л. Толстого // *Slavica* 41, (2012), 159–178.

2013

Метанойя Л. Толстого // *Studia Slavica Hungarica* 58/2, (2013), 365–375.

Готовится к печати

«Война и мир» как текстовой лабиринт // Вестник ВГУ Воронежский Государственный университет.

A kimondhatatlan poetikája. A pillanatba zárt öröklét, a töredékbe foglalt teljesség (A *haiku* mint rejtjel-kulcs Afanaszj Fet költészetéhez) // *Pro Philosophia* Évkönyv, Szerkesztők: Garaczi Imre, Kalmár Zoltán, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, ISSN 2060–100X.

Az isteni Erősz tüze // Imre László jubileumi kötet. Debrecen.

Puskin – a reneszánsz költő // Kovács Árpád jubileumi kötet. Budapest.

Поэтика неизреченности. Невыразимая выразимость и выразимая невыразимость (*Хайку* как шифр-ключ к поэзии А. Фета) // *Acta Slavica Iaponica*.

Текст–подтекст–интертекст. «Три сестры» Чехова // Русская литература. Москва.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

РУССКИЕ ГРЁЗЫ: К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОМ МЕНТАЛИТЕТЕ

ТАМАРА ДЬЯКОВА

Особенности русского характера, склад ума, темперамент, своеобразие мышления, другие черты русского этноса традиционно определяются теми проявлениями, которые составляют специфическую суть русской природы. Традиции эти были основательно проработаны в рамках теорий географического детерминизма. Вопрос о влиянии географической среды на обычаи, нравы, образ правления и некоторые общественно-исторические процессы рассматривали уже античные авторы (Гиппократ, Геродот, Полибий). В эпоху Просвещения теория получила особую популярность благодаря идеям Монтескье и Тюрго. А в конце 19 века, когда были накоплены этнографические наблюдения, возникает новое направление – антропогеография, основоположником которой выступил Фридрих Ратцель. В основу научного изучения была положена идея о взаимодействии отдельных областей природы: о влиянии климата на почву, почвы на растительный покров, растительного покрова на животного и человека – и обратно. В современной гуманитарной науке, как западной, так и отечественной, можно найти немало сторонников подобного подхода к оценке ментальной стороны культуры.

Концепция П.Н. Милюкова также основывается на утверждении, что культурное своеобразие того или иного народа возникает в результате отличия в «месторазвитии», т.е. разницы природных условий, в которых развивается та или иная культура. Месторазвитие русской культуры Милюков определяет отчасти как европейское, отчасти как азиатское. Преобладает, с его точки зрения, все-таки европейское влияние. Анализируя совокупность географических, зоологических, метеорологических и иных признаков, Милюков заключает, что «Россия — это Европа, осложненная Азией». Причем, согласно Милюкову, не Азия проникает в Европу, а, наоборот, Европа проникает в Азию, и только на крайнем юго-востоке России распространяется совершенно другая культура.

Милюков считал, что русская природа и история скорее тормозили развитие русской культуры, чем способствовали ее процветанию. Хотя предпринятая ученым попытка всестороннего рассмотрения природных факторов влияния на культуру позволила быть в оценках относительно гибким и объективным. Так, например, признавая факт однообразия русского ландшафта, Милюков не склонен выводить из этого обстоятельства такие черты русского характера, как монотонность художественного восприятия, отсутствие соци-

альной и политической воли. «Конечно, – писал П. Н. Милуков, — Россия лишена расчлененности ландшафта Западной Европы и ее контрастов рельефа на близких расстояниях. Но зато обширное протяжение ее территории неизбежно приводит к [...] разнообразию ее месторазвитий» [МИЛУКОВ 1993: 79]. Как полагал Милуков, множество факторов не позволяет быть категоричными в оценке влияния природных факторов на менталитет. Например, карта продолжительности снежного покрова в разных частях России. Число дней со снежным покровом растет по мере продвижения с юго-запада на северо-восток с двадцати дней до двухсот, то есть в десять раз увеличивается. Мало общего можно обнаружить между климатом, где снег лежит от трех недель, и климатом, где он покрывает землю более полугода. Соответственно и черты менталитета людей этих территорий будут отличаться.

Исследуя проблему национального характера, авторы прибегают к созданию новых дефиниций. Для Г. Гачева органичная связь природных явлений и особенностей организации внутреннего мира человека связана с понятием Космо-Психо-Логос. «Тип местной природы, характер человека и национальный ум находятся во взаимном соответствии и дополнительности. Труд и культура в ходе истории восполняют то, что не дано стране от природы» [ГАЧЕВ 1995: 6].

Своеобразным мериллом национальной самобытности, устойчивой и легко запоминающейся «своими» и «чужими» формулой русскости стала «загадочная душа». А чем выверяется глубина этой загадочности? Сказано же, «аршином общим не измерить». Не изобретать же для этой невесомой субстанции свою особую единицу измерения?

Среди уже существующих мер природа наиболее устойчивая характеристика. Давно было замечено, что из многих обстоятельств, влияющих на развитие мировоззрения народа: истории, характера трудовой деятельности, языка, – фактор природы для русских был основополагающим. Эту идею можно выразить словами В. Вейдле, хотя подписались бы под ними многие. История России прерывиста, «и то лучшее, что она породила за девятьсот лет, хотя и бессвязно, но связано лишь единством рождающей земли, а не преемственностью наследуемой культуры» [ВЕЙДЛЕ 1991: 58].

Однако оценки тех или иных природных влияний нередко имели полярный смысл. Скажем, к числу важнейших факторов формирования русского характера и поведенческих форм относят равнину. Бесформенная необозримая ширь степи многим представлялась своеобразным символическим истоком различных черт русского народа.

Так, формирование древнерусского этноса, по мнению Л. Н. Гумилева, происходило под влиянием двух ландшафтных вызовов: закрытого лесного пространства с природно-инстинктивной заданностью и широкого открытого пространства степи. Выходя из леса в степь, русский человек сталкивался с ментальностью кочевников. Лес формировал в русском характере такие черты, как замкнутость и страх. А степь воздействовала противоположным

образом и способствовала формированию открытости, удали и расточительности в русском характере.

По мысли О. Шпенглера, бесконечные дали породили народность «смирненную, неустрашимую, открытую пространству, без собственной личной воли, склонную к рабству» [ШПЕНГЛЕР 1997: 86]

Именно это, считал немецкий философ в 1922 г., всегда было причиной деспотической политики в России от времен Чингисхана до Ленина, именно эта ландшафтная особенность породила необузданную тягу русских к перемене места. Странничество мешало работнику закрепиться на одном месте и работать. В России хорошо обученные фабричные рабочие – редкость. Не хотят и не могут работать.

А вот, по мнению русского исследователя словесности Д. С. Лихачева, просторы родной земли были всегда для соотечественников своеобразным символом свободы и порождали не дух рабства, а внутренний протест против социальной несправедливости, потребность видеть себя по-настоящему свободным, что возможно только на просторе. «Воля вольная! – писал Д. С. Лихачев. – Ощущали эту волю даже бурлаки, которые шли по бечеве, упряженные в лямку, как лошади, а иногда и вместе с лошадьми. Шли по бечеве, узкой прибрежной тропе, а кругом для них была воля. Труд подневольный, а природа кругом вольная. И природа нужна была человеку большая, открытая, с огромным кругозором» [ЛИХАЧЕВ 1987: 422].

Для первого исследователя доводы, приведенные вторым, могли бы быть восприняты как доказательство своей правоты. Русские просторы сформировали в человеке потребность грезить о свободе, а не умение оформить мечты в правовую систему. Для второго – потребность раствориться в безбрежной стихии – это и есть врожденная потребность в свободе, это и есть стихийное проявление не терпящего жестких границ духа.

По-разному прочитываемым фактором «русской души» выступает и сопоставление «земли» и «неба» как пространственной организации мира. Для русского человека истинная земля — на небе. Эта идея выросла в саму плоть жизни России. Она могла бы быть подтверждена множеством умозаключений и высказываний. Обращенность к небу не имеет ограничений у русского и превращает его в существо, оторванное от земли. Здесь внизу не обрести ему счастья, не увидеть долгожданного порядка, не предсказать завтрашний земной день. Одна надежда: все, чего недостает на земле, есть на небе.

«Природа Великороссии часто смеется над самыми осторожными расчетами великоросса; своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания. Невозможность рассчитать наперед... (неожиданные метели и оттепели, непредвиденные августовские морозы и январская слякоть), заранее сообразить план действий и прямо идти к намеченной цели, отразились на складе ума великоросса...», — писал В. О. Ключевский [КЛЮЧЕВСКИЙ 1956: 313; 315].

По мысли Ключевского, непредсказуемость природы рождала в душе русского упование на чудо, на какое-то внезапно возникшее счастье, которое свалится с неба. Небо – это надежда человека на благополучный исход судьбы. Сакрализация неба в русском культурном сознании в силу двойственности характера и склонности к взаимоисключающим вещам переводила все земные проявления в разряд профанных.

Характеристики данной национальной черты весьма полярны: от приписывания великороссам абсолютной оторванности от земли, неумения ее обустроить, отсутствия какого-либо практического начала до признания в россиянах великой способности соизмерять каждодневные земные дела с «небом», жить с глубоким чувством Бога в душе и подчинять свои действия высшей воле добровольно и охотно.

Подобные оценочные суждения всегда несут на себе печать тех или иных идеологических наслоений. Казалось бы, для русского народа земля издавна опозитизирована, одухотворена и навечно связана с самым дорогим, что есть в жизни человека. Уходя на чужбину, древние предки наши брали с собою горсть родной земли и хранили ее как святыню. В образ земли они вложили всю свою любовь и нежность, выразив тем самым от природы данное им совершенное ощущение красоты. В народной речи, в русском эпосе и фольклоре земля – мать и кормилица, красавица с шелковыми прядями своих луговых трав и цветов, с голубыми глазами озер. Земля воспринималась как колыбель человека, которую он не покидал от рождения до смерти, о которой он думал и днем и ночью: «родимая земля и во сне снится».

Но оказывается, если исключить из оценки природного фактора эти, веками сложившиеся представления, вычеркнуть из анализа поэтический контекст, восприятие земли станет принципиально иным.

Стихия земли является наиважнейшей для характеристики народа и культуры, заметил М. Эпштейн, «страна — ведь это земля и есть. Воздух, вода, огонь в проводах – все кочуют из страны в страну. Но ни страна с земли, ни земля из-под страны никуда не денется» [Эпштейн 2005: 32].

Сравнивая стихию земли американской и земли русской, Эпштейн делает любопытные выводы: в России почва землистая, а уныло-коричневый оттенок ее отражается и на лицах людей, в Америке она красочна, многоцветна: там краснее, там желтее, то чернее, то зеленее – столь же живописна и радостна картина внутренней жизни американцев.

Соприкосновение с землей в России неприятно, она расплзается, втягивает в свою грязную жижу ботинки – «цепкая земля повсюду хватает за ноги». А в Америке ни ботинки не оставляют следов на земле, ни земля ни пристаёт к ботинкам – «взаимная свобода, если не сказать равнодушие».

И еще одно наблюдение Эпштейна: в России пространство четко делится на верх и низ, причем к верху тяготеет все ценное, важное, «а низ – заведомо грязь и слякоть». В Америке же абсолютно отсутствует брезгливость людей к низу. Здесь легко происходит замена мест. «В таком опрокидывании верха и низа нет ни малейшего вызова. Это просто иная пластика тела, возможно,

укорененная в космическом чувстве демократии: низ приближен к верху, одноуровнев с ним» [Эпштейн 2005: 34]. В России небо и земля разделены и никогда в сознании людей поменяться местами не смогут, потому, считает М. Эпштейн, русским принципы демократии чужды и не привьются при самой изощренной пропаганде идеи.

Данный пример, благодаря внутренней склонности автора к гротеску, как нельзя лучше демонстрирует субъективизм и произвольность оценочных суждений относительно влияния природной среды на менталитет ее обитателей. При таком подходе точка зрения на предмет всегда будет скорректирована идеологической позицией. В одной из своих статей Д. Р. Винер обнаруживает политическую подоплеку всех экономических воззрений и неизбежную произвольность эпистемологических допущений.

Такие высказывания всегда ангажировались в каких-либо политических целях, как, например, при обосновании нацистского расового ландшафтного планирования. «Форма ландшафта всегда отражает характер населяющих его людей. Это может быть мягкая сдержанность души и духа, а может быть гримаса человеческой и духовной испорченности... В любом случае ландшафт — четкое выражение того, что раса чувствует, думает, делает и создает... Вот почему германские ландшафты так разительно отличаются от польских и русских — настолько же, насколько различаются люди. Кровавожадная жестокость восточных рас неизгладимо запечатлена в гримасах их родных ландшафтов» [ВИНЕР 1995: 84].

Неоднократно прибегая к обширным цитатам, хотелось обратить внимание на произвольность и неточность суждений о национальном характере, высказанных авторами на основе оценки тех или иных факторов природы. Существует иная категория, создающая более точную и полную картину ментальной среды культурной общности. Это — пейзаж.

На первый взгляд различие понятий «природа» и «пейзаж» может показаться непринципиальным и малосодержательным. В повседневном обиходе мы не прилагаем усилий, чтобы определить границы природного и пейзажного, с легкостью заменяя одно понятие другим. Ясно, что значение слова «природа» — много шире и вбирает в себя как часть то, что мы относим к пейзажу. Но надо учитывать и то, что пейзаж — это природа преображенная, а значит, содержащая характеристики культурного свойства. Любой пейзаж, не только антропогенный (или техногенный), но и естественный, немислим без человеческого присутствия.

Пейзажная картина формируется внутри человеческой души, въедается в ее ткани, становится неотъемлемой ее частью. Скажем, в многотомном творческом наследии М. Е. Салтыкова-Щедрина явно доминирующую роль играет один и тот же тип пейзажа. Как пишет К. Пигарев, для него характерны «осенние непрекращающиеся сумерки», «серое, вечно слезящееся небо», «грузные массы облаков», «понурые и неподвижные, точно замученные деревья». В весеннем пейзаже также «сплошные темные облака», сеющие «из-

морозь — не то дождь, не то снег», «сильный ветер», предвещающий «гнилую оттепель» [ПИГАРЕВ 1972: 31].

Подобную оценку творческого видения Щедрина можно было бы считать излишне произвольной, фрагментарной и субъективной. Но сам автор «Губернских очерков» в 1857 году признался: «Я люблю эту бедную природу... Она сроднилась со мной, точно так же как и я сжился с ней... Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите меня какою хотите роскошною природой, накиньте на эту природу какое угодно прозрачное и синее небо, я все-таки везде найду милые мне серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее свое достояние» [САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 1988: 182].

Пейзаж — та форма человеческого бытия, которая возникла для обозначения какой-либо дистанции субъекта по отношению к природе и мыслимой отсылки этой субъективности в природное «лоно». Исторически пейзаж как жанровая форма возник и стал развиваться лишь тогда, когда возникла потребность взглянуть на природу как на некий феномен, отделенный от человека. При этом творческой личности стало интересно измерить глубину собственного чувства к природе, исследовать уголки собственного «я» через аналогии с формами природы. Следовательно, важнейшей гранью пейзажа как самостоятельной и завершенной формы является предварительное существование его в виде того или иного представления, идеи, образа, то есть какой-либо формы воображаемого. Именно этот аспект пейзажа нам необходимо рассмотреть подробнее. Воображаемое достаточно точно информирует о том, кто является автором образов, в данном случае образа природы как модели целого мироздания.

Однажды В. Б. Шкловский подметил интересную особенность поэтики Л. Н. Толстого. «Толстовские пейзажные записи красивы, но красивы они по-новому, и именно тем, что в них введены прежде неэстетизированные моменты; они увидены как бы внезапно проснувшимся человеком» [ШКЛОВСКИЙ 1966: 31]. Данное наблюдение подходит в определенной степени для характеристики всякого пейзажа, так как подчеркивает нерасторжимое единство чувственных предварительных образов, идеальных представлений, приходящих к человеку в мечтаниях или сновидениях и реальных последующих образов природы. Это единство особенно полно раскрывает себя в художественном творчестве, где созданный поэтом или живописцем пейзажный образ — зримый, конкретный, реальный — является своего рода продолжением неясно осознаваемых грез отдельной творческой личности или творческого духа целого народа. Эта греза выдает умонастроение, видение мира, психологическую соотнесенность творца с объективной действительностью. Вот почему анализ тех или иных форм пейзажа, различных образов природы, природных символов в народно-поэтическом искусстве или авторском творчестве рисует нам достаточно точную картину ментальной среды человека. Не произвольно оцениваемые реалии природного мира, а отрефлексирован-

ные формы природы, сложившиеся в представлении человека как тот или иной пейзаж или пейзажный элемент, могут служить характеристикой культурной личности.

Воображаемый пейзаж – это своего рода архетипический комплекс, являющийся результатом интенсивной внутренней жизни и обнаруживающий себя в результате высвобождения из сферы бессознательного через различные формы художественного творчества.

Воображаемые образы природы – ценный источник нашего восприятия различных культурных типов не только потому, что демонстрируют нерасторжимую связь с автором грёз, но и потому, что сами образы являются не столько идеальным воплощением действительного, сколько неким видом энергии, творящей реальность. Такой образ, который предшествует осознанной картине, Г. Башляр называл онирическим. «Онирический пейзаж — это не кадр, заполняющийся впечатлениями, это разбухающая материя» [БАШЛЯР 1998: 21]. Единство пейзажа проявляется как сбывшийся, много раз виденный сон.

Любая материальная стихия сочетается с соответствующим типом грёзы, который управляет верованиями, страстями, идеалами людей. Каждая из четырех основных стихий природы становится доминирующей в творческом воображении, проявляется как знак онирического темперамента. Прослеживая психологическую природу оперирования образами воды, огня, воздуха и земли в их автономности или взаимосвязи в художественном творчестве, мы обнаруживаем глубинные пласты психологии грёзящего этими образами народа.

Оперируя понятиями «природа», «природная среда» или понятиями, определяющими отдельные стороны природного начала (ландшафт, почва, реки, климат...), невозможно точно выделить суть национального мировосприятия. Ибо всякий раз, как справедливо отмечал К. Г. Юнг, «чем более общей является проблема, тем больше в ее решение контрабандой протаскивается собственная психология» [ЮНГ 1995: 27].

Иное дело пейзаж. Он включает в себя все природные характеристики, но является образом мира, возникшим в сознании или глубинах бессознательных психических процессов и потому отражающим непосредственную связь человека и природы. Той природы, которая действительно выступает знаком сопричастности своего материального воплощения с душой творящего народа.

Представления русского человека о природных возможностях своей страны всегда были иллюзорны. Он всегда находился в плену многих заблуждений, чему и был очень рад. С учетом этих романтических иллюзий и выстраивалась пейзажная картина русской души.

А с учетом еще и того, что бескрайние российские просторы всегда были трудно покоряемыми, не только из-за размеров, но и из-за отсутствия дорог, не трудно признать, что природа скорей россиянина обделила, чем облагодетельствовала. Различия ландшафтного устройства России и Запада очевидны:

однообразии, монотонность в одном случае и разнообразии в другом. Орды кочевников воспринимали это несходство особенно отчетливо. Русская земля для них оставалась огромной степью, хорошо приспособленной для кочевья. Но, едва перевалив через Карпаты, вечные мигранты из-за непривычных природных условий не могли продолжать азиатский способ жизни и становились оседлыми людьми.

О влиянии огромных российских пространств на характер людей, с напряжением и усилием осваивающих просторы родного края, писал еще Н. А. Бердяев. «Русская душа подавлена необъятными русскими полями и необъятными русскими снегами, она утопает и растворяется в этой необъятности... Необъятные пространства России тяжелым гнетом легли на душу русского народа. В психологию его вошли и безграничность русского государства, и безграничность русских полей. Русская душа ушиблена ширию, она не видит границ, и эта безграничность не освобождает, а поработывает ее. И вот духовная энергия русского человека вошла внутрь, в созерцание, в душевность... и в собственной душе чувствует он необъятность, с которой трудно ему справиться. Широкий русский человек, широк, как русская земля, как русские поля... Сами эти пространства можно рассматривать как внутренний, духовный факт в русской судьбе. Это – география «русской души» [БЕРДЯЕВ 1990: 59–60].

Россия, по Бердяеву, – самая анархическая безгосударственная страна в мире. А русский человек по природе своей аскет, поскольку всегда готов отречься от земных благ. Отсутствие в русском человеке чувства личности Бердяев связывает с отсутствием в русской истории феномена рыцарства. На Западе именно рыцарство выковало личностное начало в человеческом обществе, воспитало чувство личного достоинства и чести. Потому русский человек искал «Божью правду» в скитаниях, а не в самой социальной действительности. Русское странничество во многом обусловлено огромными территориями. Вблизи родного дома не виделось ему ничего чудесного, а вот за неведомыми горизонтами представлялся «невидимый град Китеж».

Но все эти негативные природные факторы никогда не рассматривались в качестве условия для мобилизации активных деятельных начал и рационального осмысления действительности. Восприятие окружающей человека природы в силу многочисленных заблуждений напоминало сновидение, в котором пробуждались архаические представления.

На окружающую природу русский человек никогда не смотрел «прагматическим» глазом, не стремился трезво оценить ее возможности и способы подчинения себе. Его привлекала перспектива изменить безрадостную, унылую и однообразную жизнь в один момент, разом – всего лишь поменяв место проживания. Так русский человек стремился решить и государственные, и личные проблемы. Г. Гачев по этому поводу писал: русского мужика «даже прищипливать приходилось крепостным правом, а то все в бега норовил» [ГАЧЕВ 1991а: 142].

Но новые земли, еще хуже освоенные и лишенные памяти о жизни предков, столь же бескрайние и неоформленные, вызывали все те же эмоции и рождали с удвоенной силой у русского «очарованного странника» мечту о чужой земле. Уход от реальных проблем и надежда на лучшую жизнь в иных краях, «вечное туда – стремление, очарованность нездешностью, неземностью» [ГАЧЕВ 1991b: 157], как подчеркивает Г. Гачев, стало устойчивой привычкой русского человека. Отечественная литература, искусство, фольклор широко и многосторонне эту страсть отразили. Можно сказать, что многие поведенческие моменты в русской культуре восходят к единым для этого этноса образным формам жизнедеятельности.

Архетипические пейзажные образы в русской художественной культуре целостны, универсальны, космоизированы. Каждый отдельный образ представляется неотъемлемой частью той идеальной картины, которая выступает прототипом реальности.

Природа бесконечна, во всяком случае, в сравнении с ограниченным промежутком отдельной человеческой жизни. В древние времена в средней полосе России росли такие же березы, дубы, ольхи, были те же травы и воды, каковы они и теперь. Жизнь природы вне вмешательства человека в принципе неизменна, при всем динамическом ее характере. Все осенние дожди и туманы, все весенние утра подобны друг другу на протяжении всей цивилизации. Характеристики же пейзажа-картины, напротив, изменялись беспрестанно. Ибо менялось и меняется отношение человека к окружающей среде, как в пределах исторических циклов, так и в пределах отдельной жизни. Бесконечное освоение мира лежит в основе потенциально бесконечного накопления «запасов» пейзажного искусства. А наиболее типичные пейзажные образы и мотивы наиболее точно информируют нас о национальных чувствах, привычках, принципах мироотношения, психологических особенностях, то есть о всем том, что входит в понятие «менталитет».

Пейзаж, отражающий национальную картину мира, создается не копированием конкретных реалий природы, а выстраивается воображением в завершенный образ лишь после того, как открыты и прояснены законы протекания природной жизни. Пейзажное изображение становится культурной моделью, национальным образом мира в процессе передачи пространственной организации среды, логики чередования форм, гармонии контрастов, соотношения света и тени, движения времени, упорядочивания ритмов – всего того, без чего природа может восприниматься лишь как хаос. Порядок природный и порядок мышления, речи, воображения в пейзаже обнаруживают точки соприкосновения. И именно это родство «выдает» национальный характер.

Реконструируя национальный пейзаж, необходимо учитывать, что огромную роль в создании и сохранении целостного пейзажного образа играет язык. Будучи оторванным от родного места, человек, благодаря языковой памяти, воссоздает вновь и вновь картину покинутой родины. В беседе с Клодом-Анри Роке известный мифолог Мирча Элиаде подчеркивает:

«Для всякого изгнанника родина – это язык, на котором он не перестает говорить [...]. Язык, на котором я общаюсь с женой и друзьями, главным образом с женой, – вот моя родина; язык, на котором я вижу сны и на котором пишу дневник. Так что родина у меня не то чтобы совсем онирическая. И между ней и остальным миром нет никакого противостояния, ни малейшей напряженности. Центр Мира – он где угодно. Раз попав в этот центр, ты у себя дома, ты в себе настоящем и в центре Космоса» [Элиаде 1994: 164]. Именно важность языка в создании национального пейзажа заставляет нас обратить внимание на литературу.

Русский пейзаж в рамках отечественной поэтической традиции обычно выстраивался в целостную систему, отличную от пейзажных универсумов других народов, при выделении двух наиболее характерных представлений о России – как о стране северной и стране колоссальных размеров. В поэзии XVIII века Россия предстает государством, отодвинутым от Европы на Крайний Север, снежным, льдистым, холодным краем. В последующие эпохи смягчается гипербололизация данного представления, но не исчезает совсем.

Северный дух России проявляется в языке, в выговоре, в характере произношения. В духе Винкельмана, видевшего причину красоты южных языков в идеальных природных условиях, оценивал, например, родной язык и Батюшков, для которого стихия греческой и итальянской речи была предпочтительней русской из-за предпочтительности природы Средиземноморья.

Он писал, что «язык, воспитанный под счастливым небом Рима, Неаполя и Сицилии [...] имеет характер, отличный от других новейших наречий и коренных языков, в которых менее или более приметна суровость, глухие или дикие звуки, медленность в выговоре и нечто, принадлежащее Северу»¹:

Северный, в значении крайний, отделенный от цивилизованного мира, обычно в русском поэтическом обиходе подчеркивал обособленность России от исторических судеб европейских народов, несоответствие отечественной культуры глубоким, развитым, завершенным традициям, вызревающим еще в недрах античного мира и продолженным в последующее время. Мироощущение россиянина всегда формировалось с учетом периферийности его существования.

Поэтизация территориального размаха — другая важнейшая черта пейзажного мышления русских. От Ломоносова и Державина до поэтов XX века, не говоря уж о фольклорной традиции, пейзаж России предстает развернутой панорамой русских земель, необозримой и незавершенной, в смысле не имеющей строгих границ.

И хотя пейзаж, как всякая целостная форма, предполагает завершение, определенный порядок в каких-либо рамках, с обязательным структурированием элементов, русский национальный пейзаж создавался с учетом особого отношения к родному пространству. Столь великое целое охватить взором было невозможно, но и часть представлялась подвижной, легко ускользаю-

¹ Цит. по: [Зорин 1997: 148]

шей, трудно фиксируемой. Детали расплывались в бескрайней и однообразной равнине.

В русских пейзажных системах мир непостижимо вытянут в горизонталь. Ускользает прочность, ясность, отчетливость в оценке окружающего. Дождь и ветер завершают эту расплывающуюся на глазах картину. Вот какую типологическую модель русской равнины дает М. Эпштейн, опирающийся на многочисленные поэтические тексты отечественной литературы. «Да и внутри самой природы господствуют подвижные стихии — дождь и ветер, растворяющие все твердые очертания: дорога изрыта дождями, листья размокли и вот-вот упадут в лужи, ветер крутит снежные вихри, тучи выются, снег — «мелкий», «летучий». Тучи, снег, листья, солома — все послушно стихии ветра, срывающей покровы, сглаживающей неровности, обнажающей бескрайнюю равнину» [Эпштейн 1990: 159].

Безусловно, пейзаж может быть наполнен субъективными переживаниями, соответствовать внутренним психологическим характеристикам лирического героя. В этом случае пейзажная картина будет иной. Но типичной, часто повторяющейся в художественных текстах пейзажной моделью, соответствующей национальному универсуму, будет та, что напоминает путешествие по бездорожью в не знающей границ русской степи.

Текучесть, подвижность, неуловимость окружающего мира — характерный мотив в русском пейзаже. Национальной традиции близка сама идея амбивалентности восприятия, непостижимости, неопределенности, часто непереводаемости увиденного в систему логических понятий.

Неслучайно в числе наиболее частых мотивов русской поэзии литературоведы называют мотивы «дымки», «дыма», «тумана» — призрачных состояний природы. Чтобы строгие очертания предметов воспринимались размытыми, неясными, необходим особый взгляд на мир, внутренняя склонность к импрессионистическому мироощущению. Такое восприятие сопряжено с отчуждением, отдалением от созерцаемого объекта, оно порождает грезу, а не желание практического соприкосновения с миром, его осмысления и переустройства.

Картина русской природы, подернутая пеленой, туманной сеткой, передает какое-либо промежуточное состояние: переход от зимы к весне, от вечера к ночи, от сильного мороза к неожиданной оттепели... что, конечно, может быть соотнесено с характером самого народа, мало склонного к какой-либо окончательности, завершенности, определенности. Сквозь дымку воспринимает художественная фантазия русского узор молодых ветвей, распускающуюся зелень, готовую, подобно дыму, подняться в облака и раствориться в них.

И в торжестве неизъяснимом
Сквозной деревьев хоровод
Зеленоватым пышет дымом.

А. Фет

Как в апреле по ночам в аллее,
И все тоньше верхних сучьев дым...
Этот верх в созвездьях, в их узорах...
Дымчатый, воздушный и сквозной.

И. Бунин

А степь под пологом зеленым
Кадит черемуховый дым...

С. Есенин

Это, усвоенное у природы тяготение к полутонам, переходным состояниям стало внутренней чертой, свойством характера народа.

Наиболее наглядно вся система характерных черт отечественного пейзажа проявляется в тех случаях, когда автор сталкивает в пространстве одного произведения «текст России» и «текст другой страны». Справедливо замечает Т.В. Цивьян, что в подобных ситуациях сложно ответить определенно, кем увидена Россия – уроженцем или иностранцем. Примером тому является последнее стихотворение Е. А. Баратынского «Дядьке-беглецу». Но эта неопределенность в контексте наших размышлений может лишь подтвердить мысль об устойчивости основных характеристик русского пейзажа.

«Текст Италии и текст России выделяются в стихотворении тем более легко, что они отчетливо противопоставлены друг другу и могут быть изображены в виде образцовой таблицы оппозиций, учитывающей, прежде всего, физико-географические характеристики обеих земель, их ландшафт, климат и флору:

ИТАЛИЯ

РОССИЯ

ландшафт

(Неаполь) нагорный

(вотчина) степная

альпийские (молнии)

овраг

навес иль грот

степи

пещера

каскады

земля вулканов, лава

море

берега

климат

(отчизна) знойная	(край) снегами покровенный
сладкий юг	морозы наших зим
пламенные часы	краткий летний жар
вздохи южные	(утро) зимнее
(слава) солнечная	дыханье вьюги
знойные (берега)	пасмурный навес / метелью
зефир	полгода скрываемых небес
	пределы наши льдистые
	бурнодышащий полночный
	аквилон [Цивьян 2001: 32–33].

Сопоставление, предлагаемое Баратынским, является клишированным. Такой прием отсылает читателя к общепринятой в русской художественной культуре оценочной позиции. Аналогичное наблюдается и в восприятии флоры. Т. В. Цивьян выделяет в итальянской природе следующие характеристики: янтарный виноград, лимон золотой, зелень узорная, неувядаемая, земля цветов, розы, мирты, оливы... В русской картине растительные образы сдержанней: дубы прохладнейшие, тощие мхи, древа иглистые.

«Контраст по рельефу, климату, флоре подводит к другому контрасту по цвету и свету:

ИТАЛИЯ	РОССИЯ
янтарный (виноград)	белый (снег, лед)
золотой (лимон)	пасмурный (небо)
пурпурный	
яркий	
лазоревый [Цивьян 2001:34].	

Представление об Италии как о райском саде и принцип противопоставления, при этом используемый, резко определяют невозможность допущения характеристики русского пейзажа в ярких, насыщенных, теплых тонах, не дают никакой почвы для создания богатой, радостной картины отечественной природы.

В пейзажах часто выделяются группы образов, наиболее употребимые и несущие основную смысловую нагрузку всей образной системы, — топосы. Среди таких образов наиболее частым является дерево. Характеризуя духовное или душевное состояние героя, дуб, береза, клен, рябина, сосна или другие деревья акцентируют то или иное идейное содержание. Но есть смысл, который выступает структурообразующим стержнем русского национального пейзажа, — образ мирового древа. Топос древа соединяет глубину и высоту не только в пространстве, но и во времени. Через этот образ делается попытка преобразовать горизонталь вертикалью. Соединение человека с деревом — это своего рода попытка выйти к надземному, вечному, найти опору в природе.

Древо космизирует пейзаж. Наполняет картину сакральным смыслом. Становится знаком сопряжения земного, материального с идеальным. В иконе, где пейзаж крайне редок, сакрализующую роль играет именно дерево. Церковь в русских селениях и дерево в русской пейзажной картине выступают своеобразным аналогом, стягивая необозримые шири в единое духовное измерение. Дерево задает русскому пейзажу, растянутому по горизонтали, вертикальный ракурс.

Своеобразным продолжением иконы выступают некоторые произведения отечественной живописи, например картины М. Нестерова. Художник вводит русских святых в лес, который олицетворяет райский сад, так как пространство полотен сакрализовано: тихий перелесок, хрустальный воздух, тонкие, почти бестелесные травы и цветы, прозрачные часовни и церквушки на холмах и деревья, невесомые, хрупкие, соединяющие чистой и вечной нитью землю и небо.

Вообще место пейзажа в русской живописи весьма велико. В период зарождения светского искусства именно пейзажу и портрету была уготована миссия наиболее популярных жанров. Именно в этих областях, по мнению П. Н. Милюкова, должны были проявиться первые попытки самостоятельного творчества, более или менее независимого от западных образцов. «К пейзажу как таковому высокопоставленные заказчики, правда, долго были совсем нечувствительны. Но их не могло не интересовать — увековечить на полотне все те монументальные здания и французские «перспективные» сады, которые они построили» [Милюков 1994: 52]. Первой задачей пейзажа явилась задача чисто топографическая: верно передать панораму улиц, дворцов и усадеб. Большую роль в этом сыграла гравюра.

В пейзажной живописи русские художники достаточно скоро смогли эмансипироваться от академического «гипсового» и «натурного» классов, приблизиться к «живой натуре». Но значительно позже в русском живописном пейзаже возникнет философия, природный образ будет рассматриваться как отражение определенной идеи, пейзаж — повод к погружению во внутренний мир человека. Пожалуй, начало этого явления было связано с творчеством Куинджи и Левитана.

Такая задержка в развитии в русской практике и светского искусства в целом и пейзажа в частности обусловлена отсутствием склонности к реф-

лексии и к рациональному постижению действительности. Как заметил И. В. Кондаков, вся древнерусская культура держалась на «синкретическом, аморфном смысловом ядре – культуре – вере, благодаря чему внерелигиозные формы культуры на Руси длительное время не развивались (наука, философия, светское образование, внеконфессиональное искусство и т. п.)» [КОНДАКОВ 2002: 270].

Но и после своего рода культурного взрыва, происшедшего в контексте реформ Петра, и после того, как русская культура встанет на путь секуляризации, можно будет постоянно обнаруживать следы подобной русской склонности: лучше верить, чем знать.

Можно говорить и о том, что процесс обретения русской живописью собственного лица не обошелся и без характерной для русского человека склонности к идеализации окружающей его природы. Поиск идеала в русском пейзаже – частая черта. Мечтательность и вера в чудесные изменения всегда находили отражение и в русской душе. Обычно надежда на лучшее, преодоление несовершенства мира связаны были с цветением. В мифологических системах, в том числе и славянской, обычно образами деревьев и трав подчеркивалась восходящая линия жизни – от рождения к максимальной стадии роста – цветению и плодоношению. Эти сакральные образы отпечатались на русских рубахах и сарафанах, платках и кокошниках, в узорах кружев. Человек стремился получить дополнительную энергию от цветущего растения, поверить в свою силу и красоту, став единым целым с природой.

Полная символических образов формула А. Белого представляется не субъективным мироощущением поэта, а идеальным пейзажем, сохраняющем архетипические черты, и в котором русский человек находил силы для будущего. Грезить о России, полной сил, красивой и гармоничной, – стало национальной чертой. Грезить, скажем, в духе А. Белого. «Россия – большой луг, зеленый. На лугу раскинулись города, селения, фабрики. [...] Верю в Россию. Она – будет. Мы – будем. Будут люди. Будут новые времена и новые пространства. Россия – большой луг, зеленый, зацветающий цветами» [БЕЛЫЙ 1994: 333].

Таким образом, в процессе восприятия, оценки, творческого преобразования природа становится пейзажем. Причем пейзажная структура представляет собой образ, имеющий определенное художественное оформление и семантическое наполнение. Образное начало пейзажа отсылает к воображению. Механизмы воображения разнообразны. Одним из них является онирирование. Онирический пейзаж помогает точнее описать ментальные черты культурной общности.

Литература

- БАШЛЯР 1998: Башляр, Г. Вода и грезы. М.: Издательство гуманитарной литературы, 268 с.
- БЕЛЫЙ 1994: Белый, А. Луг зеленый. // Белый, А., Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994, 528 с.
- БЕРДЯЕВ 1990: Бердяев, Н. А. О власти пространства над русской душой. // Судьба России. М.: Философское общество СССР, 240 с.
- ВЕЙДЛЕ 1991: Вейдле, В. В. Россия и Запад. // Вопросы философии. № 10.
- ВИНЕР 1995: Винер, Д. Р. Экологическая идеология без мифов // Вопросы философии. № 5.
- ГАЧЕВ 1991а: Гачев, Г. Космософия России. // Русская Дума. М: Новости, 304 с.
- ГАЧЕВ 1991б: Гачев, Г. Русь – жертва России. // Русская Дума. М.: Новости, 304 с.
- ГАЧЕВ 1995: Гачев, Г. Национальные образы мира. Космо - Психо-Логос. М.: Логос, 422 с.
- ЗОРИН 1997: Зорин, А.Л. Батюшков и Германия // Мировое древо. № 5.
- КОНДАКОВ 2002: Кондаков, И. В. О механизмах повторяемости в истории русской культуры // Искусство в ситуации смены циклов. М.: Наука, 468 с.
- КЛЮЧЕВСКИЙ 1956: Ключевский, В. О. Сочинения: В 8-ми т. Т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 428 с.
- ЛИХАЧЕВ 1987: Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 – х т. Т.2. Л.: Художественная литература.
- МИЛЮКОВ 1993: Милюков, П. Н. Очерки по истории русской культуры: В 3-х т. Т.1. М.: Прогресс, 527с.
- МИЛЮКОВ 1994: Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3-х т. Т.2. М.: Прогресс, 416 с.
- ПИГАРЕВ 1972: Пигарев, К., Русская литература и изобразительное искусство. М.: Наука, 121 с.
- САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 1988: Салтыков-Щедрин, М. Е. Собр. соч.: В 10-ти т. Т.1. М.: Правда, 542 с.
- ЦИВЬЯН 2001: Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. СПб.: Иван Лимбах. – 248 с.
- ШКЛОВСКИЙ 1966: Шкловский, В. Б. О пейзаже // Шкловский В.Б. Повести о прозе. В 2-х т. Т.1 М.: Художественная литература, 640 с.
- ШПЕНГЛЕР 1997: Шпенглер О. Двойной лик России и восточные проблемы Германии // Новая Россия. № 2.
- ЭЛИАДЕ 1999: Элиаде, М. Испытание лабиринтом. Беседы с Клодом Анри Роке // Иностранная литература. № 4, 1999.
- ЭПШТЕЙН 1990: Эпштейн, М. «Природа, мир, тайник вселенной...» Система пейзажных образов в русской поэзии. М.: Высшая школа, 303 с.
- ЭПШТЕЙН 2005: Эпштейн, М. Все эссе: В 2 т. Том 2: Из Америки. Екатеринбург. У-Фактория, 2005, 704 с.
- ЮНГ 1995: Юнг, К. Г. Проблема души современного человека: Антология / Сост., вст.ст. П.С. Гуревича. М. Высшая школа, 1995, 240 с.

Abstract

Russian Reverie: To the Question of the National Character

The article deals with the peculiarities of the Russian mentality, formed under the influence of various environmental factors. Worldview distinguishes Russian penchant for reverie, as evidenced by numerous examples of national poetry.

ВЕНГЕРСКИЙ ПЕРИОД И ЕГО МЕСТО В БИОГРАФИИ СКОВОРОДЫ

ВАДИМ ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

В любезной моей Унгаріи волами молотят.
И что ж воспящает Лукъ быть волом? Не думай, будьто до плотских волон вздорная сія истина касается: «Волу молотящу да не заград[и] уст».

Сковорода

Венгерский период является одним из менее изученных, а поэтому требует отдельного внимания для определения объективных причин и источников художественного творчества Сковороды с точки зрения развития русской и украинской литературы восемнадцатого века. К этой теме обращались и ранее, но без конкретного учета географических мест и исторических условий, непосредственно связанных с его служебным пребыванием в Австро-Венгрии в 1745–1750 годах. Из множества работ биографического характера, прежде всего, следует выделить очерк писателя Коваленского *Жизнь Григорія Сковороды*, вышедший из-под его пера в 1795 году на основании личного опыта ученика и друга



Сковороды. Далее нужно отметить статью венгерского профессора Гесса де Кальве *Сковорода – циник нынешнего века*, появившуюся в «Украинском вестнике» в апреле 1817 года вместе с кратким мемуаром швейцарца Вернета *Лопанский мост – отрывок из воспоминаний о Харькове* под общим названием *Сковорода, украинский философ*. Встречаясь со слобожанскими помещиками, а среди них с братьями Сошальскими и семьей Мечниковых, близко знавшими Сковороду, Гесс де Кальве описал тот длинный путь, который, по их рассказам, проделал будущий литератор через Польшу, Пруссию, Германию и Италию. Также важно подчеркнуть труд историка Рачинского *Русские комиссары в Токае в XVIII столетии*, опубликованный в «Русском вестнике» в 1875 году по материалам Главного московского архива Министерства иностранных дел России. В нем впервые было дано полное описание

деятельности Императорской комиссии венгерских вин, созданной по указу российской императрицы Анны Иоанновны в июне 1733 года, которую на протяжении многих лет возглавлял генерал-майор Федор Степанович Вишневецкий, о котором Коваленский так писал в связи с отправлением Сквороды за границу: «От двора отправлен был в Венгрію к Токайским садам генерал-майор Вишневецкій, который для находившейся там греко-россійской церкви хотѣл имѣть церковников, способных к службѣ и пѣнію. Скворода, извѣстен знаніемъ музыки, голосом, желаніемъ быть в чужих краях, разумнѣемъ нѣкоторыхъ языков, представленъ был Вишневецкому одобрительно и взятъ им въ покровительство. Путешествуя с генераломъ сим, имѣлъ онъ случай, с позволенія его и с помощію его, поѣхать из Венгріи¹ въ Вѣну, Офен,² Презбург³ и прочія окольныя мѣста, гдѣ, любопытствуя по охотѣ своей, старался знакомиться наипаче с людьми ученостію и знаніями отлично славимыми тогда. Онъ говорилъ весьма исправно и с особливою чистотою латинскимъ и нѣмецкимъ языкомъ, довольно разумѣлъ еллинскій, почему и способствовался сими доставить себѣ знакомство и пріязнь ученыхъ, а с ними новыя познанія, каковыхъ не имѣлъ и не могъ имѣть въ своемъ отечествѣ».⁴

Располагая уникальными документами и письмами из канцелярской переписки российской императрицы Елизаветы и придворного комиссара Вишневецкого, Рачинский сумел пролить свет на малоизвестные детали, касающиеся пятилетнего нахождения Сквороды в Токае, без которых его биография оставалась бы незаконченной. Согласно его находкам, императрица Елизавета именным указом от 6 апреля 1745 года посылала Вишневецкого для производства и закупок токайского вина, которое, благодаря военно-политическому союзу Петра I с семиградским князем Ференцем Ракоци II, приобрело небывалую по своим размерам популярность в высших кругах России, о чем детально пишет венгерский историк Тарди в брошюре *История токайской винной торговой комиссии (1733–1798)*. 20 августа того же года в Государственную коллегию иностранных дел сообщалось, что с Вишневецким отбыли следующие лица: «Сын его, Новотроицкого драгунского полка поручик Гаврил Вишневецкий. Вахмистр один. Капрал один. Драгун двенадцать. Рейтаров два. Да сверх того: За адъютанта, Суздальского пехотного полка сержант, князь Федор Чегодаев.⁵ Солдат трое. Бочкарей два. Священник один. Дьячок один. Собственных его, генерал-майора, служителей девять человек. Всего, значит, в Венгрію, для выделки или покупки вина и отправки его ко Двору, ехало в 1745 году «добрых, молодых и грамотных» тридцать пять человек» [РАЧИНСКИЙ 1875: 8–9]. Из письменного донесения в Санкт-Петербург видно, что в сопровождении Вишневецкого имелось два

¹ Верхняя Венгрия.

² Австрийское название Буды.

³ Австрийское название Братиславы.

⁴ Там же, т. 2, 440–441.

⁵ Позже смененный императорским указом на курьера Ивана Мейера.

церковнослужителя, одним из которых долгое время считался Сковорода. Украинский исследователь Бородий в статье «*Белые пятна*» биографии Г. Сковороды опровергает подобное мнение, ссылаясь на работу Харламовича *Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь*, и при этом называет имена вышеупомянутых священников: Корнелий Романов и Михаил Никитин [БОРОДИЙ 2003: 546].

Одна из задач данного исследования заключается в том, чтобы определить официальную должность Сковороды, которую он занимал в Императорской комиссии, и с кем из венгерских ученых он мог встречаться, так как точной информации по этому поводу практически не сохранилось. Причиной этому может быть тот факт, что наряду с внешнеэкономическими целями преследовались и внешнеполитические, выражающиеся в широкой религиозной агитации среди славяноязычных австро-венгров, т.е. рацов, или сербов, направленной на их массовое переселение в свободные юго-западные области России для создания там Новой Сербии. Этот план был с успехом осуществлен в июле 1751 года под умелым руководством сербского полковника Хорвата, впоследствии генерала и первого главы Новосербской губернии, при взаимном согласии австрийской эрцгерцогини Марии Терезии и российской императрицы Елизаветы, готовящихся объявить Семилетнюю войну Пруссии [TARDY 1963: 74]. В надежде на лучшую жизнь и получение плодородных земель, тысячи выходцев из различных балканских и трансильванских регионов эмигрировало из Австро-Венгрии на территорию современной Кировоградской области Украины, где и сегодня проживают их генетические потомки. Вполне возможно, что Сковорода мог сыграть активную роль в подготовке этого этнического процесса, пребывая на службе в Токайских садах с 20-х чисел сентября 1745 года по 8 сентября 1750 года, по хронологическим подсчетам украинского биографа Махновца, автора книги *Григорій Сковорода* [МАХНОВЕЦЬ 1972: 48].

Из очерка Коваленского также известно, что Сковорода ранее служил в Императорской хоровой капелле, постоянно действующей с 1479 года, состав которой, по давно сложившейся традиции, набирался из наиболее талантливых малороссийских казаков: «Тогда царствовала императрица Елисавет, любительница музыки и Малороссіи. Дарованія Сковороды к музыкѣ и отъменно приятный голос его подали случай быть ему выбрану ко двору в пѣвческую музыку, куда и отправлен был он при вступленіи на престол государыни. Он недолго находился там. Императрица скоро предпріяла путешествіе в Кіевъ и с нею весь круг двора. Сковорода, прибыв туда при возвратном отбытіи двора в С.-Петербург, получа увольненіе с чином придворнаго уставщика, остался в Кіевѣ и паки начал учиться» [СКОВОРОДА 1973b: 440]. Бородию удалось одновременно установить точный срок певчей службы Сковороды: с 12 октября 1742 года по 13 сентября 1744 года, что не менее важно для определения времени его пребывания в Императорской комиссии венгерских вин в Токае [БОРОДИЙ 2003: 543].

В разделе о чинах краткого словаря Ливенцева о государственной службе Московского государства и Российской империи можно прочесть, что придворный уставщик, кем официально являлся Сковорода, отвечал за содержание домовых церквей и часовен в царских дворцах, и порядок организации церковных служб. В середине восемнадцатого века этот титул, считавшийся почетным рангом, присваивался певчим и музыкантам, служившим при дворе, вместе с западноевропейским чином мундшенка (от нем. *mundschenk*⁶), а до 1845 года он, в дополнение к остальным привилегиям, означал получение личного дворянства [ЛИВЕНЦЕВ 2006] В письме от 25 января 1754 года, адресованном Сковороде из Москвы, его друг Каноровский-Соха обращается к нему следующим образом: «Сердечному другу и приятелю моему Григорию Ивановичу (!) его благородию, Сковородъ, или Саввину, или Дунаевскому...». [СКОВОРОДА 1973b: 555] «Ваше благородие» – так в действительности титуловались придворные уставщики, среди которых особо известными были ученик Ломоносова, поэт и певец Голеневский, дослужившийся до коллежского асессора, и Ладунка, один из немногих светских композиторов восемнадцатого века, составивший и сохранивший нотные записи большого количества редких русских народных песен [ЛИВЕНЦЕВ 2006: Категория: Чины]. Что касается музыки и игры на музыкальных инструментах, то, по воспоминаниям Коваленского, Сковорода «...сочинил духовные концерты, положив некоторые псалмы на музыку, так же и стихи, пѣваемые во время литургии, которых музыка преисполнена гармонии простой, но важной, проникающей, пленяющей, умиляющей. Он имѣл особую склонность и вкус к акроматическому роду музыки. Сверх церковной, он сочинил многія пѣсни в стихах и сам играл на скрипкѣ, флейтраверь, бандорѣ и гусях приятно и со вкусом» [СКОВОРОДА 1973b: 459]. Этим подтверждается тот факт, что благодаря высоким профессиональным качествам Сковорода был взят придворным уставщиком в свиту Вишневого, о чем сообщалось в письме от 20 августа 1745 года в Государственную коллегию иностранных дел кабинет-министром бароном Черкасовым: «Собственных его, генерал-майора, служителей девять человек» [РАЧИНСКИЙ 1875: 9]. Именно здесь следует искать так называемый «венгерский след» Сковороды, что и подчеркивается Коваленским: «Путешествуя с генералом сим, имѣл он случай, с позволения его и с помощью его, поѣхать из Венгрии в Вѣну, Офен, Презбург и прочія окольныя мѣста...» [СКОВОРОДА 1973b: 441]. Итак, его самостоятельные путешествия по Австро-Венгрии и Западной Европе, в целом, без придворного комиссара, на которые часто ссылаются многие биографы, были полностью исключены, так как, не имея паспорта и проездных документов, он был лишен всякой возможности для реального свободного передвижения. В то время Вена, Офен и Пресбург являлись главными центрами государственной власти и посещались Вишневым в связи с разрешением судебных споров из-за незаконно арендованных им домов и виноградников. Поскольку все высшие юридические

⁶ Виночерпий (нем.).

инстанции были в Пресбурге, то вердикты, принятые Шаторальяуйхельским и другими земскими судами, могли быть обжалованы только там. Российско-австрийскими дипломатическими отношениями в те годы командовал Ланчинский, тайный советник и чрезвычайный посол Императорского двора в Вене, с которым не раз встречался придворный комиссар, а под «...прочія окольные мѣста...» [Там же] могут пониматься его деловые поездки в соседнюю Польшу и Северную Италию, или земпленьские деревни и города, считающиеся традиционными центрами токайского виноделия: Токай, Тарцал, Мезезомбор, Мад, Талля, Абауйсанто, Бодрогкерестур, Оласлиса, Тольчва, Эрдебень, Шарошпатак и Шаторальяуйхель. В некоторых из них он планировал «...купить три двора с удобными при них погребями и орудиями» – пишется в донесении от 10 октября 1745 года [РАЧИНСКИЙ 1875: 11]. Располагая многолетним опытом поставок токайского вина, он стремился отправлять молодые вина по суше через Кашшу,⁷ Пряшев, Дуклу, Кросно, Жешув, Ярослав, Львов, Броды, Шепетовку, Бердичев, Каменку, Фастов, Васильков, Киев, Севск и Москву, а старые выдержанные по морю через балтийский порт Гданьск в Петергоф на императорском пакетботе, специально присланном из Санкт-Петербурга каждой весной. Владение польским, немецким и итальянским языками, а также его великолепные артистические данные, делали Сковороду абсолютно незаменимым во время официальных приемов и званных обедов, на которые часто приглашался Вишневецкий, больше известный в светских кругах как «московский генерал». Своим пребыванием в Токае с декабря 1729 года, он фактически стал внешнеторговым представителем России, первым организовав весь сложный процесс производства «...сухогроздного вина, Aussbruch⁸ называемого...», [Там же, 17] или *vinum regum – rex vinorum*,⁹ с 1630 года завоевавшего большую славу и популярность у российских самодержцев и европейских правителей. Это им была предложена идея создания Императорской комиссии венгерских вин, просуществовавшей шестьдесят пять лет, регулярно снабжая высококачественным токайским Асу, о котором императрица Елизавета весьма откровенно признавалась в указе от 8 ноября 1745 года: «А ежели возможно, хотя б три антала¹⁰ на почте прислать, что здесь такая нужда, что негде сыскать невозможно, а я обойтитца без оного не могу, что и вы известны» [РАЧИНСКИЙ 1875: 10–11].

В 1768 году, посещая графство Земплен, английский путешественник Сильвестер Дуглас, лорд Гленберви, сделал следующие наблюдения в географическом очерке *On the Tokay and other wines of Hungary*:¹¹ «В течение

⁷ Венгерское название Кошицы.

⁸ Сорт десертного токайского вина Асу, не поддающегося окислению, для приготовления которого виноградные гроздья оставляются на лозе для постепенного превращения в изюм (нем).

⁹ Вино королей – король вин (лат.).

¹⁰ Винная дубовая бочка емкостью 75 л (от франц. *antheil*).

¹¹ О токайском и других винах Венгрии (анг.).

последних 20 лет Двор Петербурга имеет агента, постоянно живущего в Токае, с целью приобретения вина. Настоящий агент является майором на русской службе, а прежний был генерал-майором. Он по обыкновению закупает каждый год от 40 до 60 анталов из Аусбрух, но никогда любого другого сорта» [DOUGLAS 1773: 298].¹² Пребывая в Токае или сопровождая Вишневого, Сковорода тоже уделял внимание социально-экономическим процессам, протекавшим в Австро-Венгрии, Польше и Италии, которые он сравнивал с условиями жизни в России. Он замечал буквально все, что видно из его поэтических и прозаических произведений, для написания которых он мог вести путевые записки, соответствующие его интеллекту и уже сложившимся политическим взглядам на петербургское общество. Это еще объяснялось его происхождением и образованием, благодаря которому он стоял значительно выше большинства людей, находившихся с ним на службе. Вот как вспоминает о его семье Коваленский: «Григорій, сын Савы, Сковорода родился в Малой Росії, Кіевскаго намѣстничества, Лубенской округи, в сель Чернухах в 1722 году. Родители его были из простолюдуства: отец – козак, мать – такого же рода. Они имѣли состояніе мещанское, посредственно достаточное, но честностію, правдивостію, страннопріимством, набожеством, миролюбивым сосѣдством отличались в своем кругѣ» [СКОВОРОДА 1973b: 440]. В указе императрицы Елизаветы от 2 мая 1743 года о привилегиях певчим Императорской хоровой капеллы приводится полное имя матери Сковороды, дочери казацкого полковника: «...Пелагея Степановна дочь Шенгереевна...», [БОРОДІЙ 2003: 537] а в книге украинского биографа Багалея *Український мандрованний філософ Г.С.Сковорода*¹³ дается ссылка на Игната Кирилловича Полтавцева (или Полтавца), императорского камер-фурьера и родственника Сковороды по материнской линии, пользовавшегося определенным влиянием в Санкт-Петербурге [БАГАЛЕЙ 1926: 27]. Читая указ Петра I от 26 июля 1710 года, приведенный в статье Рачинского, можно встретить имя Саввы Григоровича (или Григорьева), греческого купца, служившего в Варшаве, которому для Дашкова, императорского резидента при польском коронном гетмане Синявском, «...предписывалось заготовить посланным квартиры, а во Гданске для вина погреба» [РАЧИНСКИЙ 1875: 4]. После этого, в 1716 году, он был отправлен в Венгрию для организации новых винных поставок. В императорских рескриптах и указах восемнадцатого века, в первую очередь, упоминались имена и отчества подданных императору лиц, а поэтому можно предположить, что он мог быть отцом Сковороды, что стало одной из причин его быстрого зачисления в Императорскую комиссию венгерских вин Вишневым, который был с ним лично знаком с 1730 года: «И здесь посредником

¹² For these last 20 years the Court of Petersburg has had an agent, who resides constantly at Tokay, for the purpose of buying wine. The present agent is a major in the Russian service, and the formerly was a major-general. He commonly purchases every year from 40 to 60 antheils of Ausbruch, but never of any other sort.

¹³ Украинский странствующий философ Г. С. Сковорода (укр.).

между подскарбием и Вишневым, по пересылке к нему паспортов, является, уже не в Варшаве, а в Ярославле живущий Грек, Савва Григорьев» [Там же, 5]. Близкое родство всегда являлось лучшей рекомендацией для продвижения по служебной лестнице, в результате чего целые семейные династии служили верой и правдой царю и отечеству на протяжении многих десятилетий. Также, по утверждению Гесса де Кальве, известно, что отец Сковороды был очень бедным священником [КАЛЬВЕ–ВЕРНЕТ 1817: 106–119].

На эту должность, как правило, выбирались самые грамотные из казацкой старшины, что было другой характерной особенностью того времени, а их дети имели право на бесплатное обучение в церковно-приходских школах. Коваленский так ссылается на эту деталь в биографии Сковороды: «...сын их Григорій по седьмому году от рожденья примѣтен был склонностію к Богочтенію, дарованіем к музыкѣ, охотою к наукам и твердостію духа. В церквѣ ходил он самоохотно на крилос и пѣвал отъменно, приятно... По охотѣ его отец отдал его в Кіевское училище, славившееся тогда науками. Григорій скоро превзошел сверстников своих успѣхами и похвалами. Митрополит Кіевскій Самуил Миславскій, человек отличной остроты разума и рѣдких способностей к наукам, будучи тогда соучеником его, оставался во всем ниже его, при величайшем соревнованіи своем» [СКОВОРОДА 1973b: 440].

В отношении родных братьев и сестер Сковороды, можно привести цитату из притчи *Благодарный Еродій*: «...Сколько вас у отца и матери чад?.. Я и мнѣйшій мене брат Ерогас и сестра Киконія...» [Там же, 101]. Несмотря на всю образность данного высказывания, мало кто из биографов обращал на это внимание, исследуя его генеалогическое древо, хотя известно, что брат Сковороды Степан жил в Северной Столице. В письме к Коваленскому в экзегетическом трактате *Книжечка о чтеніи Священн[аго] Писанія, нареченна Жена Лотова* пишется о его двоюродном брате Иустине Зверяке, игумене Киево-Печерской Лавры, а позже настоятеле Пустынно-Никольского монастыря, [Там же, 32] сыновья которого Остап и Петр стали врачами, получившими медицинское образование на родине и зарубежом.

Перед отправлением в Венгрию, Сковорода провел несколько лет в Киевской духовной академии, основанной митрополитом Петром Могилой в 1632 году. Это было первое высшее учебное заведение в Правобережной Украине и крупнейший образовательный и научно-культурный центр Восточной Европы, в котором преподавались церковнославянский, латинский, греческий, русский, польский, немецкий, французский, еврейский, история, литература и т.д. Академический курс, состоящий из двенадцати лет обучения, делился на восемь классов: четыре младших, два средних и два старших, называвшихся аналогия, или фара, инфима, грамматика, синтаксима, пиитика, риторика, философия и богословие. В 1742 году уже насчитывалось 1234 студента, а также имелась богатая библиотека, включающая свыше 10000 уникальных томов, изданных в университетах Парижа, Лондона, Рима, Болоньи, Амстердама, Страсбурга, Гамбурга, Галле, Берлина, Лейпцига, Варшавы, Ке-

нингсберга и т.д. На мемориальной доске старого здания академии на Подоле высечены имена великого русского ученого Ломоносова, работавшего там осенью 1734 года, и выдающегося украинского философа и поэта Сковороды, обучавшегося в 1744–1750 годах. Согласно архивным находкам Рачинского и Тарди, можно с уверенностью заявить, что вышеуказанный период не соответствует исторической истине, поскольку в тот момент Сковорода находился на службе в Токае, о чем свидетельствуют сохранившиеся сегодня данные. Подобная биографическая путаница могла быть вызвана буквенным сокращением «Г.М.», т.е. генерал-майор, перед именем Вишневого: «20-го августа того же года, из Киева, Г.М. Вишневской доносил Государственной коллегии иностранных дел что посланные ему оттуда для сведения списки рескриптов государыни: 1) в Вену, тайному советнику и чрезвычайному посланнику Ланчинскому; 2) в Дрезден, тайному советнику обер-гофмаршалу и полномочному министру графу Бестужеву-Рюмину; 3) в Варшаву, к резиденту Петру г. Голембовскому, и 4) во Гданск, агенту г. Шереру, относительно данного ему поручения, им получены» [РАЧИНСКИЙ 1875: 8]. После его смерти, 27 января 1749 года, его сын Гавриил Федорович, в звании полковника, тоже возглавлял Императорскую комиссию венгерских вин, но из-за постоянных судебных конфликтов с официальными властями графства Земплен, унаследованных им от отца, он был вынужден досрочно вернуться в Россию в 1753 году. Большинство исследователей, не имея доступа к государственным архивам, часто принимали аббревиатуру «Г.М.» за «Г.Ф.», т.е. Гавриил Федорович, а, кроме этого, известно, что указом Елизаветы от 20 ноября 1749 года с полковником Вишневым в Токай отправлялись: «...священник один; драгун два; рейтер один; писарей два; да собственных его служителей мужеска и женска пола тринадцать, всего девятнадцать человек» [Там же, 19]. Вместо умершего в том же году священника Романова был назначен Турчиновский, прибывший из Переяславской епархии [БОРОДИЙ 2003: 547]. Всем этим еще раз подтверждается тот факт, что Сковорода действительно находился в Верхней Венгрии в 1745–1750 годах, до этого проживавший около восьми лет в стенах Киевской духовной академии.

Среди преподавателей Сковороды следует выделить выпускника академии Симона Тодорского, в миру Симеона Федоровича Теодорского. Вернувшись из университета в Галле, где он шесть лет был учеником востоковеда Михаэлиса, он, в 1738–1741 годах, преподавал ему греческий, древнееврейский и немецкий языки [МАХНОВЕЦЬ 1972: 57].

В 1742 году, по рекомендации митрополита Киевского и Галицкого Рафаила Заборовского, он был срочно вызван Синодом к Императорскому двору и назначен законоучителем и воспитателем престольного наследника Карла Петра Гольштейна-Готторпского, будущего Петра III. После перехода Петра в православную веру, он оставался его духовником, а с 1744 года был наставником его невесты Софии Фредерики Цербстской, в 1762 году вступившей на престол как Екатерина II [Там же, 60].

С 1728 года в академии получает образование Григорий (Георгий) Конисский, который впоследствии избирается профессором пиитики и философии, а с 1755 года он возглавляет Могилевскую епархию в Белой Руси. Сковорода, как и Конисский, обучался во времена высшего культурного расцвета, когда преобладали прогрессивные идеи русских просветителей Кантемира, Татищева и Ломоносова. В первой половине восемнадцатого века российская академическая наука становится на путь рационального изучения мира, а знание классических языков делает доступными произведения Аристотеля, Плутарха, Цицерона, Овидия, Вергилия, Эразма Роттердамского, Коменского и других философов. Одновременно появляется новаторская система силлаботонического стихосложения, успешно разработанная Тредиаковским (*Новый и краткий способ к сложению российских стихов*) и Ломоносовым (*Письмо о правилах стихотворства*), [КАШУБА 1979: 21–26] получившая непосредственное отражение в педагогических исканиях молодого поэта и учителя Сковороды, который в 1750 году в Переяславском коллегиуме составляет «...разсуждение о поезіи и руководство к искусству оной новым образом...» – вспоминает об этом Коваленский [СКОВОРОДА 1973b: 441].

Летом 1745 года, прервав обучение во второй раз, Сковорода продолжает свое самоусовершенствование в Венгрии. Имеются все основания полагать, что он посещал Шарошпатакский реформаторский коллегиум, находящийся в тридцати пяти километрах от Токая, где, как пишет Коваленский, «...любопытствуя по охоть своей, старался знакомиться наипаче с людьми ученостию и знаниями отлично славимыми тогда. Он говорил весьма исправно и с особливою чистотою латинским и нѣмецким языком, довольно разумѣл еллинскій, почему и способствовался сими доставить себѣ знакомство и пріязнь ученых, а с ними новыя познанія, каковых не имѣл и не мог имѣть в своем отечествѣ» [Там же]. Украинский историк Штернберг приходит к такому же выводу в работе *Григорий Сковорода в Венгрии*, вышедшей на венгерском языке в 1981 году, [VÁRADI-STERNBERG 1981: 218–219] в которой он ссылается на статью русского профессора филологии Снегирева, опубликованную в журнале «Отечественные записки» в 1823 году. [СНЕГИРЕВ 1823: 96–106] Оба исследователя в своих заключениях повторяют вышесказанное Коваленским, о ком следует еще заметить, что после преподавания пиитики в Харьковском коллегиуме в 1766–1769 годах, он сопровождал графа Алексея Кирилловича Разумовского в его путешествии по Европе, лично проехав места, непосредственно связанные с пятилетним пребыванием Сковороды за границей [СКОВОРОДА 1973: 524].

В отношении Шарошпатака нужно добавить, что на протяжении многих столетий он лежал на знаменитом Винном тракте, по которому шло международное торговое сообщение между юго-западом и северо-востоком Европы. В восемнадцатом веке старые ворота коллегиума выходили на главную улицу города, ведущую на базарную площадь перед реформаторской церковью, где всегда было скопление иностранных купцов, перевозящих на конных подводах дубовые бочки с токайским вином в Польшу, Россию, Шве-

цию, Англию и т.д. Согласно монографии венгерского профессора Гуляша *Шарошпатак и его окрестности*, в 1047 году здесь поселилась королевская чета Эндре I и Агмунды (Анастасии), третьей дочери киевского князя Ярослава Мудрого, которая при венчании получила эти земли в подарок. Городское население быстро росло благодаря выгодному географическому расположению. Племена венгров, пришедшие в Карпатскую долину в 896 году, были встречены славянами, к которым с одиннадцатого века присоединились германские валлоны. В 1201 году король Имре предоставил городу статус королевского с соответствующими привилегиями, скрепленными Иштваном V в 1272 году [GULYÁS 1933: 12]. Реформаторское движение, зародившееся в Германии в 1517 году, способствовало основанию в 1531 году капитаном королевской гвардии Петером Переньи лютеранской, а позже кальвинистской школы, в которой преподавание велось в протестантском духе [СЕНТИМРЕИ 1997]. Одновременно шел процесс постепенного формирования ценных книжных коллекций, пополнявших знаменитую Большую библиотеку коллегия, тем самым привлекая внимание иностранных ученых и студентов, таких как Коменский, известный в России под псевдонимом Иоанна Амоса Комения [СОМЕНИУС 1788]. Относительно недавно удалось установить настоящее имя этого великого моравского эдукатора венгерского происхождения: Янош Мартин Сегеш, родившегося в Угерском Броде, недалеко от старой границы с Венгрией [SZALATNAI 1972]. В 1650 году он был приглашен для организации пансофической школы семиградской княгиней Жужанной Лорантффи, вдовой князя Дьордя Ракоци I. В течение четырехлетнего пребывания им был составлен первый иллюстрированный школьный словарь *Orbis Sensualium Pictus*,¹⁴ который стал основой современного визуального обучения. В философском диалоге Сковороды *Разговор, называемый алфавит, или букварь мира*, написанном в 1775 году, можно найти много общих методологических принципов, несмотря на столетний промежуток времени, разделяющий этих двух педагогов [СКОВОРОДА 1973а: 411–463].

После Сковороды, в стенах этого элитарного учебного заведения побывал Иван Иоакимович Фальковский, позже служивший псаломщиком в Императорской комиссии. Прослушав класс пиитики в Киевской духовной академии, он с отцом, священником Иустином, прибыл в Токай и «...посещал школы Пиаров, где усвоил себе окончательно языки латинский и немецкий. Затем отец послал его в Пресбургскую гимназию, а по кончине отца, в 1779 году, он перешел в Пещ-Буду¹⁵ для продолжения учения в тамошнем университете, по окончании коего служил (с мая 1781 года) в канцелярии русского посольства в Вене. Затем возвратился в Токай и поступил в канцелярские нашей Комиссии, а в начале 1783 года, оставив ее, прибыл в Киев, где поступил преподавателем академии. Чрез три года (1786) принял монашество с именем Иринея, под которым и сделался известен как лучший из всех своих сотова-

¹⁴ Мир значений в картинках (лат.).

¹⁵ Старое название Будапешта.

ришей по учености и преподаванию. В 1804 оставил ректорство и посвящен (1807) в епископы чигиринские, коадьюторы митрополии; 1812, с февраля, епископ смоленский...» [РАЧИНСКИЙ 1875: 21] – сообщал о нем в письме Рачинскому его родственник, профессор Московского университета Бодянский. Годы, проведенные в Токайских садах, оставили глубокий след в судьбах этих молодых малороссийских академистов, что отмечалось в их дальнейших успехах на педагогическом и литературном поприще. В подобного рода процессах часто наблюдалась обратная связь в отношении шарошпатакских коллегистов. Так, например, земленский дворянин Ференц Керестури обучался на медицинском факультете Московского университета в 1762–1764 годах, а затем получил должность карантинного лекаря в городе Бахмут,¹⁶ являвшемся административным центром Славяносербской губернии на восточном берегу реки Днепр, в 1753–1764 годах заселенной императрицей Елизаветой, а впоследствии Екатериной II, славяноязычными выходцами из Австро-Венгрии для защиты южных рубежей от постоянного нападения турок и крымских татар. Когда в 1770–1771 годах вспыхнула сильная эпидемия чумы, он самоотверженно спасал жизнь простых казаков, выполняя данную им клятву Гиппократата. В 1777 году он возвращается на университетскую кафедру анатомии и хирургии, а с мая 1784 года избирается деканом медицинского факультета и более двадцати лет готовит новые кадры врачей [SCHULTHEISZ–KERESZTURI 1981]. С 1801 года куратором Московского университета назначается Коваленский, перед этим в звании генерал-майора возглавлявший Рязанское наместничество, который был знаком с профессором Керестури и другими венгерскими преподавателями. Среди них можно выделить несколько имен, «...ученостию и знаниями отлично славимыми тогда», [СКОВОРОДА 1973b: 441] имеющих прямое или косвенное отношение к посещению Сковородой реформаторского коллегияума в Шарошпатаке в 1745–1750 годах: Байи Шамуэль Патаи, главный куратор в 1722–1749 годах, императорский советник и депутат Сабольчского графства в Пожоньском (Пресбургском) парламенте в 1728 году, присутствовавший на коронации австрийской императрицы Марии Терезии в 1741 году; профессор Янош Чечи Младший, преподаватель сорока академических дисциплин в 1713–1734 годах, автор первого венгерского учебника географии, последователь французского философа Декарта и немецкого богослова Коккеюса; профессор философии Михай Сатмари Пакши II, преподававший в 1742–1744 годах, приверженец позитивного рационализма; профессор Давид Шаркань, преподаватель филологии, истории и греческого языка в 1734–1758 годах; и профессор Иштван Ф. Баньяи, преподаватель истории, риторики, логики и истории литературы в 1744–1767 годах [SCHULTHEISZ–KERESZTURI 1981: 123–132]. Коваленский так указывал на научные связи Сковороды: «...говорил весьма исправно и с особливою чистотою латинским и нѣмецким языком, довольно разумѣл еллинскій, почему и способствовался сими доставить себѣ знакомство

¹⁶ Современное название Артемовск.

и пріязнъ ученых, а с ними новыя познанія, каковых не имѣл и не мог имѣть в своем отечествѣ» [СКОВОРОДА 1973b: 441].

Кроме изученных в академии иностранных языков, Скворода овладел еще венгерским, повседневно общаясь с местным населением Земпленского графства, что видно из нижеприведенных примеров. В 1766 году в богословском трактате *Начальная дверь ко христіанскому добронравію* при семантическом сравнении ряда слов, употребляемых для обозначения понятия *Бог*, встречается венгерское *Isten*:¹⁷ «А у христіан знатнѣйшія ему имена слѣдующія: дух, господь, царь, отец, ум, истинна. Послѣднія два имена кажутся свойственнѣе протчих, потому что ум вовсе есть невеществен, а истинна въчным своим пребываніем совсѣм противна непостоянному веществу. Да и теперъ и в нѣкоторой землѣ называется Бог *Иштен*» [СКОВОРОДА 1973a: 146]. Далее *Книжечка, называемая Silenius Alcibiadis, сирѣчь Икона Алкивиадская [Израилскій змій]*, написанная в 1776 году, содержит слово *kaкас*:¹⁸ «Он сію тму просвѣщает, как молнія вселенную, сходит на ню, как голуб, согрѣвает, как кокош, покрывает, как орел хвастное гнѣздо свое и крилами своими ничтожное естество наше возносит в горнія и преобразует. «И дух Божій нош[ашеся] верху воды»» [СКОВОРОДА 1973b: 18]. *Диалог. Имя ему – Потоп змін*, от 16 августа 1791 года, включает слово *гуна*:¹⁹ «Дух. Снь, тнь, краска, абрис, руга, маска, таящая за собою форму свою, идею свою, рисунок свой, въчность свою – все тое есть херувім и снь купно, то есть мертвая внѣшность» [СКОВОРОДА 1973b: 140]. *Толкованіе из Плутарха о тишинѣ сердца*, посвященное Фальковскому, повторяет данное слово, но уже в новом контексте: «Коль завидима для него царская блистательна руга!» [Там же, 210]. Диакритическое указание фонетического ударения на первом слоге этого слова показывает глубину лингвистических познаний Сквороды, а в притче *Благодарный Еродій* оно снова употребляется и, к тому же, во множественном числе: «Сіе есть истинное, блаженное самолюбіе – имѣть дома, внутрь себе, все свое некрадомое добро, не надѣяться же на пустыя руги и на наружныя околицы плоти своея, от самага сердца, аки тнь от своего дуба, и аки вѣтвы от корене, и аки одежда от носящаго ее, зависящія» [Там же, 116].

Работая на арендованных Вишневым токайских виноградниках и в винных погребах, Скворода успешно осваивает основные винодельческие термины, такие как *must*,²⁰ *esszencia*,²¹ *nektár*²² и т.д.: «Сколько виноградных ягод, столько шариков, сколько шариков, столько узлов, заключающих в себя сладчайшій Божества муст, веселящій сердце...» [СКОВОРОДА 1973a: 408]

¹⁷ Бог (венг.).

¹⁸ Петух (венг.).

¹⁹ Одежда (венг.).

²⁰ Муст (лат.).

²¹ Эссенция (лат.).

²² Нектар (венг.).

(Кольцо. Дружеский разговор о душевном мире); «...а в ягоде виноградный сок сладкого муста», [СКВОРОДА 1973б: 45] «Предсладчайший и ненасытный мусте!» [Там же, 55] (Книжечка о чтении Священ[аго] Писания, нареченна Жена Лотова); «...приснаго и свѣжаго, нововыдавленного вина, называемого римски – муст», [Там же, 157] «...вѣчная истина есть то сладчайший муст и нектар, не во грусть, но в кураж и в крѣпость приводящий» [Там же, 158] (Диалог. Имя ему – Потоп зміин); «...общая сокровенный внутри себе зрѣлый вкус сладкого муста...» [СКВОРОДА 1973а: 444] (Разговор, называемый алфавит, или букварь мира); «...высосать сладчайшую сока и муста вѣчность» [СКВОРОДА 1973б: 23] (Книжечка, называемая Silenius Alcibiadis, сирѣчь Икона Алкивиадская [Израилскій зміи]); «Самая же ея эссенція, сок [серце, сердцевина]» [Там же, 406] (письмо к Донцу-Захаржескому); и «...самая эссенція (как говорят), и зѣрно наше, и сила, в которой единственно состоит [родная] жизнь и живот наш...» [СКВОРОДА 1973а: 173] (Наркисс. Разглагол о том: узнай себе). Морским термином *packetboat*²³ подтверждается посещение Сквородой польского порта Гданьск, откуда по Балтийскому морю отправлялись лучшие вина к императорскому столу в Санкт-Петербург: «Не уйдіош от ловких кохтей их ни аглицкими бѣгунами, ни манежным лошаком, ни почтовою коляскою, ни многокрилатым пакетботом» [СКВОРОДА 1973б: 176] (Ода Iesuitae Sidronii Hosii). Токайское вино Асу, символически называемое *nektár* венгерским поэтом Кельчеи, [KÖLCSEY 1975: 68] подобным образом встречается в его поэтических интерпретациях: «Тут вина разные, тут нектар солодкій, услаждающий божественны глотки...» [СКВОРОДА 1973а: 92] (Fabula de Tantaló).

Скворода прекрасно разбирался в виноградарстве, о чем свидетельствует Перевод из книг римскаго сенатора Марка Цицерона «О старости», посвященный полковнику Тевяшову: «А что ж уже сказать о том, как заводится, всходит и растет виноград? Извольте знать, что насытится сей веселости не могу. Вот для моей старости расход и услаждение! Минуя все раждаемое от земли, которая из малесенькаго, наприклад, смоквиннаго зерна, или из винограднаго сѣмени, или прочих земных плодов и зелій самых крошечных сѣмен толь великій пни и вѣтви производит. Не в сладкое ли удивление приводит сад виноградный, если примѣчать, что на мѣсть старых, в осени отрѣзанных пуцаются новыи вѣтви, с которых одни отрѣзываются для новаго заводу, другіе как бездѣльные, третьи оставляются для плода, иным не дают взятся за дерево, переносят обяте их до другаго, иные от пня впускаются в ямочки и прибываются ключкою для заведенія новых кореньев и прочая. Вѣтва, оставленная для плода, по природѣ падает к земль, но, желая подняться, жилочками своими, как руками, беретса за что попалось. А чтоб она вдаль, опускаясь то поднимаясь, не бродила, искусной земледѣл удерживает ея, прирѣзывая инструментом, не попусая излишно густѣть и дичавѣть. Итак, в началѣ весны на тѣх вѣтвах, что для плода, живет, будто при кольнах их,

²³ Морское транспортное судно (анг.).

то, что у наших землепльов зовется жемчужина, а из нея выходит ягода. Она час от часу и земными соками и жаром солнечным увеличивается и первье прикро кисла, потом, дозрѣвши, становится сладкою, а завѣсившись листьям и умѣренную имѣет теплоту и от излишняго защищается вару. И что быть может краснѣе и полезнѣе ея? Повѣрьте, что не только полза от нея, как я прежде сказал, но самое ея рожденіе и труд около ея один веселить может. Напримѣр, ставить в шеренгу тычки, привязывать к ним верхушки вѣтвей, для плода оставленных, отвязывать и опущать для новаго кореня в ямки, обрѣзывать, как уже сказано, негодныи, а иныи опущать, и прочая, и проч.» [СКОВОРОДА 1973b: 192–193].

Несмотря на критическое отношение к Вишневскому как к человеку, имеющему всякого рода личные недостатки, Сковорода, тем не менее, многому у него научился. С литературным описанием этого «отрицательного героя» можно часто встретиться в его поэзии и прозе: «...Федька-купец при аршинѣ все лжет» [Сковорода 1973а: 67] (*Пѣснь 10-я*) или «Безбожник Феодор говаровал: «Я-де правою рукою подаю мои совѣты, а слышатели берут оныя львою» [Сковорода 1973b: 206] (*Толкованіе из Плутарха о тишинѣ*). Последней фразой объясняется тот факт, что, при возникновении юридических споров между токайскими землевладельцами и официальными властями, к Вишневскому обращалось большое количество людей с просьбой разрешить их актуальные проблемы, благодаря чему он пользовался популярностью среди местных жителей, видевших в нем воплощение человеческой мудрости и образец справедливости. Он был желанным гостем на земплених свадьбах и крестинах, а за заслуги перед Императорским двором был почетно награжден орденом Святой Анны и пожалован имением Жарбованово в родной Малороссии. В частном разговоре и деловой переписке императрица Елизавета стала называть его «свatom», после того, как он удачно представил ей малороссийского казака Алексея Розума, ее будущего супруга, известного в истории России как граф Разумовский. Вишневский, в какой-то степени, заменил ей отца Петра I, неожиданно скончавшегося в 1725 году.

Этническое население Токая было довольно пестрым из-за живших там греков-македонцев, которые освобождались от уплаты высоких налогов и активно занимались торговлей вина, соли, фруктов, текстиля, пряностей, леса, камня, пшеницы, мяса и т.д. Первые греческие поселенцы прибыли туда в 1700 году и основали колонию, просуществовавшую вплоть до 1920 года [РАР 1985: 36]. Бойко торгую с купцами из Греции, Вишневский постоянно нуждался в Сковороде как отличном переводчике с эллинского языка, что нашло прямое отражение в его сборнике *Басни Харьковскія*, сюжеты к которому были услышаны во время регулярного общения с торговыми партнерами Императорской комиссии или заимствованы у древнегреческого баснописца Эзопа. В этих произведениях упоминаются Карпатские горы, через которые по Винному тракту веками шли поставки токайского вина на Киев, Москву и Санкт-Петербург: «В полских и венгерских горах Оленица... стала витаться...» [Сковорода 1973а: 127] (*Басня 28. Оленица и Кабан*) и дается

ностальгическая ссылка на Дунай: «Думается для увеселения поплыть из Кременчука в Дунай. Днѣпр наскучил. – А я знаю вашей грусти родник, – сказал Рак, – вы проглотили удку. Теперь вам не пособит ни быстрый Дунай...» [Там же, 125] (*Басня 26. Щука и Рак*). Вишневецкий аллегорически сравнивается то с господином Волом, то с домашним Кабаном: «Он 20 лѣт с излишком отправлял с великою славою судейскую должность, и можно сказать, что он между всею своею братією искуснѣйшій юриста и самой острой арифметик и алгебрик. Его благородіе может наш спор легко рѣшить. Да он же и в латынских дыспутах весьма, кажется, зол» [Там же, 112] (*Басня 9. Мурашка и Свинья*) или «Почему ты меня называеш Кабаном? Развѣ не знаеш, что я пожалован Бараном? В сем имѣю патент, и что род мой происходит от самых благородных бобров, а вмѣсто епанчи для характера ношу в публикѣ содраную с овцы кожу» [Там же, 127] (*Басня 28. Оленица и Кабан*). Олень Рогач, как один из символов христианской веры, изображаемый на хабанской керамической посуде в Северной Венгрии, противопоставляется верблюду Горбачу: «Но я родился пить самую прозрачнѣйшую из родника воду. Сей мене поточок доведет до самой своей головы. Оставайся, господин Горбач. Сила. Бібліа есть источник» [Там же, 119] (*Басня 20. Верблюд и Олень*). Сковорода не забывает и о токайском вине, возвращаясь к нему в контексте с физикой, подразумевающим гелиоцентрическую систему мира, открытую Коперником: «...как только я отворил окно, чтоб выбросить вон чеснокову шелуху, ты как дунул проклятым твоим вихром, так все назад по цѣломустолу и по всей горницѣ разбросал, да еще притом остальную рюмку с вином, опрокинувши, разшиб, не вспоминая тое, что, раздувши из бумажки табак, все блюдо с кушаньем, которое я по трудах прибрался было покушать, совсѣм засорил...» [Там же, 113] (*Басня 11. Вѣтер и Філософ*). Трудовые будни нередко чередовались с церковными празднествами и народными гуляниями, широко распространенными в колоритной культуре Земплена, что особенно проявляется в автобиографических песнях и фабулах Сковороды, в которых можно найти красочное описание Шарошпатакского замка и элементы традиционного праздника сбора винограда в конце октября, а также ссылку на придворного уставщика-мундшенка, в качестве которого он служил при Вишневецком, как, например, в *Fabula de Tantalo*:²⁴

Вездѣ багрѣют розы пред глазами,
Чудніи вездѣ курят фиміамы.
Кричат по залѣ музы сладкогласны,
Все сам подносит Ганімед прекрасній;
Бахусов пѣстун сам пляшет пресмѣшно,
Всякій род шутов шутят преутѣшно. [Там же, 91]

²⁴ Фабула о Тантале (лат.).

Священный гимн Мюре *In Natali Domini*,²⁵ переведенный как *In Natalem Iesu*,²⁶ был хорошо известен в его исполнении под лютню в канун Рождества. Это один из замечательных образцов абсолютного взаимопонимания и точного интерпретирования поэтического текста с учетом художественных стилей обоих авторов, независимо от их исторического окружения и духовных приоритетов:

О ночь нова, дивна, чудна,
Яснійшая свѣтла полудня,
Когда чрез мрак темній, черній
Блиснул солнца свѣт невечерній.
Веселитесь, яко с намы Бог,
Яко с намы Бог. [Там же, 97]

Молодые годы, проведенные Сковородой за границей, хотя и в менее разнообразной форме, также отражаются в его философско-педагогической прозе, включающей диалог *Бъседа, нареченная двое, о том, что блаженным быть легко*: «В любезной моей Унгаріи волами молотят. И что ж воспящает Лукъ быть волом? Не думай, будьто до плотских волов вздорная сія истина касается: «Волю молотящу да не заград[и] уст» [Там же, 279] и притчу *Благодарный Еродій*: «Гнѣзятся на домах, на кирках, на их шпицах и на турнях, сирѣчь горницах, пирамидах, теремах, вольно, вольно. В Гунгаріи видѣл я на каминах» [СКОВОРОДА 1973b: 100]. Обе цитаты, можно сказать, являются единственным подтверждением и ссылкой на вышеупомянутую Коваленским императорскую службу Сковороды в Токайских садах, что всегда вызывало немалое удивление и большое количество вопросов у исследователей его литературного творчества. В чем секрет этой легендарной таинственности и почему нельзя найти на это прямой ответ в документальной статье Рачинского, полной всякого рода событий и имен людей, непосредственно связанных с его пребыванием в Венгрии? Объяснение этому следует искать в психологическом анализе характера Сковороды, в его чрезмерной замкнутости и нескрываемой склонности к мистицизму, превратившейся у него в открытое религиозно-идеалистическое мировоззрение. Отдельным примером такого поведения в литературе служит его произведение *Сон*, увиденный им «в полночь ноября 24, 1758 года, в Каврай», [Там же, 429] в котором явно описываются петербургский и венгерский периоды его жизни: «Казалось будто различніи охоты житія челоувѣческаго по разным мѣстам разсмотрю. В одном мѣсту был, гдѣполаты царскіи, уборы, танцы, музиканты, гдѣ любящіесь то поспѣвували, то в зеркала смотрѣлы, вбѣжавши с зала в комнату и снявши маску, приложились богатих постелях и прочая. Откуда сила мене повела к простому народу, гдѣ такіе ж дѣла, но отличным убором и церемонією творимія, увидѣл: ибо оны ішли улицею с пляшкамы в руках,

²⁵ В День рождения Господа (лат.).

²⁶ В День рождения Иисуса (лат.).

шумя, веселясь, валяясь, как обыкновенно в простой чернь бывает; так же и амурній дѣла сродним себѣ образом, как-то в ряд один поставивши женск, а в другой мужеск пол. Кто хорош, кто на кого похож и кому достоин быть мужем или женою, – с сладостію отправляли. Отсюда вшел в постоялы дома, гдѣ лошадь, хомуты, сена, расплаты, споры и проч. слышал. На остаток сила ввела в храм обширній очень и красній, каков у богатих мѣщан бывает, прихожан, гдѣ будто в день зеленій святого духа отправлял я с дьяконом литургію и помню точно сія, что говорил: «Яко свят еси», аж до «во вѣкы вѣков», и по обоих хорах пѣто «святій Боже» пространно. Сам же я с дьяк[оном] пред престолом до землѣкланяясь, чювствовал внутр сладость, которой изобразить не могу». [Там же] Аналогично Сковороде, элементы мистического характера были присущи и Коваленскому, что подтверждается цитатой из очерка *Жизнь Григорія Сковороды*: «...видѣл я слѣдующій сон. Казалось, что на небѣ, от одного края до другаго, по всему пространству онаго, были написаны золотыми великими буквами слова... Из сих золотых слов сыпались огненные искры, подобно как в кузницѣ из раздуваемых сильно мѣхами угольев, и падали стремительно на Григорія С. Сковороду» [Там же, 451]. Другой причиной отсутствия достоверного материала, касающегося токайского периода в его биографии, может быть еще тот факт, что императрицы Елизавета и Екатерина II не желали предавать огласке все, связанное с массовым переселением подданных Марии Терезии в южные земли России. До сих пор на эту тему большинство украинских историков предпочитают молчать, так как она продолжает оставаться своеобразным табу в этнической летописи Украины восемнадцатого века. В отношении Сковороды следует заметить, что после смерти Вишневого, вызванной его пристрастием к вину, должность придворного уставщика полностью перестала существовать. Все, что досталось в наследство от генерала, были долгие судебные тяжбы с земленскими властями, возбужденные из-за грубого нарушения законов, разрешающих право владения землей и недвижимостью. Кроме этого, религиозная пропаганда, организованная им среди местного населения, привела к резкому церковному расколу и переходу половины славяноязычных жителей города, т.е. русинов, в православную веру, о чем сообщалось в письме венскому канцлеру графу Надашди эгерским епископом Баркоци 10 мая 1749 года: «В Токае непросто корни пустил, но и распространил скизму церкви...» [TARDY 1963: 54–59]. С учетом давно сложившихся дипломатических связей между Санкт-Петербургом и Веной, было принято решение о постройке каменной церкви, тем самым положив конец проведению открытых богослужений в русской деревянной часовне, установленной для этого в центре Токая. Также, необходимо добавить, что 1745–1750 годы были периодом высшего торгово-экономического подъема Императорской комиссии венгерских вин и «золотым веком» в истории токайского виноделия [Там же, 62].

Подводя определенный итог пятилетнего пребывания Сковороды в Венгрии, нельзя не отметить то плодотворное влияние, которое на него оказала венгерская культура и свободное общение с представителями различных со-

циальных слоев и вероисповеданий. Коваленский так вспоминает о его последующем возвращении в Малороссию: «Возвратясь из чужих краев, наполнен ученостію, свѣдѣніями, знаніями, но с пустым карманом, в крайнем недостатокѣ всего нужнѣйшаго, проживал он у своих прежних приятелей и знакомых. Как и сих состояніе не весьма зажиточно было, то искали они случая, как бы употребиться ему с пользою его и общественною. Скоро открылось мѣсто учителя поезіи в Переяславль, куда он и отправился по приглашенію тамошняго епископа» [СКОВОРОДА 1973b: 441]. В рапорте майора Горбунова от 7 октября 1750 года в Киевскую генерал-губернаторскую канцелярию с польско-российского пограничного форпоста в Василькове украинский биограф Махновец нашел ссылку на студента, которым, по его мнению, был Сковорода, возвращающийся домой: «...отправлень де из города Такая от господина полковника Гаврилы Вишневского Ея Императорскаго Величества с венгерскимъ виномъ на двухъ возахъ кабинетъ куриірѣ Николай Жолобовъ при нем реитарѣ 2 драгунѣ два солдатѣ два да камердинѣ ево одинѣ: человекѣ одинѣ грекѣ одинѣ студентѣ одинѣ фурманщиков венгерскихъ пять киевскихъ малороссийскихъ два...» [МАХНОВЕЦЬ 1972: 42]. Вышеуказанная деталь, как и вся информация, сохранившаяся о нахождении Сковороды за границей, чрезвычайно важна, потому что большинство его песен, фабул, эпиграмм, басен, трактатов, диалогов, притч и переводов несет в себе скрытый автобиографический смысл, обусловленный конкретными географическими названиями и политическими процессами.

Особую роль при составлении литературного портрета Сковороды играет личная переписка с Коваленским, Тамарой, Правицким, Якубовичем, Тевяшовым, Сошалским, Каноровским-Сохой – близкими ему по духу людьми. Надо еще упомянуть, что его экзегетические трактаты строго запрещались официальной цензурой и не публиковались до 1912 года, что определенным образом повлияло на его биографов и критиков. К многочисленным исследователям его жизненного пути традиционно относятся Коваленский, Гесс де Кальве, Вернет, Снегирев, Срезневский, Хиждеу, Данилевский, Ефименко, Багалеи, Бонч-Бруевич, Эрн, Сумцов, Чижевский, Верховец, Попов, Редько, Иваньо, Махновец, Неженец, Вербя и т.д. Целые поколения российских поэтов и писателей, включая Карамзина, Снегирева, Срезневского, Гоголя, Тютчева и Толстого, регулярно посещали Австро-Венгрию, чтобы увидеть места, где он в молодости питал свое творческое вдохновение. В Большой библиотеке Шарошпатакского коллегіума и сегодня можно найти труды Коменского, Госоия и Мюре, к которым когда-то прикоснулась его рука. Деятельность Императорской комиссии была и далее неразрывно связана с его личностью, поскольку он продолжал интересоваться судьбой тех, с кем служил, неустанно посвящая им свою поэзию и прозу, как, например, Фальковскому *Толкованіе из Плутарха о тишинѣ сердца*. С другой стороны, его друзья, а среди них Каноровский-Соха, стали с уважением величать его «Дунаевским», бескорыстно предлагая ему свою материальную помощь: «Ежели тебѣ не скифство покажется, там гдѣ я хочу, будешь вомѣщен несумненно. Все ос-

тавя, не печался и дожидись меня. Я в май мѣсяць именнобуду. Я о тебе старательство хочу приложить и исходатайствовать тебѣ тѣх милость, которіи умѣют с камня сдѣлать челоуѣка, челоуѣка доброго. Не отлучайся никуда; я за тобою пришло, как прїѣду. Потерпи на мнѣ, вся ти воздам. А нынѣ заключаю, что я твой вѣрній брат и слуга, каковыми хочу жить и умереть» [Там же, 482]. Приступая к преподаванию пиитики осенью 1750 года, Сковорода начал активно воплощать на практике новые педагогические и богословские идеи, «...имѣя основательнѣе и обширнѣе знанія в науках, нежели каковыя тогда были в училищах провинціальных...», [Там же, 441] и в неравном споре с переяславским епископом Никодимом Сребницким сумел доказать свою профессиональную правоту, при этом произнеся крылатую фразу: «Alia res scriptum, alia plectrum, то есть: иное дѣло пастырскій жезл, а иное пастушья свирѣль» [Там же].

Проводя тематические параллели в художественных произведениях Сковороды, следует подчеркнуть, что его литературное творчество – это душевный вертоград Балаши, вдохновленный визуальным миром Коменского, сакральными псалмами Мюре и эзотерическими эмблемами Ветштейна, где за всем видимым кроется вечная истина. Его литературно-философское наследие поистине навеки соединило в себе лучшие черты национальных культур России, Украины и Венгрии, тем самым показав блестящий пример последующим европейским и мировым литераторам, а его несгибаемый посох с кротом-мудрецом навсегда преградил путь к духовному порабощению русских, украинцев, венгров, поляков, итальянцев и других больших и малых народов Восточной и Западной Европы.

Литература

- БАГАЛЕЙ 1926: Багалеј Д. Український мандрованний філософ Г.С. Сковорода. Держвидав України.
- БОРОДІЙ 2003: Бородій Н. «Білі плями» біографії Г.Сковорода (3 новознайдених архівних документів) // Сковорода Григорій: ідейна спадщина. Київ: Інститут філософії НАН України, 530–553.
- КАЛЬВЕ – ВЕРНЕТ 1817: Кальве Г. Вернет И. Сковорода, українски философ. Украинский вестник. 1817, ч. 6, апрель, 106–119.
- КАШУБА 1979: Кашуба М. Георгий Конисский. Москва: Мысль.
- КОВАЛЕНСКИЙ 1795: Коваленский, М. Жизнь Григория Сковороды.
- ЛИВЕНЦЕВ 2006: Ливенцев Д. Краткий словарь чинов и званий государственной службы Московского государства и Российской империи в XV–начале XX вв. Воронеж: РАГС при Президенте РФ, Воронежский филиал.
- МАХНОВЕЦЬ 1972: Махновець Л. Григорій Сковорода. Біографія. Київ: Наукова думка.
- РАЧИНСКИЙ 1875: Рачинский А. Русские комиссары в Токае в XVIII столетии // Русский вестник.

- СЕНТИМРЕИ 1997: Сентимреи М. Шарошпатак–Москва.
- СКОВОРОДА 1973а: Сковорода Г. Повне зібрання творів у 2-х томах. т. 1. Київ: Наукова думка.
- СКОВОРОДА 1973б: Сковорода Г. Повне зібрання творів у 2-х томах. т. 2. Київ: Наукова думка.
- СНЕГИРЕВ 1823: Снегирев И. Украинский философ Григорий Саввич Сковорода // Отечественные записки, ч. 16, № 42.
- COMENIUS 1788: Io. Amos COMENII Orbis Visibilis. Ioanna Амоса Коменія Видимыймірѣ. Москве въ Университетской типографіи, у Н.Новикова.
- DOUGLAS 1773: Douglas S. On the Tokay and other wines of Hungary. Philosophical Transactions.
- GULYÁS 1933: Gulyás J. Sárospatak és Vidéke. A Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala. Budapest.
- KÖLCSEY 1975: Kölcsey F. Válogatott művei. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
- PAP 1985: Pap M. A Tokaji. Gondolat. Budapest.
- SCHULTHEISZ–KERESZTURI 1981: Schultheisz E., Kereszturi F. A Magyar Tudományos Intézet. A Sárospataki Református Kollégium. Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára. Szerkesztette a Tiszáninneri Református Egyházkerület Elnöksége. Kiadja a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Budapest.
- SZALATNAI 1972: Szalatnai R. Comenius, akit Szegesnek hívtak. // Ifjúsági Magazin, május, VIII évf, 5. szám.
- TARDY 1963: Tardy L. A tokaji Borvásárló Bizottság története. (1733–1798). Rákóczi Múzeum Sárospatak.
- VÁRADI-STERNBERG 1981: Váradi-Sternberg J. Századok öröksége. Hrihorij Szkovoroda Magyarországon. Tanulmányok az orosz-magyar és ukrán-magyar kapcsolatokról. Gondolat Kiadó–Kárpáti Kiadó. Budapest–Uzsgorod.

Abstract

**Grigory Savvich Skovoroda (3 December 1722 – 9 November 1794)
a Great Russian and Ukrainian Philosopher, Educator and Poet
'In my beloved vineyards of Tokay...'**

Although we possess relatively little information about the period when Skovoroda was living in Hungary, we can assume that he would have visited Sárospatak with its famous Calvinist College, since the reputation of its outstanding teachers reached as far as St. Petersburg and Kiev. Perhaps he set out for our homeland with this in mind, because he would have been curious about the teaching methods applied, the famous school library and especially the teaching of philosophy. Presumably Skovoroda met several of those teachers who were then employed in Sárospatak and who are still known to us today. They may have included such outstanding individuals as, for example, Curator Báji Sámuel Patay, Professors János Csécsi Jr., Mihály Szatmári Paksi 2nd, Dávid Sárkány and István F.Bányai. In 1775, Skovoroda wrote his favourite treatise, *The Conversation Called the Alphabet or the Primer of the World*, which is reminiscent of the pictorial dictionary, *Orbis Sensualium Pictus* (The visible world in pictures) of Janus Amos Comenius, who had taught there some 100 years earlier between 1650 and 1654. The teachings of the Reformation reflected on the philosopher's later life and his thinking, which was considered exemplary by many. Among those influenced by him we can mention the Ukrainian poets Ivan Kotliarevsky and Taras Shevchenko, and the Russian novelists Leo Tolstoy and Mikhail Bulgakov.

On his departure from Hungary, he took back with him valuable intellectual reserves which sustained him for the remainder of his life. In the course of his meetings there "he managed to win the recognition and sympathy of scholars and so he gained new understanding and knowledge which he could never have obtained in his fatherland" writes Kovalensky. Besides this, he also perfected his knowledge of Latin, Greek, German and Hebrew, which served him well in his later teaching and last, but not least, he acquired a good command of the Hungarian language as well.

There is one more question raised at the end of the paper: what other famous foreigners could have set foot in the hills of Tokay or passed through their towns and villages? What seems to be certain is that the unforgettable experiences they had here were preserved in their memories for as long as they lived.

ЙОЖЕФ ЭТВЕШ И НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ

ЮРИЙ ГУСЕВ

Как-то так вышло, что с творчеством Йозефа Этвеша (1813–1871), одного из столпов венгерской литературы XIX века, я начал знакомиться не по его произведениям, а по литературоведческим работам о нем (вариант, конечно, не идеальный, но едва ли такой уж редкий). И, узнав из этих работ, что Этвеш глубоко осуждал и всячески разоблачал консервативный уклад современной ему Венгрии, где роль ведущей силы играло дворянство, заботящееся лишь о сохранении своих древних привилегий, и боролся за прогрессивные преобразования, которые приблизили бы Венгрию к передовым странам Западной Европы, в то же время не ввергнув ее в пучину пороков, свойственных капитализму, – узнав все это, я немного заскучал. К тому же Этвеш, как выяснилось, был последовательным противником революции и в своей активной общественной и государственной деятельности (он даже занимал дважды должность министра – для писателя случай редкий) отстаивал центристский политический курс, то есть, говоря по-простому, стремился к разумным и реальным преобразованиям, а после разгрома революции и национально-освободительной войны 1848–1849 гг. много сделал для достижения так называемого Компромисса, то есть заключения в 1867 г. политического соглашения с Австрией, вследствие чего возникла Австро-Венгерская Монархия... Словом, в посвященных Этвешу работах (в основном они относятся к 60–70-м годам минувшего века) вырисовывался образ, не слишком зажигающий воображение: осторожный политик, пользующийся своими литературными способностями как орудием пропаганды прогрессивных – да, несомненно, прогрессивных! – но тоже довольно осторожных, далеко не радикальных (а потому, на тогдашний мой, и не только мой, вкус, неинтересных) идей.

Так что я без большого восторга согласился написать предисловие к переведенному на русский язык главному произведению Этвеша, роману «Сельский нотариус» [ЭТВЕШ 1981]¹. И уж тут, никуда не денешься, текст при-

¹ Не могу не сказать хотя бы теперь, задним числом (раньше, тридцать лет назад, я не чувствовал за собой достаточного морального права, чтобы настаивать на своем мнении): во-первых, не «нотариус» надо было бы перевести название «A falu jegyzője», а – «Секретарь сельской управы» (откуда в селе – нотариус?!);

шлось прочитать внимательно. Но чем дальше я в него углублялся, тем сильнее он меня затягивал. Далеко не в последнюю очередь, конечно, благодаря любовно выполненному переводу Е. И. Малыхиной, сумевшей искусно «со-старить» текст, сообщив ему, что называется, настроение.

Это-то настроение, которое трудно определить точными терминами, но которому легко подобрать синонимы: музыка, манера, в конце концов, стиль, – и есть, видимо, суть художественности, то есть того, что делает изложенную историю, рассуждения, размышления – литературным произведением. И что отличает одного писателя от другого, – или роднит одного писателя с другим.

В данном случае, при чтении Этвеша, на меня пахнуло – Гоголем.

Конечно, во многом – с удовольствием повторю – благодаря Е. И. Малыхиной. Но едва ли произведение, созданное на чужом языке и на материале чужой культуры, можно перевести «под Гоголя» или «под» кого-нибудь другого, если в этом произведении нет чего-то органически близкого тому же Гоголю. У Этвеша – есть.

Уже первые страницы, первые строки романа довольно ошутимо напоминают, например, «Мертвые души»: те эпизоды, где по дорогам российской провинции катится бричка Чичикова, и не Чичиков, а сам автор ощущает себя частицей этих пространств, пытаюсь осмыслить, сформулировать для себя, что же это такое – дорога, бескрайняя степь, родная земля...

«Кому довелось хотя бы немного путешествовать по нашей тисайской низменности или остановиться всего на несколько дней в любом ее уголке, тот смело может сказать, что знает ее всю. Уловить отличительные черты между отдельными частями ее, как иной раз между лицами одного семейства, возможно лишь после обстоятельного знакомства, так что путник, сморенный сном в своем экипаже на наших песчаных равнинах, проснувшись несколько часов спустя, лишь по вспотевшим лошадям да еще по тому, много ли продвинулось солнце к закату, заметит, сколь велик проделанный им путь» [указ. изд., с. 19].

Почти по-гоголевски Этвеш позиционирует (воспользуюсь модным словечком) себя по отношению к читателю, видя в нем собеседника и при удобном случае прямо обращаясь к нему. «Видел ли ты когда-нибудь счастливый семейный очаг, читатель? Если видел или сам принадлежишь к тем любимцам судьбы, кои счастье это вкушают...» [с. 82], и т.д. – это ведь не может не напомнить Гоголя с его знаменитым «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Всмотритесь в нее», и т. д. («Вечера на хуторе близ Диканьки»).

Разумеется, это – сходство на уровне тональности, стилевой окраски художественного текста, и даже тут мы Гоголя не спутаем никогда и ни с кем: его мягкая (*малоросская*, если вспомнить термин той эпохи) интонация, его

во-вторых, написание Этвеш очень уж нелепо для русского восприятия; да и для венгерского тоже.

неповторимый юмор, в котором сентиментальность чередуется с сарказмом, лукавство – с патетикой, – для русского читателя суть то же, что для ребенка, скажем, запах отцовской куртки. Венгры, очевидно, у Этвеша слышат, чувствуют что-то свое, от чего тают их сердца (хотя тут скорее Мор Йокаи и Янош Арань – непревзойденные виртуозы).

Этвеша же сближает с Гоголем еще одна, даже, пожалуй, более важная сторона его творчества, очень ярко проявившаяся в «Сельском нотариусе», – то, как он видит современную ему венгерскую действительность. Конечно, есть блестящий, почти европейский Будапешт (тогда еще – Пешт и Буда); но у Этвеша – как благородного человека и глубокого, не на уровне чардаша и гуляша, патриота – сердце болит не за столицу, а за всю страну, провинциальную, отданную в полное распоряжение кичливому и корыстному дворянству. Место действия «Сельского нотариуса» – выдуманный комитат (приблизительный аналог российской губернии) Такшонь и его центр, городишко Порвар, который Е. И. Малыгина правильно перевела как Пыльгород (в названии «Такшонь» тоже звучит «такнеш», то есть «сопливый»). Нет, комитат этот – не сонное царство: жизнь тут просто бьет ключом, потому что на носу пере выборы должностных лиц местного самоуправления, начиная вице-губернатором и кончая судебными заседателями. Предвыборные собрания, речи, дебаты, агитационные десанты, и главное – угощенья, застолья, интриги, тайные сделки, – муравейник взбудоражен до крайности. Но борьба идет не между принципами или программами, а всего лишь между амбициями: кто-то уже посидел на теплом местечке, но хотел бы посидеть еще, кому-то кажется, что пора бы попасть туда и ему... Главное же, что все это – дворяне, которые живут в твердой уверенности, что страна эта, со всеми ее богатствами, есть их вотчина, и дело лишь в том, чтобы протиснуться ближе к кормушке, которая – синоним власти. «Пусть венгерская нация процветает, а поелику дворянство – единственный ее представитель, да процветает дворянство венгерское! Кто не жаждет этого с нами вместе, кто, распространяя права наши на разноразличный люд и на разноразное происхождение, желает уничтожить свободу нашу (...), кто провозглашает глубоко ложные политические учения, вроде того что учредить железные дороги и банки, не отказавшись от привилегий рождения и права на неуплату налогов, невозможно, – тот враг нам (...)!» [с. 142]), – такие речи звучат на предвыборных собраниях, причем тут нет цинизма, нет демагогии: привилегии дворянства как сословия, которое считалось основой нации, были закреплены в документах 1222 и 1514 гг. Беда лишь в том, что к XIX веку эти древние документы и освященный уклад стали тормозом развития Венгрии, удерживая и оберегая в ней средневековые нормы, что в те времена устраивало Вену, относившуюся к Венгрии практически как к своей колонии. Передовая часть общества (прежде всего это были, конечно, тоже дворяне) требовала реформ, и Этвеш был одним из самых активных участников дворянской фронды (хотя, как уже говорилось, далеко не самым радикальным). Такая мировоззренческая позиция и лежала в основе его видения современной Венгрии.

Гоголь, как известно, к политической деятельности был равнодушен. А его насмешки над провинциальной Россией, над всеми этими российскими «пыльгородами», куда заносит Хлестакова, где колесит комбинатор Чичиков, вполне сочетались с умеренностью, даже консервативностью, как показывают, например, его «Выбранные места из переписки с друзьями», вызвавшие ярость «неистового» радикала Белинского. Консерватизм мировоззрения однако вовсе не исключает способности и склонности к острой, даже разоблачительной сатире – уж Гоголь-то здесь блестящий пример. Его панорама крепостной и чиновничьей России, развернутая в «Мертвых душах» и в «Ревизоре», это вовсе не «срывание всех и всяческих масок», а боль за родную землю и желание увидеть ее иной, достойной любви. Пускай и с царем, и с православной церковью: Гоголь вовсе не считал, что царизм и церковь порождают одних только Сквозник-Дмухановских да Плюшкиных.

Такшонь, Порвар-Пыльгород у Этвеша – тоже целый заповедник «свинных рыл», моральных уродов, достойных кунсткамеры. Этвеш, как и Гоголь, неистощим в придумывании говорящих имен: исправник Ньюзо (можно перевести как Живодеров), холодный и злобный интриган Мачкахазы (Кошкодомский), чиновничья шушера: Кеньхазы (Самодурский), Карвай (Стервятник), Шашкай (Саранчевский) и т. д. – чем они не чета Собакевичу, Коробочке, Тяпкину-Ляпкину и другим гоголевским персонажам? И «кунсткамеру» эту Этвеш формирует в романное пространство примерно таким же способом, как и Гоголь. В «Мертвых душах» события нанизаны на полудетективную историю скупки – с целью каких-то, так и остающихся не слишком ясными читателю, имущественных махинаций – умерших крепостных. Этвеш же разворачивает свою галерею ничтожеств и моральных уродов вокруг интриги, которую жена вице-губернатора плетет, с помощью стряпчего Мачкахазы, чтобы не допустить к выборам честного и порядочного – и этим крайне опасного для комплота взяточников и подлецов – сельского администратора Йонаша Тенгейи.

Но тут сходство Этвеша и Гоголя кончается. Гоголь, при всем его идеализме, при всей его вере в царящее в мире (а в российском мире тем более!) добро, в возможность гармонии, не смог противопоставить в художественном пространстве своего творчества негативному началу – позитивное. Нельзя сказать, что не пытался: кое-где сквозь кривое зеркало сатиры у него проглядывают теплые и радостные блики, – взять, скажем, то, что он сообщает о молодости Плюшкина, до того, как обычные человеческие причуды переросли в его натуре в чудовищные уродства. Более того, ведь Гоголь написал, как известно, второй том «Мертвых душ», где дал, можно сказать, позитивную антитезу карикатуре, представленной в томе первом. Что побудило писателя бросить второй том в камин? Объяснений и гипотез много; мне лично кажется, что причина тут – обостренный вкус, или, точнее, нечто вроде аллергии на фальшь. Карикатуры рисовать на своих современников – весело, увлекательно и не обидно, не обидно даже для тех, над кем писатель смеялся (известно, что царь Николай I с удовольствием бывал на спектаклях «Ревизора»). Кари-

катура, шарж – не ложь, а выявление сущности характера, социальной роли человека ли, социальной группы ли. Ложь – это создание такого образа, которого не было и не могло быть в действительности; а если такой человек и встречался, то он был «белой вороной» (недаром Грибоедов, заставив своего Чацкого побиться об острые углы *нормальной* российской жизни, отправил его «искать по свету» место для своего незаурядного ума и чистого сердца). Гоголь, изобразив во втором томе приукрашенную, разумную Россию, которую вполне можно понять умом, обнаружил, что созданное им – огромная фальшь, хуже всякого пасквиля. По рассказам мемуаристов, писатель, бросив рукопись в огонь, долго сидел неподвижно и наконец проговорил по-украински: «Негарно мы зробили, недобре дило»². И с психологической точки зрения это очень понятно: Гоголь был не просто идеалистом, а идеалистом восторженным, в «Выбранных местах...» он признавался: «Я люблю добро, я ищу его и сгораю им»³. И вот, поняв, что невольно, из лучших побуждений, совершил огромный подлог, сломался: уничтожил книгу и, медленно, уничтожил себя.

Йожеф Этвеш – человек другого склада, другого темперамента, совсем не нервический, скорее, напротив, рациональный, даже рассудочный; об этом свидетельствует и его общественная деятельность, и тот, например, факт, что осенью 1848 года, видя, что восставшая Венгрия идет на военный конфликт с Австрией (Кошут и другие радикалы взяли верх над умеренными, над центристами), Этвеш предпочел эмигрировать из страны и вернулся туда лишь через несколько лет. Однако его любовь к родине, хотя и лишена всякой сентиментальности, но не слабее, чем у Гоголя; а что касается представлений о будущем, о том, как преодолеть историческое отставание, социальную и культурную отсталость, то здесь Этвеш стоит на позициях куда более последовательных и, можно сказать, программных, чем Гоголь.

В «Мертвых душах» мошенник Чичиков пытается перехитрить негодяев, дураков, моральных уродов помещиков. Что же касается романа «Сельский нотариус», то конфликт, вокруг которого он выстроен, предполагает столкновение сил добра и зла, добродетели и порока, благородства и подлости. Соответственно и персонажи делятся на две (почти равные по количеству) категории. Вокруг Йонаша Тенгеи группируются все те, независимо от социального положения, кто честен и порядочен: и дворяне, и крестьяне. Интрига романа заключается в том, что жена вице-губернатора затевает подлое дело: подговаривает стряпчего Мачкахазы выкрасть у Тенгеи документы, подтверждающие его дворянство. В условиях тогдашней Венгрии человек, если он не дворянин, лишается не только привилегий (дворяне не платят налоги, не могут быть взяты под стражу и т. д.), но и прав: права избирать и быть избранными. Отрицательные персонажи действуют коварно, а потому добиваются успеха; однако положительные персонажи способны на самопо-

² Цит. По: А. МЕЛИХОВ 2011: 29.

³ Там же, 28.

жертвование ради истины и справедливости, а потому истина, хотя и с немалыми потерями, но все же торжествует.

Один из самых ярких образов в романе – разбойник Виола. У венгров, в их народном сознании, в фольклоре, разбойники – героические, благородные люди, все как один – подобия Робин Гуда. Таков и Виола; даже внешне он – почти лубочный персонаж: «Высокий лоб, наполовину скрытый черными как смоль кудрями, ниспадавшими на плечи, смело глядящие черные глаза, мужество, светившееся на этом загорелом лице, и природное достоинство, являвшее себя в каждом движении его высокого стана, невольно внушали мысль о том, что перед тобою один из тех людей, кто, будучи щедро одарен природой, всегда занимает первое место в своем кругу, будь сей круг в глазах общества высок или низок» [с. 89].

Читателю становится ясно, что такой человек просто не может быть на стороне сил зла. Будучи преследуем властью за разбойную деятельность (хотя из книги не ясно, какие же злодеяния совершал этот венгерский Робин Гуд), Виола играет важную роль и в интриге вокруг Тенгейи: в конечном счете именно он помогает тому вернуть украденные документы. При этом Виола убивает злодея Мачкахазы и погибает сам; гибнут и его дети, умирает жена. Так что дворянская честь Йонаша Тенгейи оплачена дорогой ценой. Правда, главный двигатель интриги, жена вице-губернатора, перед угрозой разоблачения кончает с собой; убит и Мачкахазы; сам вице-губернатор переживает душевный кризис. Тенгейи же, одержавший моральную победу над своими порочными и подлыми врагами, отходит от общественных дел и занимается выращиванием плодовых деревьев... Что ж, путь к справедливости не прост и не легок – как бы говорит нам автор.

Таким образом, стремление изобразить конфликт, формирующий сюжет «Сельского нотариуса», как конфликт классовый, – сильное преувеличение. И натяжкой выглядит утверждение, будто писатель «воплощает в «Сельском нотариусе» истинность, правомочность классовой борьбы крепостного крестьянства в образе Виолы» [PÁNDI 1965: 622]. Так же как натяжкой было бы видеть отражение классовой борьбы в «Мертвых душах», – хотя все высмеиваемые автором персонажи – помещики или чиновники. И Этвеш, и Гоголь обличали зло, но обличали с точки зрения *общечеловеческой* морали.

Интересно, что оба писателя, при том что писали они – писали остро, заинтересованно, ангажировано – о современности, охотно обращались и к прошлому. Гоголь в казацкой вольнице находил тех идеальных героев, по которым томилась его душа в настоящем. Этвеш же в прошлом пытался искать корни тех болезней, которыми страдало современное ему венгерское общество в XIX веке. Поэтому он обратился к эпохе крестьянского восстания 1514 года, закончившегося поражением, после которого венгерское дворянство закрепило на много столетий вперед свои права и привилегии. Роман «Венгрия в 1514 году» (1847) можно понять и как предупреждение: вот к чему может привести революция, выпускающая на свободу разрушительные, темные, дикие силы.

Идеалист Гоголь, мечтая о великом будущем России, видел вокруг себя в основном свиные рыла – и, задаваясь вопросом о том, куда летит птица-тройка, не слышал ответа; лишь чувствовал, как, «косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». (Косясь – с подозрением, постораниваясь – из осторожности?)

Этвеш, почти с теми же интонациями обращаясь, в финале романа «Сельский нотариус», к родной земле, выказывает больше уверенности и определенности (пускай, может быть, эта уверенность и несколько насильственна). Во всяком случае, заключительный абзац романа вновь заставляет вспомнить Гоголя.

«Ты есть образ мадьяра, великая наша степная равнина! Ты зелена цветом надежды, но стоишь пустынная; ты создана для того, чтобы своим плодородием облагодетельствовать живущие окрест народы, но по-прежнему остаешься голой. Еще спят твои силы, богом тебе данные, и тысячелетия, над тобой пролетевшие, еще не видели славы твоей; однако сила, пусть все еще сокрытая, жива в твоей груди, и самый сорняк, обильно произрастающий на твоих просторах, кричит о том, сколь дивно ты плодоносна, и сердце мое говорит мне, что близится время твоего расцвета. Да, твоего расцвета, прекрасная наша равнина, расцвета народа твоего, уже тысячелетие тебя населяющего. Счастлив тот, кто доживет до этого дня! Счастлив и тот, кто может утешать себя, по крайней мере, сознанием, что все способности свои обратил на приурочивание сих светлых времен» [с. 606].

Смерть Гоголя была чем-то средним между безумием и самоубийством. Этвеш же, подводя итоги своей жизни, высказывал в общем скорее удовлетворенность тем, как он жил и что сделал. «... того, что я мыслил целью своей, я, хотя бы частью, достиг. Я высказывал свои убеждения, и высказывал не без определенного результата. Если имя мое и мои произведения в литературе и канут в Лету, произведения эти имели некоторое влияние на мою нацию, и лучшая часть моей индивидуальности останется – благодаря тому воздействию, которое произвел я в свое время; на общественном поприще я тоже никогда не был на первом месте, но многое из того, что я говорил, осуществилось...» [EÖTVÖS 1977: 704].

Такие близкие по взглядам, по таланту, по призванию, по отношению к родине и к народу люди – и такое разное осознание своей жизни!

Литература

- EÖTVÖS 1977: Eötvös J. Vallomások és gondolatok. Budapest: Magyar Helikon.
PÁNDI 1965: Pándi Pál (szerk.) A magyar irodalom története, 3. k. Budapest: Akadémiai Kiadó.
ЭТВЕШ 1981: Этвеш, Й. «Сельский нотариус». М.: «Художественная литература».
МЕЛИХОВ 2011: Мелихов, А. Дрейфующие кумиры. СПб.: Изд-во журнала «Нева».

Abstract

József Eötvös and Nikolaj Gogol

The two writers are similar to each other in many respects. Both were realists in their perception of life and unswervingly consistent in their demands made by them on the world in general and their respective countries in particular. At the same time, both of them were idealists, who divided people into good and bad consistently and obstinately, blaming the bad for the misery and sufferings of the good. They both held the bad responsible for all the troubles of the homeland.

The similarities, however, come to an end at this point. In his novel *The Village Notary*, Eötvös builds the artistic conflict on the clashes between the good and the bad. The bad may have been defeated but Eötvös did not manage to achieve a classical happy ending or the triumph of the good.

In Gogol's *Dead Souls*, there are practically no positive characters to be found: this is a world of swindlers and dull conservatives. Gogol intended to introduce good heroes "separately" in the second volume of *Dead Souls*. He, however, burnt the manuscript after finishing it, obviously in a fit of discontent with the falsity of the picture he had drawn.

**PERFORMANCE AS EMBEDDED TEXT IN THE LITERARY WORK
FROM A SEMIOTIC POINT OF VIEW**

KATALIN KROÓ

In the present paper we attempt to “translate” certain conclusions drawn as a result of a systematic poetological text analysis of Turgenev’s first novel *Rudin* (1856) [KROÓ 2002; KPOO 2008] into semiotic model language, by posing the problem of *artistic performance*. The conceptualisation of performance and the examination of its practical literary realisation is based on an approach rooted in literary semiotic studies. Let us go back to a classical definition of performance from literature itself. For this, it is worth thinking back as far as Daniel Defoe, who is all the more interesting for us as one of the writers considered to be the “founding father” of an Anglo-European great tradition of the novel.¹ Defoe’s role in literary history must also be evaluated as that of a talented theoretician who in the prefaces to his novels worked out a kind of genre metapoetics². With Defoe the emergence of the concept of performance can be interpreted alongside his own shifting attitude towards the literary task in maintaining factual fidelity (which covers the problem of realistic delineation) and/or representing creativeness (i.e. “invention”, creating fiction, art). Both of these realms and their interrelation involve complex ramifications. In the “Preface” to *The Father Adventures of Robinson Crusoe* (1719) Defoe differentiates between a “Variety of the Subject” in his book and its *performance*, when speaking about an “Agreeable Manner of Performance”. Later, in the “Author’s Preface” to *Roxana* we can find the following lines:

The history of this beautiful lady [Roxana – K. K.], is to speak for itself; if it is not as beautiful as the lady herself is reported to be; if it is not as diverting as the reader can desire, and much more than he can reasonably expect; [...] it must be from the defect of *his performance; dressing up the story in worse clothes* than the lady whose words he speaks, prepared for the world.

He takes the liberty to say that this story differs from most of the *modern performances* of this kind [...] it differs from them in this great and essential article,

¹ Cf. KORANG 1998: 189.

² Genre metapoetics is one of the crucial means of cultural mnemonic poetics. For the problem of cultural memory, cf.: Hajnáy 2004: 29–62; Hajnáy 2011, *passim*.

namely, that the foundation of this is laid in truth of fact; and so the work is not a story, but a history.³

In Defoe's metapoetical passages D. Blewett points at the imagery of clothing, in the sense that *performance* means the "dressing up" of the *Story*, which, in the context of the opposition of fiction (invention, *story*) to history opens up the path for a metaphorical interpretation of *fiction as a disguise* [BLEWETT 1979: 17]⁴ in the sense of creating a story (as against history) by means of creative art. Following this path, we choose to think of performance as a concept related to literature not just in the sense of fiction as Defoe does.⁵ Besides this, we would also choose to think of performance as the "literary disguise" of the semantic world, which is *literary language*. Broadly speaking, it is *the poetic language of creative presentation*, the interpretation of which cannot be narrowed down to the strictly spoken question of narration. It covers the creative language medium of the invention (the emergence) of literary textual semantics.

We will direct our attention to the special phenomenon occurring when the performing literary text⁶ (meant as creative meaning-emergence) brings to the fore the theme of artistic performance. At first sight, it represents a very simple phenomenon when interpreted within the framework of the plot of a literary work of art. Generally it is crystal clear – there is a character, in the world of events described as an artist or an artist-like figure. He or she will perform something, for example, recites a poem to the other characters representing some kind of audience; or is shown to be performing a piece of music; or staging a scene by himself or with others performing part of a theatrical work.

What is important here, however, is the impulse created for the reader to look at these performances not simply at an event level. (This kind of "looking" would be that of the characters.) We can illustrate with examples, firstly the plot from *Hamlet* where the Mousetrap scene proves to be a strategy on Hamlet's part, i.e. working for the protagonist at the action level of the play. Or we can think of Dostoevsky's *Idiot* where Aglaya, the heroine in love with the protagonist of the novel, Mishkin, makes a special confession to her beloved, reciting and transforming one of Puskin's poems. With this, she bears in mind a practical involvement in the sphere of action. As a further example, and the most self-evident possibility,

³ The quotation is taken from DEFOE 1904: Pg xvi. (The Cripplegate Edition). Cf. *the original title: The Fortunate Mistress: Or, A History of the Life and Vast Variety of Fortunes of Mademoiselle de Beleau, Afterwards Called the Countess de Wintelsheim, in Germany, Being the Person known by the Name of the Lady Roxana, in the Time of King Charles II.*

⁴ Cf.: *ibid.* 16–17.

⁵ It is worth noting, however, that Defoe's notion of fiction may be related to the concept of *plot* or *possible worlds*, and the latter may already distance us from the level of events (plot) to the interpretational level, i.e. the realm of a broader scope of semantics.

⁶ The idea of *text as performance* reveals itself already in the Formalist theory (1919), cf.: ЭЙХЕНБАУМ 1969.

we can take Don Quixote in Cervantes' novel, playing staged roles, created for him by himself and others, and then later trying to escape from those roles imposed upon him by alien choices. All of these are examples of instances when the characters themselves interpret and re-interpret their performances in terms of *performances as events*, *performances as actions*. For the reader what plays semantically, is not just the performance as an event, for which he/she should seek a place in the overall composition of the work as a plot element, but what much more significantly calls for interpretation, is the evaluation of this performance as *part of the poetic language, identified according to our definition as performance*. Staying with our metaphor, a character's performance seems to be quite a strange, complex "disguise" as part of the creative elaboration of the literary work's poetic language meant in its broadest sense, and by no means restricted to the scope of the language of the plot structure. The character's performance is a *performance within a performance*, a *text within the text*. If this is so, several important questions follow. What is the "disguise" for? What is its function? What is the semantic surplus of this "disguise", still using Defoe's metaphor, this "clothing", i.e. this kind of creative literary invention and elaboration?

When thinking of a *text within the text* structure (which is, we are stressing it again, a performance within a performance broadly stated, in the sense of poetic language, or narration within narration, narrowly stated), the necessity of segmentation comes to the fore, due to the formation of a framework structure which generates an embedding–embedded text relationship. When and where the description of a performance appears, this description, apart from its plot-meaning, sets frontiers in the text continuum, draws demarcation lines between the parts, thus segmenting the sequence into units. This is a process which naturally engenders a semantic enrichment, growth and enlargement, i.e. makes the semantic space dynamic. The dynamic nature of meaning-generation reveals itself in two directions. One represents a vertical movement, between levels (it is an interlevel semantic transfiguration); the second direction embodies the insertion, the placing of this semantic transfiguration into the horizontal text continuum, but at a different level than that at which the semantic engendering process began. Our point is that this kind of insertion is semantically validated at the metapoetic level of the literary work.

Cf.:

PERFORMANCE IN THE CONTEXT OF STRUCTURE AND FUNCTION

STRUCTURE

- Performance as
- Event / action: *Plot*
 - *Performance within performance*
 - *Text within the text (Embedding text – embedded text)*

FUNCTION

- *Segmentation – Dynamisation*

- Interlevel segmentation (Vertical meaning-formation)
- Intralevel segmentation (Horizontal, sequential re-positioning)

SEMANTIC OPERATIONS BELONGING TO STRUCTURE AND FUNCTION

- *Segmentation*: Setting frontiers of / frameworks for text units
↓
- *Semantic dynamisation*: Semantic growth and enlargement
 - Vertical segmentation: *Intertextuality* and *intermediality*
 - Horizontal segmentation: *Inserting* the intertextual meaning-development into a sequence
↓
- Metapoetic reading

To demonstrate this, let us first see the dynamic interlevel transfigurations initiated at the plot-level where an artistic performance is described. When the performance is musical, which we cannot physically hear, or visual, which we cannot physically see, the interlevel movement is processed alongside intermediality. This is also the case when a literary work, as a performance, is described (e.g. a theater scene or a recital). In many of these cases the realm of semantic proliferation is also identified in terms of intertextuality. This represents an interlevel movement which, in its final semantic stage, will engender metapoetic meaning. It conveys a much more complicated and semantically sophisticated sense than the mechanical projection of the sense of the motif *art performance* to the metatextual layer of semantisation through the implicit identification of the literary text with a product of art, an artifact. Within metapoetic semantics we can find a more complex process of evolution than the automatic meaning-transfer of the event of performance in the plot to the idea of the text as an artistic event and process.

In the following we will track the above-mentioned process of meaning-formation through a concrete case study, giving an example from Turgenev's *Rudin*, elucidating a semantic movement which has its beginning in the description of performances at the plot level. The semantic continuation lies (1) in the metaphorisation of the plot motif of musical performance through (2) intermedial modelling; it entails (3) the activation of intertextual layers in the novel; then finally comes (4) the metapoetic semantic abstraction as a result of the whole process of interlevel semantisation. To follow this kind of dynamic meaning-formation (1. event in the plot → 2. intermedial language /interlevel semantisation/ → 3. intertextual language /interlevel semantisation/ → 4. metapoetic sense /intralevel syntagmatic insertions/), it is enough to turn to certain passages from the third chapter of the novel, which introduce the protagonist Rudin. This part of Turgenev's work, though quite short, proves to be a kernel of the text. In the first lines of this chapter we see Rudin who unexpectedly enters the typical space of the gen-

tlefolk, the house of the Lasunsky, “regarded as being among the very finest in the whole of — province” [38, 246⁷]. They are expecting a famous baron to come, who, however, sends Rudin instead to hand his article to the Lasunsky family.

There entered a man of about thirty-five, tall, slightly round-shouldered, curly-haired, swarthy, with rregular, but expressive and intelligent feature and a liquid brilliance in his legely dark-blue eyes, with a straight broad nose and finely chiselled lips. What he wore was not new and looked tight, just as if he had grown out of it [52; 258].

The chapter ends showing Natalya, the young girl of the house, with whom, according to the typical Turgenevian plot-scheme, Rudin, of course, must fall in love. She proves to be in an entirely changed state of mind:

Natalya, although she both undressed and went to bed, also had no sleep and did not even close her eyes. Leaning her head on her hand, she looked intently into the darkness; the blood beat feverishly in her veins, and her bosom heaved frequently with a heavy sigh [65; 270].

What we can sense here, is something very intensive around Rudin’s figure. This is all the more spectacular as Rudin is meant to stand in a *hiatus*. Somebody, the baron, *is missing*, and Rudin has to enter the given space and stand there *instead* of him. There is an emptiness which must be filled. And it is filled with intensity. This intensity connected to Rudin’s figure in the plot, is conveyed through the intensity of his characterisation and then the described intensity of Natalya’s changed state of mind, the result of Rudin’s presence. Between the two parts we can find the description of Rudin’s highly intensive presence in the given space. The inhabitants of the house and the guests cannot escape the very vivid impression imposed upon them by Rudin. They are under a kind of enchantment, Rudin’s intensity is almost magical. The enigma of Rudin’s intensive presence lies in the character of his artistic monologues conspicuously lacking any kind of conceptual precision of speech, or analytical clarity of thinking. It is underlined that he is unable to “express himself cogently and precisely” [63; 269].

Then what is the secret of this magic incantation? In what sense can Rudin conquer his audience? What exactly does he do and in what manner does he do it? Turgenev gives an answer through Rudin’s *performing self*:

Rudin began an anecdote. [...] With bold and *sweeping flourishes* he *painted a panoramic picture*. Everyone listened to him with profound attention. He *spoke masterfully*, and entertainingly, but not entirely lucidly ... yet this very vagueness lent particular *charm* to his speech. [...] *Image after image poured out*; analogies, now unexpectedly bold, now devastatingly apt, rose one after another. It was not with the complacent expertise of an experienced chatterbox, but with *inspiration* that his *rushing impromptu* [cf.: импровизация] speech was filled. Hi did not seek after words: they came obediently and *freely* to his lip [...] and each word, it seemed, lite-

⁷ The English version of Turgenev’s *Rudin* is quoted from TURGENEV 1975. Page numbers are indicated after the quotations. The second number in the brackets refer to pages from the Russian original on the basis of TURGENEV 1964.

rally *flowed straight from the soul* and *burned with* all the *heat* of conviction. Rudin possessed what is almost the highest secret – *the music of eloquence*. By striking certain *heart strings* he could see all the others *obscurely quivering and ringing*. A listener might not understand precisely what was being talked about; but he would catch his breath, *curtains would open wide* before his eyes, something *resplendent* would *burn* dazzlingly ahead of him [63; 268–269].

We can collect the motifs of Rudin’s performing self and its semantic attributes: Rudin is thinking in pictures i.e. in images; they are pouring and flowing overwhelmingly, uncontrolled, engendered only by *inspiration growing from the soul*. This produces eloquence which is at the same time really musical and pictorial. Rudin’s performance is referred to as a musical peace (it is an impromptu in the sense of *improvisation*) and as being connected to the stage since it elevates curtains (“curtains would open wide”) which opens up significant sights. These sights are not conceptual, but are internal spiritual visions reflecting life perspectives in the soul of the listener, who by listening to Rudin with “profound attention” begins to have a transformed internal view of the world.

The charm, the spell, the enchantment the speaker exerts on his audience reflects the strength of the poet. “Vous êtes un poète”, says one of his listeners. “And all inwardly agreed with her – all except Pigasov” [64; 270], the anti-hero, the anti-Pegasus.⁸ Here comes the intertextual reinforcement of Rudin’s *performing self as a poet*, which makes a special reference to *performing oral poetry*.

Cf.:

*PERFORMANCE INTERPRETED THROUGH
SELECTED INTERTEXTUAL REFERENCE FIELDS IN RUDIN*

THE FIGURE OF THE POET-PERFORMER WITH ITS AUDIENCE:

INTERTEXTUAL LITERARY(-CULTURAL) REFERENCE FIELDS

- Pegasus (Myth)
- Orpheus (Antiquity: Ovid)
- Troubadour-poet (Literary-cultural tradition)

CULTURAL INVARIANT:

Orality

SEMANTIC SPECIFICATION:

Musicality



MEDIAL SEMANTICS:

Intermediality

THE ENLARGEMENT OF REFERENCE:

Self-reflexivity

⁸ Pigasov, definitively linked up with the mythological figure of Pegasus, the winged horse making spring the source of Hippocrene on Mount Helikon, is an apparent antipode of Rudin’s figure, *with its hidden potentials* (*подтекст*, i.e. *source*) endowed with the connotation of the poet’s inspiration.

We can remember the sophisticated mode in the definition of the protagonist's function in the context of the Orpheus poet figure. What specially counts in this specific context of Rudin's poetic performance can be traced back to Orpheus as an excellent performer, casting spells, enchanting his audience by playing chords on his lyre and singing his songs. We can find in a clear-cut thematic formulation a reminder of all this in Turgenev's novel: "Orpheus, after all, tamed wild beasts with his music." [44; 252]. When we see Rudin "striking certain heart strings" and making "the others obscurely *quivering and ringing*" [63; 269] we clearly associate the Turgenevian character with Orpheus, remembering him from Ovid "when the poet, born of the god, sounded the strings of his lyre" [OVID 2000: X: 89], i.e. a *musical performer-poet*. Rudin, too, exerts a powerful artistic influence on the audience as Orpheus does with the *listeners* to his poetry whom "the poet gathered round him" when singing "in the midst of a crowd, of animals and birds." – we are still with Ovid [OVID 2000: X: 143–144]. Now we should not go into further detail to show the Turgenevian kind of poetic elaboration of the Orpheus figure which we have already reflected upon in detail elsewhere. [KROÓ 2002; KPOO 2008] Instead, we add to the interpretation of the intertextual layer underlining the traits of *oral performing poetry* the evocation of the whole tradition of *troubadour poetry* in Turgenev's work, where Rudin is metaphorically identified with a *troubadour poet*. The essential point here in the given way of connecting two poetic traditions (the ancient musical poetry performance and the troubadour era) in a joint intertextual elaboration in Turgenev's novel, underlines the emphatic semantic orientation to *oral poetry* and with this, to *poetic performance* itself. Rudin is a poet-writer in so far as he is a poet-performer, without a single line of written poetry. The artistic mastery of words is contrasted to everyday communication through the concept of the "experienced chatterbox", from which Rudin is entirely different. Through the intertextual reference of his figure to two kinds of performing orality⁹ – linked up with Orpheus and the troubadour poetic tradition – Turgenev, in a complicated way, underlines the kinds of poetry associated *with music*. In addition, the common intertextual context speaks of lyrical self-expression and centers around the capacity of poetry (poetical performance) as self-reflexive. Orpheus' poetry in Ovid is emblematically a poetry capable of modeling the performing artistic self at the level of metapoetics¹⁰ (e.g. poetically conceptualising the metamorphosis of the elegiac¹¹). As far as troubadour poetry is concerned, it is enough for us to take into account Paul Zumthor's characterisation of the *chanson* – here we give his definition condensing the essence of the self-reflexive nature of this kind of poetry: "un discours des poètes sur leur propre chant". [ZUMTHOR 1972: 217] It is this continuity of self-expression, appearing in the realm of personal love experience and personal artistic experience –

⁹ Cf.: ACZÉL 2009, 2011 *passim*.

¹⁰ Cf.: LIVELEY 2011: 9; ACZÉL 2011, *passim*. For a context of Ovid's earlier poetry, cf.: GALINSKY 1975.

¹¹ For a wider context of the elegy, cf.: OTIS 1966: 4–44.

all this embedded in the context of the medieval concept of universal experience – which again links, on the one hand, Orpheus’ songs creating in Ovid the semantic model of the self-reflexive poet, and, on the other, the troubadour chanson with its peculiarity of representing the continuum of orality and conceived as an unfinished and unfinishable process of poetic discourse. This is literally what Paul Zumthor asserts: “Le chanson cesse; mais elle n’a pas de fin, dans aucun des sens de ce mot”. [ZUMTHOR 1972: 217]

Going further with our theoretical statements, requires a summary of our conclusions so far: the main character’s performing self in the text under scrutiny is portrayed in a wide and meaningful cultural context serving as *an intertextual index of oral poetic performance*. This context, for its part, is associated with music and musicality embodied in poetry, putting the problem of literary textual self-reflexivity at its center.

Cf.:

THE PECULIARITIES OF THE SEMANTISATION OF POETRY THROUGH PERFORMANCE

- Intertextual/intermedial indices of oral poetic-musical performance
 - Performance as a speech-act functioning as a metaphor for poetry
 - Instead of concrete texts of poems:
 - the semantic model of poetry (Rudin’s utterances)
 - memories of texts (Ovid, chanson d’amour, Goethe etc.)
- ↓
- Metapoetic semantisation

This is the point where a logically arising question should be answered. If the poet-performer, or as we have been using the term so far: Rudin’s *performing self* cannot be grasped through the performance of a concrete poem, and is referred to a very wide literary cultural context (e.g. a whole tradition of French *chanson d’amour* in general) and the universal nature of a self-reflexive mode of literary thinking, then how can we decipher the nature of semantic enlargement and growth? Along what lines do semantic definitions go if there is no poem with any kind of concrete thematics to rely on when decoding the process of semantisation?

Rudin’s speech-act is a performance transforming itself into a metaphor of Rudin’s poet-figure. We could call that a “performative metaphor” which performs reading Rudin as a poet – a) in an intertextual context: reading him as a universal Orpheus meant as a troubadour poet of all ages; b) in a context of intermediality: reading him as a musician. This kind of meaning-formation, the dynamic process of the interlevel semantisation, entails the semantic consequence of focusing on the meaning of metapoetics, which concerns strictly poetic language, i.e. performance in the broad sense. It is this performance stated broadly (the poetic language of the novel) in which Rudin’s poetic language (the performance of the character at the plot level and the linguistic modelling of his figure) is embedded. With this, we have come back to the *text within the text* structure problematics.

The question to resolve boils down to the following problem: “How can the semantics grasped in the reading process as a result of the vertical interlevel dynamics of meaning-emergence (the formulation of the metapoetic sense of Rudin’s performance) be inserted, i. e. re-positioned in the logic of the horizontal text flow, the discursive continuum?”. In other words, “How can all this semantic surplus gained from intertextual and intermedial, i.e. interlevel semantic movement (including the shift of narrative plot semantics towards metaphorisation processes) be fitted into the interpretation of the syntagmatic (horizontal) text development?”. The queried insertion (a semantic embedding) covers a process of re-semanticisation, according to this, we read the plot units from a metapoetic point of view. In other words, this means, that we regard the sequence of plot elements as a semantic sequence with a metapoetic message.

What strikes us here in the examined Turgenevian text, is the phenomenon that the plot components requiring a renewed metaphoric reading are all connected to the discursive characterisation of Rudin’s performances manifesting themselves as plot events. The perspective of the double reading reveals that this characterisation shows the protagonist as a mediator-figure in the dynamic semantic world of the novel. It is precisely his figure (and the interpretation of his performance initiated in the plot) through which the continuous possibility of reading the plot event on a metapoetic plane emerges and is maintained. On the first grade of semantic abstraction (the narrative plot message is moving towards a metapoetic-metaphoric message), the plot units constituting a sequence, first of all characterise Rudin’s poetry. Consequently, it will be through Rudin’s poetry, through its semantic model that the text may primarily reflect on itself in terms of its literariness.

We will outline briefly the logic of the creation of discursive continuity. Let us recall the episode involving the playing of the piano. Rudin said in the text to be a *poet* and endowed with the talent of a poet-musician, at a significant moment in the plot asks the heroine of the novel about playing the piano. On that very piano in question another person will play Schubert’s *Erkönig*. However, this music creates for Rudin an intimate contact with Natalya:

Pandalevsky began playing. Natalya stood beside the piano, directly opposite Rudin. With the first chord his face took on a look of beauty. His dark-blue eyes wandered slowly, occasionally fixing on Natalya. Pandalevsky finished [62; 268].

Soon we are given Rudin’s attribute attached to the introduction of the *playing of the piano* theme.

“I see there is a piano”, Rudin began softly [мягко] and soothingly [ласково], *like a prince on his travels*. “Is it you who play on it?” (ibid.)

The *prince on his travels* (the errant) in the troubadour context connected to the motif of the situation just quoted (when Rudin’s dark-blue eyes *wander* slowly from time to time to fix on Natalya), unambiguously outlines the semantics of the poet-figure. Then the playing of the piano speaks of Rudin. The prince on his travels, the errant knight will wander – go on a pilgrimage? – in the realm of love

with his lady, Natalya, through music. This musical performance is the motif of his troubadour love poetry. Metaphorically speaking, at the same time, it is also his Orphean song. Then comes an intermedial translation. Interestingly enough, it is not the player's performance which is described. Instead, Rudin's thoughts on it materialise. The text presents his associations emerging from this performance. Consequently, we do not have any straightforward intermedial transcription. Instead, when the player finishes playing, the reader is informed:

Rudin said nothing and went to the open window. A fragrant misty twilight lay like a soft [мягкой] shroud over the garden; the nearby trees breathed a dreamy freshness. Stars gleamed calmly. The summer night both basked and soothed. Rudin looked into the darkened garden – and turned round. “*The music and the night,*” he said, “reminded me of my time as a student in Germany, of our gatherings, our serenades ...” (ibid.)

Following this, Rudin begins an anecdote (in fact “he begins talking” about his Hedelbergian period as a student) characterised by the narrator of the novel through the description of Rudin's poetic performance (cf.: quoted above: “Rudin began an anecdote...”). A series of components: 1) the *absence of the real description of the musical performance* on the piano initiated by Rudin and semantically connected just to his figure as the motif of the troubadour-singer, then 2) the *description of the musicality of his speech* when “he reached heights of eloquence and poetry ...” [63; “the music of eloquence”, ibid.; 269], and after that 3) the recital by him of the famous Scandinavian legend explaining what “lends eternal significance to man's temporal existence” [64; 269–270] — all place Rudin's utterances into one unique series defined as poetry in the sense of the musical performance. Let them represent an anecdote (any tale), a legend or any kind of *narrative*.

Cf.:

THE ABSENCE OF THE DESCRIPTION OF THE MUSICAL PERFORMANCE:

THE SYNTAGMATIC SEQUENCE FUNCTIONING AS THE NARRATIVE-SEMANTIC COMPENSATION OF THE HIATUS

- Missing description of the musical performance (narrative hiatus)
- ↓
- Narrative passages and character's discourse filling in the gap
 - Narrator's discourse: about Rudin's musicality
 - Narrator's discourse: about the night of the music through Rudin's perception
 - Character's discourse: about the student years – “anecdote”
 - Other character's discourse: about the night during his student years recounted by Lezhnev
- ↓
- Rudin's poetic performance: the Scandinavian Legend

The summary given above demonstrates the form of narrative compensation supplied in a discursive continuity emphatically realised alongside motifs. In a later part of the novel the reader is given information concerning Rudin's time as a student in Germany from Rudin's friend's, Lezhnev's account of his past years there when they gathered together and gave "serenades". The key motif linking this account to Rudin's utterance after the piano performance can be found in the following sentence: "And the *night* would fly away *calmly* [тихо] and *smoothly* [плавно] as if on wings" [98; 299]. Cf.: the motifs to which Rudin's words ("The music and the night," he said, 'reminded me of my time as a student in Germany, of our gatherings, our serenades...', 62) refer after Pandalevsky's piano playing: "A fragrant misty twilight lay like a *soft* [мягкой] shroud over the garden; the nearby trees breathed a dreamy freshness. Stars gleamed *calmly* [тихо]. The summer night both basked and *soothed* [нежилась и нежила] [62; 268]." In the detailed formulation of Lezhnev's account, we can also discern numerous motif references to Orpheus' figure.

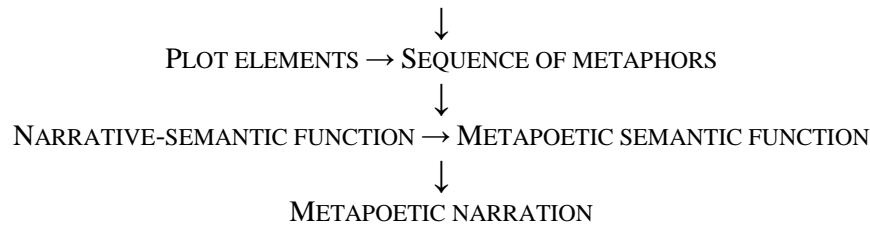
On this basis we can see that, on the one hand, the motif development, on the other hand, composition (the formation of semantic sequences) compensating for the narrative hiatus really constitute a kind of narrative-discursive continuity. The composition lies first in setting a narrative need to fill in the gap embodied by the missing description of the piano performance, and then in the process of actually filling the gap, the narrative hiatus, with other narrative passages and characterisations of Rudin's utterances in his role as a poet. The narrative-discursive continuity thus evolving represents an almost uninterrupted reading of certain plot elements as semantically defining Rudin's poetic performance, i.e. standing as components of a sequence of complex metaphors. In this way, the sense of the interlevel meaning-emergence (intertextuality, intermediality) is transfigured into a meaning, developing in a sequence (i.e. it is validated in a syntagmatic chain of passages). All these passages are in connection with Rudin's performances which, consequently, acquire a metapoetic *semantic* definition as having narrative quality. Rudin's performances on the metapoetic level are *semantically* declared to be part of the poetic language of the novel, i.e. they are semantically functionalised as indices of Turgenev's textual performance. It is all the more so, as they give voice to the semantics of poetic quality in an epic prose text like Turgenev's, which is, at the same time, intensively lyrical. The semantic definition of the protagonist's poetry proves to characterise the Turgenevian novel itself. This novel is a major piece of experimentation belonging to Russian-European novel, in which epic and lyric discourses are entwined into a highly self-reflexive literary text investigating precisely the problematics of genre poetics. From that point of view Rudin's performances (given in their semantic concretisations) have an important function. They contribute to "performing" the self-definition of the given genre of the novel (cf.: the textual performance). They reveal a sequence, a syntagmatic line as successive components in a chain unravelling the metapoetic generic self-definition of Turgenev's novel.

Cf.:

THE STRUCTURE OF TURNING RUDIN'S PERFORMANCES
INTO A METAPOETIC SEQUENCE

DISCOURSIVE CONTINUITY CREATED BY

- Motif development
- Composition (hiatus → filling in the gap)



Turgenev's novel having served for us as an illustration for postulating the translatability of poetological conclusions into semiotic models by concretising the problematics of *textual performance*, represents itself as a piece of world literature investigating its epic and lyric origins. The novel traces back its own genre to a point in the history of world literature where at the source of the French medieval novel we have to count on a significant shift from the troubadour chanson to an epic discourse. More precisely, the systematic intertextual references to this literary-cultural tradition remind us in Turgenev's novel of the special functionalising of lyric discourse within an epic flow. The allusions to the Orpheus figure (the creation of the Ovidian intertext) interpret these historical metapoetic references in the domain of the self-reflexivity of the Turgenevian novel genre. However, this complicated interlevel – intertextual and intermedial – poetic elaboration could not have been read within the framework of a kind of discursive continuity (i.e. as a semantically coherent text at the metapoetic level, too) if there had not been places in Turgenev's novel for the semantic representation of Rudin's poetic performances. The semantics of Rudin's performances indeed *perform* a metapoetic reading of the novel in a fairly sophisticated way.

Returning to Defoe's definition mentioned in the introductory part of this paper, these performances dress the metapoetic development of the novel in very attractive, tangible clothes. These clothes are attractive because, in their primary appearance, they belong to the story, the plot. That is why their sequential development can be conceived. Nevertheless, so as to be able to read them syntagmatically at the metapoetic level of meaning-formation, the interpreter needs to insert the rich sense of the intertextual and intermedial poetic material in the interpretation of Rudin's performances. And then it emerges (according to the logic of the the reading strategy of Turgenev's text) that from the semantic angle the interrelation of the embedding-embedded text structure can also be re-interpreted. Looking at it from this final semantic angle, Rudin's series of poetic performances turns out not to function as embedded semantics. Just the opposite. Reading in the syn-

tagmatic logic of text-coherence, we can see that it is Rudin's performances in which the intertextual and intermedial messages are inbuilt, i.e. embedded. Only due to its capacity for semantic integration, absorption and incorporation, may the semantics of Rudin's performances serve as the content of metaphors in constituting a systematic metapoetic reading of Turgenev's textual performance.

Cf.:

THE CHANGE OF THE STRUCTURAL-SEMANTIC
PERSPECTIVES OF PERFORMANCE

PLOT
Embedding



(Sequential development)
RUDIN'S PERFORMANCES
Embedded: Embedding
(Interlevel semantics)



THE TURGENEVIAN TEXTUAL PERFORMANCE
Embedding : Embedded

Rudin's performances, being embedded in the plot and embedding interlevel semantic processes which are inserted and re-positioned within them, are indeed indices of Turgenev's excellent poetic performance represented by his novel, *Rudin*.

Bibliography

- ACZÉL 2009: Aczél Zs. The Song of Orpheus. Ovid's Meta-poetic Narratives in Books 10 and 11 of Metamorphoses (Thesis). Loránd Eötvös University. Faculty of Humanities. Doctoral School of Linguistic Studies. Program of Studies in Antiquity.
- ACZÉL 2011: Aczél Zs. Orpheus éneke – Ovidius metapoétikus elbeszélései a Metamorphosesben. Budapest: Ráció.
- BLEWETT 1979: Blewett D. Defoe's Art of Fiction: Robinson Crusoe, Moll Flanders, Colonel Jack, and Roxana. Toronto: University of Toronto Press.
- DEFOE 1904: Defoe D. The Fortunate Mistress: Or a History of the Life of Mademoiselle de Beleau, known by the Name of the Lady Roxana. New York: University Press, John Wilson and Son, Cambridge, U.S.A.
- GALINSKY 1975: Galinsky G. K. "The relation to Ovid's earlier poetry." In: Ovid's Metamorphoses. An Introduction to the Basic Aspects. Berkley and Los Angeles: University of California Press, 25–42.
- HAJNÁDY 2002: Hajnáy Z. Sophia és Logosz. Az orosz kultúra paradigmikus-szintagmatikus rendszere (bináris oppozíciói, leküzdésük alternatívái). Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

- HAJNÁDY 2011. Hajnáy Z. A lét tüze. Debrecen: Debrecen University Press.
- KORANG 1998: Korang K. L. An Allegory of Re-Reading: Post-colonialism, Resistance, and J. M. Coetzee's *Foe*. In: *Critical Essays on J. M. Coetzee*. Ed. Kossew S. New York, G.K. Hall & Co. An Imprint of Simon & Schuster Macmillan. London, Mexico City, New Delhi, Singapore, Sydney, Toronto: Prentice Hall International, 180–197.
- KROÓ 2002: Kroó K. Klasszikus modernség. Egy Turgenyev-regény paradoxonjai. A Rügyin nyomról nyomra. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 405 p.
- LIVELEY 2011: Liveley G. *Ovid's Metamorphoses. A Reader's Guide*. India, Replika Press.
- OTIS 1966: Otis B. "The limitations of the elegist". In: *Ovid as an epic poet*. Cambridge: Cambridge University Press, 4–44.
- OVID 2000: Ovid. *The Metamorphoses*. Transl. by A. S. Kline. A new, complete, English translation, and in-depth mythological index. http://ebooks.gutenberg.us/TonyKline_Collection/Html/MasterOvid.htm – 25. 01. 2014.
- TURGENEV 1975: Turgenev I. *Rudin*. Transl. by Richard Freeborn. Penguin Books: London.
- ZUMTHOR 1972: Zumthor P. *Essai de poétique médiévale*. Paris: Éditions du Seuil.
- КРОО 2008. Кроо К. Интертекстуальная поэтика романа И. С. Тургенева «Рудин». Чтения по русской и европейской литературе. Санкт-Петербург, Академический проект, Издательство ДНК, 248 с.
- ТУРГЕНЕВ 1963: Тургенев И. С. Полное собрание сочинений в двадцати восьми томах. Сочинения в пятнадцати томах. Сочинения. Т. 6. Москва-Ленинград.
- ЭЙХЕНБАУМ 1969: Эйхенбаум Б. Как сделана Шинель Гоголя. // Эйхенбаум Б. «О прозе». 1969. Ленинград. С. 306–326.

Abstract

Перформанция как «текст в тексте» в литературных произведениях с семиотической точки зрения

Статья рассматривает проблему изображения и художественного моделирования перформанции (performance) в рамках интермедийности и интертекстуальности, развиваемых в литературном тексте. Теоретическая исходная точка подхода представлена изучением перформанции в качестве «текста в тексте» и определением повышенной семиотической природы такого конструкта в смысле его богатой знаковости и значимости. Главным иллюстрационным примером в работе служит произведение Тургенева «Рудин», в поэтическом материале которого подвергается интерпретации понятие «субъекта/личности перформанции» и разъясняется функция данного семантического мотива в построении характерного свойства литературного дискурса. Специфика дискурса в этом плане сводится к тому, что перформанция из сферы событийного сюжета через интертекстуальную и интермедийную поэтическую практику романа превращается в такое смысловое образование, которое носит метапоэтическое значение. При этом наблюдается перевоплощение семантических трансформаций, происходящих в вертикальной димензии, – т.е. между разными уровнями текстопорождения (событийный сюжет → интертекстуальный и интермедийный смысловой мир → метафорическое значение → метапоэтика), – в такую линейность смыслопорождения на одном определенном уровне, которая обеспечивает связанное метапоэтическое чтение, т.е. приводит к нарративизации в плане метапоэтики. В статье конкретно отмечены интертекстуальные компоненты, связанные со значением перформанции и указываются мотивы, которые содействуют осуществлению названного сдвига от вертикального к обновленному горизонтальному чтению. В результате анализа возникает вопрос о статусе и смене позиций элементов внутри конструкта «текста в тексте».

**ТЕАТРАЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА В ТЕАТРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
«МАСКАРАД» ЛЕРМОНТОВА¹**

REGÉCZI ILDIKÓ

Одной из основных характеристик Петербургского текста является игра с элементами театрализованной действительности пространства. Усиление контуров декоративности и сценичности центра, физического ландшафта, созданного путем мимесиса, и бытия, переживаемого через призму новых ролей², входит в ряд субстратов Петербургского текста. Из этого следует, что понятия, связанные с театром [ср. ЛОТМАН 1992b: 17] – сцена, кулисы, публика, роль, кукла и т. д. – функционируют как элементы метаязыкового описания [ТОПОРОВ 2003: 62]. Однако этот перенос смысла как будто рождается не только в сферах внешнего наблюдателя или высокой культуры, продолжающей создание мифа города, но и собственный язык города, его привычные формы существования вроде бы также превосхищают концептуальный аппарат текстов о нем, то есть можно с уверенностью согласиться с наблюдением Топорова, что Петербург «имплицитно» свои собственные описания

¹ Статья является дополненным вариантом моей бывшей работы: Регеци Ильди-ко, *Интерпретационная традиция драмы Лермонтова «Маскарад» и аспекты петербургского текста*. In: *Всероссийское совещание славистов, посвященное 1150-летию славянской письменности и 110-летию первого Съезда русских славистов. Сборник материалов. 7–9 ноября 2013 года*. Научный редактор: В. А. Степаненко. Москва, ПРО100 МЕДИА, Институт русского языка и культуры МГУ имени М. В. Ломоносова, 48–55.

² Контраст между великолепием созданных путём подражания зданий центра Петербурга и беспросветной нищетой окраин также отмечен в описании поездки маркиза де Кюстина в Россию в 1839 г.: «прогуливаясь по этому городу, я испытываю ту неловкость, какую чувствую, разговаривая с жеманным человеком» [КЮСТИН 2000: 146, курсив мой – И. Р.] Кроме того, в связи с театральностью петербургского пространства Ю. Лотман обращает внимание на описание императора Николая в тексте Кюстина как человека в маске [ср. КЮСТИН 2000: 218–219]. Можно привести бесконечное число показательных с точки зрения нашей темы примеров позирования и ролевых игр императора и высокопоставленных особ: «Император настолько вошел в свою роль, что престол для него – то же, что сцена для великого актера» [КЮСТИН 2000: 259, курсив мой – И. Р.] «Верховный этот владыка ходит не в мундире, но в фраке, как простой человек. Кажется, ему предписано играть роль человека светского [...] он ломал комедию перед всеми нами» [КЮСТИН 2000: 139, курсив мой – И. Р.] и т. д.

[ТОПОРОВ 2003: 28]. На этот вывод наталкивает и своеобразное влечение жителей города 18–19 вв. к особой форме бала – балу-маскараду. Город как будто узнает себя в круговороте костюмированного бала, позволяющего меняться ролями и на короткое время отменяющего рамки повседневного существования. Не потому ли в Петербурге стали так популярны маскарады, что при творство было частью сущности города? [ЛЕЛИНА 2000: 88] – задает вопрос В. И. Лелина, рассматривая природу петербургских маскарадов.

В истории петербургских маскированных праздничных мероприятий действия, предпринятые Екатериной II, явно показывают намерение поколебать, разрушить границы между реальностью и подражанием или, другими словами, расширить возможности индивидуума к своего рода воссозданию себя в мире иллюзии. То послабление в первые годы правления императрицы, согласно которому на просмотр театральных представлений, устраиваемых – согласно недельному расписанию развлечений – по четвергам, публика могла являться уже в маскарадных костюмах (чтобы из театра – где и сама императрица была в маске – прямо поехать на маскарад, устроенный не при дворе) [ЛЕЛИНА 2000: 92], а также спонтанный характер балов-маскарадов и включение реальных площадей города в монументальную сценическую игру более всего напоминают стремление Людовика XIV к вовлечению будничной сферы в мир театральной иллюзии, возвеличению обыденных персонажей (главным образом, своей собственной персоны) до мифологических масштабов, приданию им мифического измерения [см. распорядок придворных праздников, конных игр или празднеств *Plaisirs de l'île enchantée* (*Удовольствия чарующего островка*)].

То, что на языке города означает уют существования в условиях маскарада, также становится наиболее элементарным свойством текстов, в которых Петербург задействован как топографическое место действия: в мире Петербургского текста парадигматически повторяется растворение строгой упорядоченности до состояния хаоса. Это – тот конструктивный принцип, резко противостоящий сценической традиции лермонтовского времени, на котором построена драма «Маскарад». С этим же связаны и сценические реплики, соотносящие хаотическое, построенное на случайности бытие с метафорами *петербургского маскарада* и *карточной игры*. Попробуем рассмотреть особенности сценического представления петербургского пространства в первую очередь со стороны структуры, а затем – со стороны содержания, формирующегося в ходе действия и в диалогах персонажей.

Борис Эйхенбаум в своем сравнительном анализе редакций пьесы³ обращает внимание на цензурные причины удлинения изначально трехактного

³ Согласно последующей реконструкции были возможны не менее 9 рукописей драмы Лермонтова, однако из них до наших дней сохранились только 3 редакции: копия из архива семьи Якушиных с правками Лермонтова; четырёхактный, наиболее известный текст (как правило, служащий основой и для театральных постановок); а также существенно переработанная, дополненная пятым действием драма «Арбе-

произведения до четырех актов. По его мнению, появляющаяся в последнем действии фигура Неизвестного не является принципиально необходимой для Лермонтова. Это скорее персонаж (*l'incognu*), обычный для французской романтической драмы, доминирующей в российском театральном репертуаре 20-х и 30 гг.⁴, который вносит в концовку произведения мотивы мести и возмездия [ЭЙХЕНБАУМ 1941: 98]. Бесспорно, что соблюдение морального равновесия далеко от художественных принципов Лермонтова. Вместо классической эстетики французской драмы XVIII века, которую он считает фальшивой, автор находит драматическую структуру, которой он должен следовать, в теоретических произведениях Шиллера. Лермонтов – который также переводил стихи Шиллера на русский язык – предположительно пришел к мысли о расширении конфликта, начавшегося в сфере личной жизни, а также к применению принципа «двойного сочувствия» [ЭЙХЕНБАУМ 1941: 103–104; ЭЙХЕНБАУМ 1961: 210–211] вследствие знакомства с ранними драмами немецкого автора⁵ и его эссе об эстетике. Согласно Шиллеру, изображение страдания имеет центральное значение в художественном произведении, а патетизм страдания, по его мнению, заключается в показе морального сопротивления страданию [ШИЛЛЕР 1957: 200]. Даже в драматических произведениях он предпочитает не структуру, основанную на грехе героя, а построение, в котором не только страдающий, но и причиняющий страдание персонаж вызывает сочувствие. Тот, кто причиняет страдание, не вызывает в нас ни ненависти, ни презрения, поскольку он совершает грех *помимо своего желания* [ЭЙХЕНБАУМ 1941: 103]. Вместо телеологической гармонии мира художественным представлениям Лермонтова более близко понимание трагедии, показывающее власть неупорядоченности, случайности, что в то же время позволяет произведению, выйдя за рамки традиций сатирически-общественной грибоедовской драмы, выразить метафизическое содержание.

нин». Основной причиной многократной переработки были цензурные запреты: при жизни Лермонтова произведение было запрещено три раза (в ноябре 1835 г. и январе и октябре 1836 г.) и получило официальное разрешение на постановку лишь в 1852 г. У цензуры был ряд возражений, среди прочего, для неё был неприемлемым мотив оставшегося безнаказанным преступления.

⁴ В одном своём письме Лермонтов упоминает неспособные к восприятию возвышенного сентиментализм и утончённые вкусы французов [ЛЕРМОНТОВ 1976: 4, 390]. Критические замечания Гоголя из этого же времени хорошо показывают сформированные французскими мелодрамами и водевилями вкусы российской публики эпохи Лермонтова и границы её восприятия. В годы написания драмы Лермонтова состоялась первая постановка «Ревизора», после премьеры которой автор выразил свое разочарование в ряде пьес («Театральный разъезд после представления новой комедии», «Развязка „Ревизора“») и эссе (напр. «О театре, об одностороннем взгляде на театр»).

⁵ Вероятно, со следующими драмами Шиллера: «Разбойники», «Коварство и любовь», «Дон Карлос» и «Мессинская невеста» [ФЕДОРОВ 1941: 210] [ср. ВИСКОВАТЫЙ глава III].

Итак, все то, что с точки зрения цензуры или российской сценической традиции представляется недостатком: отсутствие подтверждения гармонической упорядоченности мира и социума, а также приемов и развязки, свойственных мелодраме, – является особенностью более позднего вида драмы, отваживающегося на выражение философических аспектов, который мы можем даже считать ранним предшественником чеховских драм.

По сути, в случае «Маскарада» можно говорить не только о двойном, но даже о тройном сочувствии. Согласно реконструированному содержанию ранней, трехактной редакции текста, в конце событий, развертывающихся вследствие любовных осложнений и недоразумений (то есть, согласно шиллеровской традиции, в сфере интимного), мы видим Нину в роли невинной жертвы, а Арбенина, ее убийцу, – как одержимого, неспособного обуздать свои страсти, падшего в моральном смысле человека. В короткой версии менее выражена трагическая сторона его поступка, а именно, выпавшее на его долю страдание из-за потери возвышенного идеала, а также то, что он становится убийцей своей жены в результате обмана, то есть помимо своего желания. Четвертое действие не только обогащает пьесу фигурой Неизвестного (являющегося, среди прочего, *циничным* олицетворением небесного суда и возмездия – «подняв глаза к небу, *лицемерно*» [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 111; курсив мой – И.Р.]), но и подтверждает суждение Арбенина о лживом обществе (фальшивый траур родственников), а также показывает его страдающим, в состоянии сумасшествия, внутреннего раскола. Помимо всего этого, к кругу заслуживающих сострадания добавляется еще один персонаж, князь Звездич. По высказанному в маске суждению баронессы Штраль, Звездич является отражением века, никчемной, ничтожной фигурой, которая вследствие своей безликости может надевать различные маски и играть различные роли: «сам игрушка тех людей» [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 21]. Его драматургическая роль в произведении определяется именно его управляемостью наподобие игрушки или куклы: Арбенин побуждает его к выпытыванию секретов бальной публики, на которую он сам уже глядит со стороны, как чужой; затем Звездич становится невольным участником махинаций баронессы Штраль и включившегося в ее любовную игру Шприха⁶; наконец, он действует под управлением Неизвестного. Его пассивная, управляемая роль стано-

⁶ Немецкое имя Шприха намекает на его роль демонического интригана, средством которого являются разговоры и сплетни (его прототипом является А. Элькан, посредственный литератор, агент Третьего отделения), а в имени князя Звездича легко узнаётся корень «звезда», также используемый в значении «судьба». Об именах-масках «Маскарада» см. также детальный труд А. Б. Пеньковского: ПЕНЬКОВСКИЙ 2003. Пеньковский, среди прочего, обращает внимание на семантическую связь фамилий князя Звездича и баронессы Штраль [ПЕНЬКОВСКИЙ 2003: 41] («звезда» и «Strahl» – «луч»), что подтверждает наши выводы о ролях кукловода и куклы в игре, происходящей на светской сцене (обе фамилии также находятся в тесной связи со светом и светским блеском).

вится явной и в ситуации, когда он участвует в напоминающей дуэль карточной игре, инициированной Арбениным. Игра необычна тем, что, несмотря на то, что хозяином является N, банк мечет не он, а сам Арбенин, что однозначно указывает на намерение Арбенина управлять судьбой, причем его игрушкой становится князь. Звездича с Неизвестным связывает незавершенная дуэль (ведь требование князем сатисфакции отвергается Арбениным), т.е. романтический мотив отстроченной мести, который драматургически обосновывает и развязку пьесы. Однако князю не суждено стать удовлетворенным свидетелем завершения мести, осознание сумасшествия Арбенина «помешало» ему [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 112] и он вынужден осознать свое беспокойство и бесчестие: «Он без ума... счастлив... а я? Навек лишен / Спокойствия и чести!» [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 114] Звездич в своем разочарованном, обманувшемся в светских ритуалах состоянии является такой же жертвой иллюзорной, обманчивой реальности своего времени, какой в определенном смысле становится и Арбенин.

Фигура Арбенина органически взаимосвязана с образами Демона («Демон») и Печорина («Герой нашего времени»)⁷, с сюжетами, рассматривающими проблематику грани между добром и злом («Преграда рушена между добром и злом», [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 82]). Подобно герою «Демона», чувство любви только временно освобождает его от соблюдения законов светского существования 30-х гг. (и позволяет ему выступить в роли банкмета, символизирующей Судьбу), вследствие чего его трагедия обретает вселенские масштабы. Аналогичность жизненного пути Арбенина и Звездича предвосхищает параллельные жизненные пути чеховских пьес: князь Звездич, введенный в мир светских игр именно Арбениным, так же оказывается проигравшим в моральном плане, как и Арбенин (и Неизвестный, тоже ставший несчастным вследствие поступка Арбенина). Звездич находится в начале того пути, который, несмотря на идеал любви, привел Арбенина к чувству разочарования и обманутости. Таким образом, элемент трагичности присутствует в драме также вследствие мотива невозможности изменения жизненного пути.

В искусственном пространстве Петербурга мощно звучит тема хаотического существования и неуправляемости судьбы. Помимо иллюзорности образа города и склонности жителей города к созданию иллюзий и ролей, помещение данного произведения в среду Петербурга также могло быть обосновано драматической историей сопротивления индивидуума Судьбе. Рациональное, противостоящее силам природы решение Петра Великого о строительстве города имеет фундаментальное значение в глубинном слое текстов, связанных с Петербургом. В то же время идея противостояния Природе кроется также в образе петербургского маскарада. Маркиз де Кюстин в своих письмах восхищается фантазмагоричностью петербургского бала: кажется, будто необычные краски природы и, вообще, «вся природа» соперничает

⁷ О его родстве с героем «Демона» и Печориным см., среди прочего: ЭЙХЕНБАУМ 1961: 205–211; МАКСИМОВ 1964: 69; ЖУРАВЛЕВА 2002: 262.

с пышностью придворного бала. Одновременно он вспоминает о крымском путешествии императрицы Екатерины и об установлении фасадов деревенских домов вдоль пути ее следования для создания иллюзии богатства данной местности [Кюстин 2000: 232–235]. В дорожных впечатлениях де Кюстина в концентрированном виде представлен противоречивый мир роскоши и искусственного блеска и, одновременно, ощущение превращения всей империи в непонятный и маловероятный с точки зрения периферии мираж.

В начале 20-го века в сценических трактовках стихотворной драмы Лермонтова, в мистическо-символических интерпретациях пьесы⁸ приобретает большое значение Петербург, как топографическое место действия. Сценическое оформление «Маскарада» в постановке Мейерхольда в Александринском театре построено на атмосфере «сгущенной таинственности», его декорации как бы срослись с архитектурным ансамблем Петербурга [ЛОМУНОВ 1941: 582]. Мы можем составить относительно точное представление о спектакле благодаря сохранившимся эскизам его художника-декоратора и костюмера, А. Я. Головина, которые распространяются даже на мельчайшие детали обстановки [Ср.: «Маскарад» 1941]. Из эскизов Головина явствует, что прекращение отделенности сценического действия от петербургской публики, стирание «демаркационной линии» между сценой и зрительным залом получили важную роль в спектакле. Первичным средством сближения двух пространств стало непривычное использование, «вовлечение в игру» просцениума: оркестр занимал его среднюю часть, сбоку были размещены диваны для отдельных сцен, кроме того, в этом пространстве были также установлены два матовых *зеркала*, отражающие огни зрительного зала. В то же время, благодаря состоящей из нескольких рядов системе поочередно опускающихся занавесов сценическое пространство постепенно сужалось, пока не становилось роскошной спальней, своего рода «золотой клеткой», символизирующей безвыходное положение Нины [«Маскарад» 1941: 48]. Из ряда персонажей выделяется необычная трактовка образа Неизвестного, который в некоторых сценах носит характерную маску «баута» Венецианского карнавала⁹, а в других его костюм напоминает форму служащего некоего отделения (!) [«Маскарад» 1941: иллюстрации XIX и LXXXI]. Сгущающееся вокруг его фигуры ощущение тайны и, в то же время, угрозы еще более усиливается благодаря присутствию фантома [«Маскарад» 1941: иллюстрации XXXVI], однозначно ассоциирующегося с образом Смерти.

⁸ Восприятие Лермонтова начала прошлого века вообще во многих отношениях отличается от прежних интерпретаций: ср. [ЛЕРМОНТОВ 2002: 295–458].

⁹ Романтическую атмосферу драмы Лермонтова Мейерхольд считает близкой к магическому, похожему на бред миру Венеции 18-го века. Маска, свеча и зеркало в постановке Мейерхольда являются образами «стоящего на границе с галлюцинацией» «Маскарада», которые одновременно являются и образами пропитанного таинственностью венецианского бытия. Ср.: [МЕЙЕРХОЛЬД 1968: 225].

Образ Неизвестного, становящийся центральным в театральном действии, интерпретируемом как пространство игры инфернальных сил, ассоциируется уже не с ролью «I'ncoppi», а с близкой к лермонтовскому пониманию фигурой, олицетворяющей Рок и мистически транслирующей (основную) идею о бессилии человека против воли Судьбы. В то же время, по одновременному наблюдению Луначарского, в игре Ю. М. Юрьева, исполняющего роль Арбенина, можно заметить признаки «более поздней «достоевщины»» [ЛОМУНОВ 1941: 583].¹⁰ «Достоевщина», понимаемая как психологическое изображение демонической одержимости греховного человека, еще более усиливается в возобновленной постановке 1934 г. [ЛОМУНОВ 1941: 584]. Все это позволяет сделать вывод, что в понимании Мейерхольда текст Лермонтова тесно связан с традицией Петербургского текста: Петербург – как и в произведениях Достоевского – является метафизическим полем битвы с демоническими силами, олицетворением мира, надевшего дьявольскую маску. Так же как способность преобразования, превращения является особенностью дьявола, так и Петербург, описанный словами Арбенина, предстает перед нами как бесформенная среда часто меняющихся ролями пестрых маскарадных костюмов. В постановке 1917 г. принцип изменчивости и непостоянства также имел выдающееся значение в построении сценического пространства. Во время спектакля в каждой картине перед нами предстает другое место действия, которые, согласно авторским инструкциям, отсылают разворачивающееся действие в отдельные интимные пространства светской жизни: только в двух балльных картинах пространство расширяется вглубь сцены, во всех остальных случаях наблюдается уже упомянутое постоянное сужение. Сужение – тесное пространство, то есть ограниченность пространства в поэтике Достоевского – и в целом в петербургском тексте – активизирует известную связь с душным, гнетущим чувством, боязнью, трагичностью [ТОПОРОВ 1995: 203–205; ЦИВЬЯН 1997: 696]. «Золотая клетка» Нины может восприниматься как вариант этого пространства, соответствующего семанте катастрофы.

В постановке Мейерхольда ритмичная изменчивость пространства и круговорот появляющихся, затем исчезающих персонажей в масках ассоциируется с пляской смерти вследствие повторения мотивов таинственности и смерти (образ Неизвестного в маске безмолвно присутствует во всех сценах, а в финальной картине спектакля проходит через сцену позади полупрозрачного траурного занавеса) [ЛОМУНОВ 1941: 582]. Мотив пляски смерти также ощутимо присутствует и в другой постановке 30-х гг. (художник Х. Коске), благодаря занимающему половину сцены гробу (с исполинскими свечами) и выделению из сценического пространства, как выразился критик,

¹⁰ О взаимоотношении проблематики произведений Лермонтова и Достоевского подробно пишет Журавлева в своей известной монографии [ЖУРАВЛЕВА 2002: 227–238].

«загробного пространства» [ЛЕВКОВИЧ 1981]. В пьесе и Нина, и Арбенин отождествляют Петербург с безжизненностью, с бездушной игрой ролей. В третьем действии Нина, глядя на свое отражение, говорит служанке:

«Ты права, я бледна, как смерть бледна;
Но в Петербурге кто не бледен, право?
Одна лишь старая княжна,
И то – румяны! свет лукавый!»

[ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 91–92]

Петербург также ассоциируется с «городом мертвых»: известно, что городские легенды 19 века твердят о мести мертвых жертв строительства города и предсказывают неизбежное уничтожение «города-людоеда» [ШУБИНСКИЙ 2000]. Петербург – это место, где искусственная среда изживает естественное существование, где человек становится свидетелем безжизненности городской цивилизации. Как Арбенин, так (в определенном смысле, вследствие ее чистоты и наивности, противостоящей светским нравам) и Нина¹¹ встают против цивилизации и ее морали и становятся жертвами этого противостояния. Социальные силы, становящиеся причиной их гибели, могут быть интерпретированы как преобразованная форма разрушительных элементарных сил, подобно классическим петербургским произведениям, главным образом, произведениям Достоевского, в которых даже когда мятежный герой противостоит цивилизационной морали, речь идет также о борьбе с иррациональными силами [ШУБИНСКИЙ 2000].

Итак, существование, определенное Арбениным как «бездушная пустота» [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 94], с этой точки зрения истинно обретает свое выражение в пляске смерти, утверждающей триумф и верховную реальность смерти. В кроющемся в тексте Лермонтова, неотъемлемо присущем ему сценическому измерению неоднократно отдается предпочтение форме круга. Согласно предписаниям авторских инструкций в сценах с участием многих персонажей последние располагаются кругом или образуют волнообразно перемещающуюся толпу («Толпа проходит взад и вперед по сцене») [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 19]. Кроме того, идея о равенстве, обеспеченном масками¹², и иллюзорность мира сего также являются подчеркнуто важными и повторяющимися в различных формах элементами драмы. Арбенин считает жизнь «давно известной шарадой» [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3,

¹¹ Роль Нины как жертвы Арбенин однозначно определяет уже в третьей сцене первого действия: «И я нашел жену, покорное созданье, / Она была прекрасна и нежна, / Как агнец божий на закланье, / Мной к алтарю она приведена...» [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 31].

¹² Ср. со словами Арбенина в первом действии: «Под маской все чины равны / У маски ни души, ни званья нет, – есть тело. / И если маскою черты утаены, / То маску с чувств снимают смело» [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 18].

94]; это отождествление основано на познаваемости тайн бытия, и, в то же время, на банальности решений этих тайн, на «обмане» [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 94] земного бытия. Аналогично, другая метафора, используемая им для описания бытия, т. е. идея бала, также носит в себе схожее содержание:

«Что жизнь лишь дорога, пока она прекрасна,
А долго ль!.. жизнь как бал –
Кружишься – весело, кругом все светло, ясно...
Вернулся лишь домой, наряд измятый снял –
И все забыл, и только что устал».

[ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 94]

Круговорот бала, фальшивый блеск, напряжение тайных махинаций, бальные платья, функционирующие как маски, и мертвая неподвижность самих масок могут раствориться только в интимной среде собственного жилья (как у старой графини в «Пиковой даме» Пушкина, чье раздевание, освобождение от мишуры светского существования наблюдает Германн). Трагедия проистекает также из утраты интимного мира, что приводит к окончательной победе сил, неуправляемых разумом. И это является тем содержательным элементом, который одновременно создает связь и с главной темой, проходящей через творчество Мейерхольда – с темой превращения живого человека в куклу и с идеей театра марионеток. За десятилетие до постановки «Маскарада», в инсценировке драмы Блока «Балаганчик» Мейерхольд уже применяет – как режиссер и как актер: в маске Пьеро – ироническое средство масок (более того, фигур, вырезанных из картона) делающих явной хрупкость, безжизненность. А после премьеры драмы Лермонтова, в 1926 году, в знаменательной интерпретации «Ревизора» снова получает важную роль вопрос превращения персонажей в кукол, точнее, существования в форме марионеток.

Несмотря на то, что преобладающая в театральных представлениях начала прошлого века и некоторых последующих постановках мистическо-символическая интерпретация лермонтовского текста, рассмотренная выше, считалась неправильной трактовкой в течение нескольких десятилетий начиная с 40-х годов 20-го века, учитывая литературную традицию лермонтовской эпохи, она все же не может считаться чуждой миру данной драмы. В лирических произведениях 20-х и 30-х годов 19-го века, посвященных образу петербургского бала, это ритуальное светское событие очень часто обретает мрачную, мистическую окраску и – подобно упомянутым постановкам *Маскарада* – представление круговорота бала как пляски смерти также является частым метафорическим элементом. В стихотворении Одоевского «Бал», датированном 1825 г., бальный зал был полон скелетов, которые сплетничая, обнявшись кружились в танце и «все были сходны». Беззвучный смех скеле-

тов – подобно драме Лермонтова – перекликается с поверхностными светскими ритуалами участников комедии мира сего.¹³

Проблематика иллюзорности существования, направленности / неуправляемости человеком бытия появляется и в образе карт и карточной игры. Карты в толковании Лотмана, как сюжетные реалии, могут быть моделью социального мира и, одновременно, универсума [ЛОТМАН 1992а: 400]. Эта семантическая связь с объектом, присутствующим на сцене в качестве реквизита, возникает и в драме Лермонтова. Свое дополнительное значение, относящееся к жизни, карты обретают в монологе Казарина, *внешнего* наблюдателя¹⁴ или комментатора игры:

«Что ни толкуй Волтер или Декарт –
Мир для меня – колода карт,
Жизнь – банк; рок мечет, я играю,
И правила игры я к людям применяю».

[ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 61]

Риск является основой бытия – утверждает Казарин; раскрывая секреты игры с Неизвестными Факторами [ЛОТМАН 1992а: 395] и учитывая ее правила игрок время от времени может выигрывать или добиваться успеха. В драме Лермонтова – как обычно в русской литературе первой половины 19-го века – в мобилизующей inferнальные силы ситуации, лицо, выступающее в роли Рока, в роли Судьбы, который мечет банк, также ассоциируется с образом Наполеона:

«И если победишь противника уменьем,
Судьбу заставишь пасть к ногам твоим
С смиреньем –
Тогда и сам Наполеон
Тебе покажется и жалок и смешон».

[ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 64]

Арбенин и сам утверждает, что он – игрок [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 81], а условием удачи в азартной игре он считает презрение [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 13] к человеческим и природным законам. Однако после знакомства с Ниной он гонит от себя свой «дух враждебный» [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 34]. В начале

¹³ А из поэзии, современной Мейерхольду, я опять же могу сослаться на произведение Блока: в стихотворении «Пляски смерти», написанном в 1912–14 годах, лязгающие в круговороте бала кости мертвеца («кости лязгают о кости») представлены аналогично вышеупомянутым примерам. Лирика Блока – даже помимо арлекинады и проблематики двойников – явно оказывает влияние на творчество Мейерхольда в самом широком смысле.

¹⁴ В некоторых толкованиях его персонаж интерпретируется как мейфистофелевская фигура [ЭЙХЕНБАУМ 1961: 207.; МАКСИМОВ 1964: 69].

пьесы его нахождение вне игры свидетельствует о его стремлении к освобождению от уз случайности, но также означает и возможность застревания в безжизненности настоящего времени. Однако Арбенин расценивает свое положение прямо противоположно, он называет мертвой свою жизнь до брака («Я в душу мертвую свою / Взглянул...», [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 31]) и считает, что, благодаря любви Нины, он воскрес для жизни («И я воскрес для жизни и добра», [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 34]). Тем не менее, движение жизни становится его реальным атрибутом только с зарождением в нем подозрения и в своей эмоциональной вспышке он опять же выбирает карты в качестве инструмента задуманной мести за предполагаемый обман. Князь Звездич не может быть равноправным участником игры, поскольку он не располагает всей информацией о настоящей природе карточной игры, его взгляд на семантическую область игры отличается от отношения к ней Арбенина. Для него сферой жизненной игры является любовное соблазнение, поэтому в карточной игре он может быть и проигравшим [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 77], но Арбенин однозначно рассматривает ситуацию как дуэль, которая для него является реальным полем продолжения жизненной игры. Преображение игры в «ужасный бой» [ЛЕРМОНТОВ 1976: 3, 76] ясно уже в начале карточной игры, при появлении князя; вероятно, поэтому Звездич и не желает включиться в игру. Тем не менее, ему не удастся сохранить свою позицию внешнего наблюдателя, по приглашению Арбенина он становится участником игры, в которой, несмотря на соблюдение предполагаемых им правил, он проигрывает – с точки зрения жизненной игры. Арбенину – как это показывает и его уже затронутая выше позиция банкмета – временно удастся сыграть роль Рока в жизни Звездича (так же, как позже он решает судьбу Нины, а в предыстории драмы – судьбу Неизвестного), но в карточной игре жизни он может быть только понтером, который, в итоге, и сам не располагает реальной информацией для принятия важных решений. Своеобразие композиции, построенной на быстрой смене сцен, в этом смысле также представляет принцип случайной, иногда роковой, перетасовки карт, а помешательство Арбенина опять же вызывает в памяти другие Петербургские тексты; вспомним Германна, как жертву безжизненности и разрушающего эту безжизненность Случая («Пиковая дама»), Евгения («Медный всадник»), маленьких людей Гоголя или героев Достоевского с раздвоенной личностью.

Таким образом, месть Неизвестного как бы становится малосущественным мотивом в теме более высокого порядка – теме непредсказуемости Судьбы и триумфа иррациональных сил. Возможно, поэтому в интерпретации Мейерхольда Неизвестный и получает центральную роль: его постоянное присутствие должно не только подчеркнуть причинно-следственные связи задуманной и осуществленной мести, но его мистическая фигура смерти указывает и на борьбу с элементарными силами. Возвращаясь к вопросу о редакциях текста, на основании вышесказанного можно предположить, что

со стороны автора мотивы введения роли Неизвестного были более комплексными, чем просто подчинение основанному на современном театральном опыте требованию цензуры представить следующее за преступлением наказание. Вероятно, что удлинение драмы, добавление таинственной, двойственной (циничной под серьезной маской) фигуры Неизвестного также совпало с другими драматургическими идеями Лермонтова. Четвертое действие, помимо мотива возмездия, также вводит в финал произведения, среди прочего, и принцип расширенного, относящегося к нескольким персонажам сочувствия, вследствие чего расширенная структура драмы не рассеивает, а усиливает сомнения относительно идеи возможности счастья в земном существовании и справедливости мироздания. Новая редакция текста также вызывает в памяти мистику петербургских текстов русской литературы 19-го столетия и открывает в фантазмагорическом пространстве города проблематику основанного на иллюзии бытия, манифестирующуюся в образах маскарада, карточной игры и шарады.

Литература

- ВИСКОВАТЫЙ 1891: П. А. Висковатый. Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Москва. http://dugward.ru/library/lermont/viskovatiy_erm.html (Дата доступа: 02.01.2013)
- ЖУРАВЛЕВА 2002: А. И. Журавлева. Лермонтов в русской литературе. Москва: Прогресс – Традиция.
- КЮСТИН 2000: А. де. Кюстин. Россия в 1839 году. В 2 т. Т. 1. Москва: ТЕРРА.
- ЛЕВКОВИЧ 1981: Я. Л. Левкович. Лермонтовская энциклопедия / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Науч.-ред. совет изд-ва «Сов. Энцикл.»; Гл. ред. В. А. Мануйлов, Редкол.: И. Л. Андроников, В. Г. Базанов, А. С. Бушмин, В. Э. Вацуро, В. В. Жданов, М. Б. Храпченко. М.: Сов. Энцикл.. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lermontov/1351/Театр> (Дата доступа: 03.01.2013)
- ЛЕЛИНА 2000: В. И. Лелина. Петербургский маскарад. // В пространстве Петербурга, СПб, 88–106.
- ЛЕРМОНТОВ 1976: М. Ю. Лермонтов. Собрание сочинений в четырех томах. Москва: Художественная литература.
- ЛЕРМОНТОВ 2002: М. Ю. Лермонтов: pro et contra. Ред. Д. К. Бурлака, СПб.: РХГИ.
- ЛОМУНОВ 1941: К. Ломунов. Сценическая история «Маскарада» Лермонтова. In: Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Исследования и материалы. Ред. Н. Л. Бродский, В. Я. Кирпотин, Е. Н. Михайлова, А. Н. Толстая, Москва: ОГИЗ, 552–588.
- ЛОТМАН 1992а: Ю. М. Лотман. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. In: Ю. М. Лотман. Избранные статьи II. Статьи по истории русской литературы XVIII–первой половины XIX века. Таллинн: «Александра», 389–415.
- ЛОТМАН 1992б: Ю. М. Лотман. Символика Петербурга и проблемы семиотики города. // Ю. М. Лотман. Избранные статьи II. Статьи по истории русской литературы XVIII – первой половины XIX века. Таллинн: Александра, 9–21.
- МАКСИМОВ 1964: Д. Е. Максимов. Поэзия Лермонтова. Москва-Ленинград: Изд. Наука.

- «МАСКАРАД» 1941: «Маскарад» Лермонтова в театральных эскизах А. Я. Головина. Ред. Е. Е. Лансере. Москва – Ленинград: Изд. Всероссийского театрального общества.
- МЕЙЕРХОЛЬД 1968: В. С. Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы. Часть первая (1891–1917). Москва: Искусство. http://az.lib.ru/m/mejherholxd_w_e/text_0030.shtml (Дата доступа: 02.01.2013)
- ПЕНЬКОВСКИЙ 2003: А. Б. Пеньковский. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. Москва: Индрик.
- ТОПОРОВ 1995: В. Н. Топоров. О структуре романа Достоевского в связи с архаическими схемами мифологического мышления («Преступление и наказание»). // Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Москва: Прогресс – Культура, 193–258.
- ТОПОРОВ 2003: В. Н. Топоров. Петербургский текст русской литературы. Санкт-Петербург: Искусство-СПб.
- ФЕДОРОВ 1941: А. Федоров. Творчество Лермонтова и западные литературы. // М. Ю. Лермонтов / АН СССР. Ин.т рус. лит. (Пушкин Дом). Москва: АН СССР.
- ЦИВЬЯН 1997: Т. В. Цивьян. О структуре времени и пространства в романе Достоевского «Подросток». // Из работ московского семиотического круга. Сост. Т. М. Николаева. Москва: «Языки русской культуры», 661–706.
- ШИЛЛЕР 1957: Ф. Шиллер. О патетическом. In: Ф. Шиллер. Собрание сочинений в семи томах. Т. 6 Статьи по эстетике. Москва: Гос. Изд. Художественной литературы, 197–223.
- ШУБИНСКИЙ 2000: В. Шубинский. Город мертвых и город бессмертных. Новый Мир, №4 http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/4/shubin-pr.html (Дата доступа: 12.07.2013)
- ЭЙХЕНБАУМ 1941: Б. М. Эйхенбаум. Пять редакций «Маскарада». // М. Ю. Лермонтов. Маскарад: Сб. Ст. М.; Л.: Изд. ВТО.
- ЭЙХЕНБАУМ 1961: Б. М. Эйхенбаум. Статьи о Лермонтове. Москва-Ленинград: Изд. Академии наук СССР.

Abstract

The Theatricality of Petersburg in a Theatrical Space: Lermontov's *Masquerade*

One of the basic characteristics of the Petersburg Text (V. N. Toporov) is the play with the components of theatricalized reality in the given space. The series of substrata in the Petersburg Text comprises the qualities of decorativeness and theatrical scenery as well as the magnification of the contours of existence experienced through role-play and the physical environment created through mimesis. What represents the homely quality of existence within masquerades in the language of the city in the 18th and 19th centuries becomes the most basic feature of the texts mobilizing Petersburg as a topographic scene: the dissolution of strict structurality into chaos returns paradigmatically in the textual world of Petersburg. It is exactly this fundamental constructional principle opposed diametrically to the traditions of the Russian stage of Lermontov's time that the play entitled *Masquerade* (1835–1836) is based upon and, at the same time, the theatrical response that ties the chaotic and accidental existence to the metaphors of a Petersburg masquerade and a game of cards is also related to this.

In histrionic interpretations of Lermontov's dramatic poem in the early 20th century, or, rather, in its mystic-symbolistic reinterpretations of the play, great significance is attributed to Petersburg, which is present as a topographical space. The stage production of *Masquerade* in Aleksandrinsky Theatre by Meyerhold was conceived in an atmosphere of "tense mysteriousness" and its stage presentation as good as "grew together" with the architectural image of St. Petersburg. A fairly accurate notion of the performance of the play can be gained through the roughly one hundred sketches created by A. Ya. Golovin, the stage and costume designer of the production, which cover even the tiniest details of the stage props. It is my objective to reconstruct Meyerhold's stage production on the basis of the contemporary designs and the available summaries and critiques of the play which, in my opinion, place significant emphasis on the Petersburg location and treat it as the playground of infernal forces. It is my conviction that it also evokes the mystique of 19th-century Petersburg texts of Russian literature as well as opens up the problematics of existence based upon illusions manifested in the images of a masquerade, a game of cards, and a puzzle in the phantasmagorical space of the city.

**ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ И ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ВОПЛОЩЕНИЕ В РОМАНЕ И. А. ГОНЧАРОВА «ОБРЫВ»**

SZABÓ KRISZTINA

1

Объектом исследования данной работы является роман И.А. Гончарова «Обрыв». В своем исследовании я не ставлю цели подняться до уровня глобальных выводов о мировоззрении Гончарова и о его концепции личности, а ограничусь анализом проявлений эмоций любви и страсти, сопоставив воплощенные им образы и чувства с мыслями и высказываниями некоторых философов, затрагивавших в своих трудах данную тему. Тем более что борьба со страстью, освобождение из «любовного рабства», пусть даже ценой жизни, становится одним из основных конфликтов русской литературы 1860–1870-х годов.

Гончаров и сам не скрывает, что разные типы любовных отношений являются для него особым предметом изучения, и в статье «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“» он пишет: «Вообще меня всюду поражал процесс разнообразного проявления страсти, то есть любви, который имеет громадное влияние на судьбу – и людей и людских дел» [ГОНЧАРОВ 1979: 454].

В конце XIX века в центре внимания крупнейших русских мыслителей оказался «вопрос о поле», который породил полемику в философских кругах, и даже целое направление научной литературы. Но в чуть более ранней художественной литературе, а особенно в русском романе 40-60-х годов, мы находим ту постановку данного вопроса, которая не только предвосхитила, но и опередила его решение последующей русской философской мыслью. Тема любви всеми гранями засверкала в произведениях Пушкина, Лермонтова, Гончарова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Лескова и Куприна.

Еще в древнегреческом языке существовала разработанная терминология различных типов любви. «Эрос» (ερωζ) – стихийная, порывистая *страсть*, восторженная влюбленность. «Сторгэ» (στωργη) – нежная *привязанность*, любовь родовая, семейная. «Агапэ» (αγαπη) – суховатая, рассудочная любовь

оценки, *уважение*. «Филиа» (φιλία) – задушевная, искренняя любовь внутреннего признания, *приязнь, дружба*.¹

Бытует традиционное представление о том, что в русской литературе нет таких прекрасных образов любви, как в литературе Западной Европы. Нет ничего похожего на любовь Данте и Беатриче, Тристана и Изольды или Ромео и Джульетты. Мы не пережили рыцарства, у нас не было трубадуров. «В русской любви есть что-то тяжелое и мучительное, непросветное и часто уродливое. У нас не было настоящего романтизма в любви» [РУССКИЙ ЭРОС 1991: 5].

Виной этому, по мнению В. В. Розанова, являются женоненавистнические учения христианской церкви, а особенно православия, от самого начала его существования. В своей книге «Люди лунного света: метафизика христианства» Розанов прослеживает, как в бесчисленных «житиях» монахи называют любовь женщины и мужчины «скверною», «нечистыми помыслами», «искушением», «падением» и «грехом» и признают лишь любовь «бесполоую, небесно-спокойную, никого не выделяющую» [РОЗАНОВ 1990:189]. Он считает, что такой взгляд на половую любовь противоречит божьей заповеди «Плодитесь и размножайтесь», поскольку все в мире рождается от полового акта, и отрицая половую любовь, христианство как бы отрицает жизнь в целом. «Безсеменное зачатие, поставленное как «А» в Евангелие, уже содержит его «Ω» – конец, катастрофу... и страшный суд» [РОЗАНОВ 1990: 70], а значит целью христианства, по мнению Розанова, является «Конец мира» [РОЗАНОВ 1990: 69]. Именно поэтому Христианскую религию он считает религией смерти и противопоставляет дохристианскому иудаизму. Приводя из Талмуда примеры брачного закона о частоте совокуплений, Розанов пишет: «Каждый поймет, что один этот закон мудрее и любящее, чем все христианские законы о браке» [РОЗАНОВ 1990: 88]. К сожалению, он впадает в иную крайность и, отрицая какое-либо духовное начало в половой любви, все сводит к физиологической стороне этого нетривиального чувства. С полом он связывает рождение, основной задачей женщины материнство, а цитируя письмо некоего г-на Фози, соглашается с тем, что «единственная, самой природой осуществляемая цель всякого брака, есть поддержание жизни своего рода. <...> поэтому все попытки создать брак на иных началах нужно признать аномалиями» [РОЗАНОВ 1990: 119].

В. С. Соловьев в своем трактате «Смысл любви», наоборот, считает неверным общепринятый взгляд на смысл половой любви, лишь как на средство для продолжения рода. Он показывает, что «половая любовь и размножение рода находятся между собою в обратном отношении: чем сильнее одно, тем

¹ П. Флоренский подробно останавливается на этих четырех направлениях в любви в сочинении «Столп и утверждение истины», в котором, кроме прочего, на основании лингвистических данных разбирает значения и переводы на разные языки таких понятий, как «Истина», «Добро», «Красота», «Грех», «Дружба», «Ревность» [ФЛОРЕНСКИЙ 1990: 393–463].

слабее другая» и что «размножение живых существ может обходиться и без полового влечения» [СОЛОВЬЕВ 1988:493–494] – у рыб, например; в то время как у человека возможна сильнейшая половая любовь даже с полным исключением размножения. А это значит, что каждое из этих двух явлений имеет самостоятельное значение и смысл одного не является средством другого.

Далее Соловьев опровергает теорию Шопенгауэра о том, что великие люди являются плодом сильной взаимной любви. Ведь самая сильная любовь, чаще всего, бывает неразделенной и не производит на свет ни великого потомства, ни какого-либо иного. Из-за любви люди становятся монахами или даже кончают жизнь самоубийством. А в тех редких случаях, когда такая сильная любовь не заканчивается трагедией, и влюбленная пара счастливо доживает до старости, она либо остается бесплодной, либо потомство оказывается самым заурядным.

Анализируя Библию, философ также не видит связи между любовью и размножением. Так, Священная книга не уточняет, женился ли Авраам на Сарре в силу пламенной любви, но даже если так, Бог ждал, чтобы эта любовь совершенно остыла, и от столетних родителей произвел дитя веры, а не любви. И Соломон не является плодом глубокой любви, а лишь плодом случайной греховной прихоти стареющего царя Давида.

Таким образом, Соловьев делает однозначный вывод, что ни в мировой, ни в священной истории половая любовь не играет никакой роли и не оказывает прямого воздействия на ход исторического процесса. И ее положительное значение коренится в индивидуальной жизни человека. Основной и наивысшей целью любви, он считает стремление к совершенству, достижение божественного замысла Творца.

Несколько отличаются, но чем-то созвучны с рассмотренными идеями взгляды Н. А. Бердяева. Как и Розанов, он приходит к выводу, что в неправильном понимании смысла любви и невыполнении людьми ее высокой миссии, виновно аскетическое христианское вероучение, которое заклеимило половую любовь, как нечистую слабость. И в то же время считает, что в половом влечении есть что-то постыдное и унижающее человеческое достоинство, так как пол свидетельствует о греховности человека. Ведь никто не скрывает любовь-жалость, но скрывает любовь сексуальную, что является сокрытием пола в человеке. «В сексуальной жизни есть что-то унижительное для человека. Только наша эпоха допустила разоблачение жизни пола, и человек оказался разложенным на части. В этом – бесстыдство современности. Таков Фрейд и психоанализ, таков современный роман» [БЕРДЯЕВ 1991: 283].

Подобно Соловьеву, он разделяет любовь на божественную, личную, ведущую к индивидуальному бессмертию и на вульгарную, безличнородовую, природную. Любовь – направлена на единственного, неповторимого, незаменимого человека. Эрос же направлен на красоту и божественность, а не на конкретное лицо. Половое влечение с легкостью соглашается на подмену, и подмена эта действительно возможна. А любовь-

влюбленность способна даже не увеличить, а, наоборот, ослабить половое влечение и влюбленному легче воздерживаться от половой потребности и даже сделаться аскетом.

2

Анализируя произведения Гончарова, можно провести некоторые параллели между его взглядами с мыслями вышеупомянутых философов, но, прежде всего, нужно учитывать, что художник, повествуя о любви, только показывает читателю всю возможную гамму чувств и эмоций, а понять, сделать выводы и избавиться от каких-либо заблуждений, должны мы сами. Поэтому, как указывает Недзвецкий, важной особенностью романа «Обрыв» как «эпоса любви», является то, что «обрисованные здесь разнородные типы любви не только характеризуют современное человечество, но и представляют собой и основные периоды человеческой, по крайней мере европейской истории» [НЕДЗВЕЦКИЙ 1993: 49]. Я воспользуюсь предложенной им иерархией различных видов любовной страсти, ибо в этом, у Гончарова, как и у Бердяева, видно четкое разделение на любовь-влюбленность, каритативную любовь и любовь половую – эрос.

Наиболее ранняя пора языческого, природно-телесного периода человечества, отражается в исключительно физиологическом понимании отношения полов дворовой крестьянки Марины, которая «познала „любовь и ее тревоги“ в лице Никиты, потом Петра, потом Терентья и так далее и так далее. Не было лакея в дворне, видного парня в деревне, на котором бы она не остановила благосклонного взгляда. Границ и пределов ее любвам не было» [ГОНЧАРОВ 1970: 204]. В этом персонаже, половая любовь в своем первоначальном, животном проявлении раскрывает возможные последствия теории Розанова воплощенные в жизнь. Считая физическую страсть лишь одной из ступеней на пути человека к истине любви, Гончаров, конечно, сознавал ее естественность и желательность для любящих, но при этом «отделял вакхическую грань чувства от примитивного чувства вождления, каковым была дикая, животная страсть, точнее, страсти этой крепостной Мессалины» [НЕДЗВЕЦКИЙ 1993: 52].

Дохристианскую греко-римскую античность возрождают физически совершенная, но безучастная к окружающим людям и к жизни Софья Беловодова, которая напоминает холодную мраморную статую (именно эта метафора постоянно сопровождает Софью в романе), и, откровенная, не ведающая стыда Ульяна Козлова, в которой тоже сквозил «колорит древности и античность формы» [ГОНЧАРОВ 1970: 170]. И если первая побуждает вспомнить Афродиту небесную, то вторая – Афродиту простонародную². Необходимо уточнить, что для автора весьма различимы чисто животные вождления Марины и дикая, но упорная и сосредоточенная страсть ее мужа Савелия;

² Различие между Афродитой небесной и Афродитой простонародной, любовью божественной и любовью вульгарной, описывает Платон в известном диалоге «Пир», посвященном проблеме любви. [ПЛАТОН 1970: 95–156]

и страсти Ульяны Козловой – другой неверной жены, ищущей равенства в любви, пусть и сведенной к сладострастию. В союзе ее с Леонтием, человеком книжным и отвлеченным, не совсем понимающим интимные потребности своей жены (да и собственные), этого равенства не было. Драматический элемент начинает преобладать в облике оставленного Ульяной Леонтия Козлова, лишь после ухода жены, когда он постиг подлинный смысл своей жизни и бессмыслицу дальнейшего одинокого существования. «Я думал, – говорит он, – что я люблю древних людей, древнюю жизнь, а я просто любил... живую женщину...» [ГОНЧАРОВ 1970: 489]. Эти слова, в каком-то смысле, являются подтверждением взглядов Соловьева о том, что даже если и существует некая высшая форма любви, то ее воплощение может осуществиться только в том случае, когда и мужчина и женщина к ней готовы, и оба в достаточной мере духовно развиты.

Средневековую рыцарственность с ее высоким платонизмом и поклонением Прекрасной Даме-избраннице, можно найти в отношениях Тита Никоныча Ватутина с Татьяной Марковной Бережковой. Об их молодости упоминается лишь в «сплетне», услышанной Райским от Полины Карповны Крицкой и в покаянии самой Бабушки перед Верой. Всю свою жизнь они «свято оберегали «храм своей души» от суетности и праздного любопытства» [СТАРОСЕЛЬСКАЯ 1990:120], поэтому читатель может лишь строить домыслы, сопоставляя туманное прошлое с видимым настоящим. И действительно, в феодальной «куртуазной» литературе, единственно истинной считалась рыцарская любовь, которая находила себе место исключительно вне брака и «прекрасная дама» никогда не становилась женой рыцаря. По Бердяеву, это каритативная любовь и в ней мы так же видим созвучие со взглядами Соловьева, который подчеркивает отсутствие прямой зависимости между любовью и размножением.

Любовь Марфеньки и Викентьева и их роман, названный в «Обрыве» «мещанским», персонифицирует, по мнению Недзвецкого, «бюргерско-филистерский семейно-общественный уклад и период истории» [НЕДЗВЕЦКИЙ 1993: 49]. Это романтизированная рационализация любви, когда спонтанной любви предшествует заранее принятое решение, которое подчиняет их власти общества в лице родителя, наставника или опекуна. В «Обрыве» их безоблачное счастье, ничем не омраченное и одобренное «старшими», происходит в атмосфере пения и смеха и напоминает идиллию из пасторальных романов. Никакие глубинные чувства здесь не затронуты, нет ни страданий ни эйфории, ни полового влечения ни возвышенного платонизма. Просто какое-то безлично-родовое, инфантильно-детское чувство. Только такие наивные и простодушные люди могли бы на практике воплотить в жизнь теорию родовой любви Розанова.

Жертвенная любовь «бедной Наташи» к Райскому оживляет эпоху сентиментализма. Она любит без «пожирающего душу пламени» [ГОНЧАРОВ 1970: 97] (возможно, как Викентьев и Марфенька), но так самозабвенно, что способна прощать избраннику все. «Для нее любить – значило дышать, жить,

не любить – перестать дышать и жить. ...Она любила, ничего не требуя, ничего не желая, приняла друга, как он есть, и никогда не представляла себе, могли бы или должен ли бы он быть иным? Бывает ли другая любовь или все так любят, как она?» [ГОНЧАРОВ 1970: 97]. Но эта жертвенность подтачивает кроткую и покорную Наташу, которая в итоге умирает «без жалобы, с улыбкой любви и покорности» [ГОНЧАРОВ 1970: 100]. Такая односторонняя жертвенность в любви непродуктивна по своей природе, ибо самоуничтожение и полное растворение в Возлюбленном лишает отношения внутреннего напряжения, которое необходимо для их поддержания. Поэтому: «Он (Райский) иногда утомлялся, исчезал на месяцы и, возвращаясь, бывал встречаем опять той же улыбкой, тихим светом глаз, шепотом нежной, кроткой любви. Он был уверен, что встретит это всегда, долго наслаждался этой уверенностью, а потом в ней же нашел зерно скуки и начало разложения счастья» [ГОНЧАРОВ 1970: 98].

В структуре романа этот эпизод имеет не просто значение вставной новеллы, который раскрывает характер Райского, – он служит прелюдией к драме Веры, и потенциальной зарисовкой ее судьбы, в случае согласия на безусловность чувства. Это и предупреждение об опасности абсолютной жертвенности, и демонстрация ее разрушительной силы. Такая модель жертвенности для Гончарова неприемлема именно из-за фатальности – «пожертвовать всем» – значит пренебречь социальными и религиозными правилами, что повлечет за собой неизбежное и неотвратимое возмездие. Он твердо убежден в ценности института брака и в этом расходится во взглядах с Бердяевым, считавшим любовь интимно-личной сферой жизни, в которую общество не должно вмешиваться. По мнению Бердяева, любовь всегда нелегальна, поскольку легальная любовь – любовь умершая. Легальность существует лишь для обыденности, любовь же выходит за рамки обыденности. Мир не должен знать, что два существа любят друг друга. Поэтому он считает, что в институте брака есть бесстыдство обнаружения для общества того, что должно быть скрыто и охранено от посторонних взоров, и, что брак, на котором основана семья, есть очень сомнительное таинство, в котором происходит социализация того, что по природе своей неуловимо для общества. «Когда речь идет о любви между двумя, то всякий третий лишний» [БЕРДЯЕВ 1991: 280].

Вообще, Райский, являет собой особый тип людей. Гончаров, обозначая замысел этого персонажа, пишет, что хотел воплотить тип неудачника-художника, чья фантазия, не примененная к художественному творчеству, беспорядочно выражается в самой жизни. У серьезных художников все это бешенство и вакханалия творческой силы выливается в произведения искусства. А у таких, как Райский, кидается в жизнь, производя в ней капризные, будто искусственные явления, кажущиеся для стороннего наблюдателя нелепою эксцентричностью [ГОНЧАРОВ 1979: 461]. В его беспредельно широком «артистическом» чувстве любви животные инстинкты беспорядочно перепутаны с высшими нравственными побуждениями: «Я люблю, как Леонтий любит свою жену, простодушной, чистой, почти пастушеской любовью;

люблю сосредоточенной страстью, как Савелий; люблю, как Викентьев, со всею веселостью и резвостью жизни; люблю, как любит, может быть, Тушин, удивляясь и поклоняясь втайне...

...А если сократить все это в одно слово, – вдруг отрезвившись на минуту, заключил он, – то выйдет «люблю, как художник», то есть всею силою необузданной... или разнузданной фантазии!» [ГОНЧАРОВ 1970: 476–477].

Райский, подобно многим художникам, возводит красоту в культ, открытие красоты он приравнивает к процессу богопознания, а созданиям собственной фантазии, склонен приписывать значимость богооткровенных истин. Из страсти же, он делает идола, поклоняется ему, и ищет в игре страстей избавления от душевной пустоты и скуки.

На практике это приводит к деспотическому отношению к жизни, которая постоянно расходится с эстетическими миражами «необузданной» фантазии героя. Он попадает в плен к своим переменчивым эстетическим озарениям, которые влекут его в разные стороны, вводят в бесконечные соблазны далеко не безобидного свойства. На судьбе Райского Гончаров показывает, что эстетическая сфера душевной жизни человека, предоставленная самой себе, обожествляющая себя, неизбежно и неотвратимо увлекает личность за грани нравственности, в область сомнительных чувственных наслаждений. Лишенная духовного контроля, она становится слепой, неуправляемой и превращает человека в стихийное игрище страстей. Вторжение страсти в жизнь человека, изменяет привычное течение жизни, заставляет совершать невозможные в обычном, нормальном состоянии поступки, искажает ритм и разрушает гармонию.

В «Обрыве» страсть — это «болезнь», «горячка», «лихорадка»... и эта страсть поражает всех, а обреченность перед нею вызывает, даже у сильных натур, разочарование в себе и озлобление, доходящее до болезненной ненависти к предмету страсти. Нет никаких сомнений в том, что, описывая это состояние, Гончаров ориентировался, в первую очередь, на историческое содержание, заложенное в данном понятии еще с евангельских времен [ГЕЙРО 2000: 101].

Высшим ориентиром в вопросе о любви и страсти в романе является Вера. Она знает, что любовь должна быть исполнена долга – не в смысле только дополнения личного счастья общественными обязанностями человека, но, прежде всего как нравственной обязанности любящих «за отданные друг другу лучшие годы счастья платить взаимно остальную жизнь...» [ГОНЧАРОВ 1970: 528]. Поэтому, как истинная христианка, она видит в любви таинство, ибо «брачная любовь соединяет нас с Богом, который сам есть любовь» [Троицкий 1991: 385]. Это таинство изначально реализуется уже в обряде церковного венчания. И здесь мы опять же видим расхождение в мировоззрении Гончарова и с теорией Розанова и со взглядами Бердяева. Романист согласен с тем, что в традиционной русской культуре понятие «брак по любви» (воплощенный лишь в романтической литературе или в «скандальных» историях), если не получал одобрения «старших», кроме несчастья не мог при-

нести ничего. И если Православие придает институту брака «божественную санкцию», то все иные варианты любовных отношений воспринимаются как противозаконные. Стремление уйти от этой обреченности обычно приводит к отрицанию религии и ее канонов, что показано на примере вольнодумца и нигилиста Марка Волохова. Именно несовместимо-полярные отношения к любовному долгу, венчанию, браку и семье, окажутся главной преградой между ними. В моменты своего противостояния друг другу «оба понимали, что каждый со своей точки зрения прав, но все-таки безумно втайне надеялись, он – что она перейдет на его сторону, а она – что он уступит, сознавая в то же время, что надежда была нелепа, что никто из них не мог, хотя бы и хотел, внезапно переродиться, залучить к себе, как шапку надеть, другие убеждения, другое мирозерцание, разделить веру или отделиться от нее» [БАТЮТО 1991:17].

Странную связь Веры и Марка, Недзвецкий не включил в свою иерархию страстей, а ведь здесь показано новое прогрессивное поколение и зарождение нового вида любовных отношений. Эмансипация и пресловутый «женский вопрос» еще в зачатке, но в романе женщина противостоит мужчине, отстаивая свою точку зрения, и между ними происходит интеллектуальная борьба, борьба мировоззрений, борьба полов. Уже само наличие взглядов, которые Вера отстаивает и ее свобода самовыражения, является шагом к свободе от патриархального прошлого, где женщина была второстепенным, бесправным и подчиненным существом. Ведь по своей изначальной сути женщина не является средством удовлетворения сексуальных потребностей или деторождения. Она – Цель, Идеал, Любовь, Мать всего человечества. Да, несомненно, женщина призвана быть хранительницей домашнего очага, но ведь хранить очаг – это значит, не давать угаснуть вечному огню доброты, справедливости и милосердия. А значит, основная роль женщины состоит в том, чтобы оздоровить и одухотворить человечество. Но, к сожалению, борьба Веры и ее попытки вернуть заблудшую душу Марка Волохова на путь евангельских истин, обречены на поражение, ибо, поддавшись искушению и согрешив, она лишила себя поддержки Бога.

Брак, который для Гончарова является высшим итогом любви, одухотворяет и универсализирует семью, преображая ее в семью-храм, семью-мир, семью-микрокосм. И примером такой семьи был задуман союз Веры и Тушина, но и он не состоялся, ибо именно над этим героем, выражаясь словами Гейро, автором было совершено явное «насилие». Он оказался, кроме прочих своих достоинств, единственным, кто способен на «чистую, глубоко нравственную страсть», свободную от «животного эгоизма». Но все движение романа шло к тому, что такой страсти не существует. Вера любила его не как друга, не как мужа и не как любовника. Из всех возможных вариантов этой странной любви, остается только один: как Бога [ГЕЙРО 2000: 178]. Любовью, воспарившей к небесному идеалу, оставившей слишком далеко позади все земное, крупица которого необходима для союза двух смертных.

Тема данной работы не предполагает анализа библейской символики, которой пропитан весь роман и на которой держится художественное целое произведения. Поэтому, не пытаясь в нее детально углубиться, я лишь отмечу, что в «Обрыве» христианская мысль тесно переплетается с античными мотивами, восходящими к архетипам древнего язычества. И вовсе не случайно каждый герой проходит путь искушения-грехопадения-покаяния.

Идея «искушения» реализуется в совокупности с идеей «страсти», воплощение которой, в свою очередь, осуществляется во множестве ассоциативных цепочек. А ситуацию грехопадения автор показывает, как некую свойственную падшему естеству человека слабость, которая берет над ним верх и периодически повторяется в человеческом обществе, особенно обостряясь в кризисные эпохи, когда расшатываются моральные устои, когда стираются границы добра и зла, когда люди теряют веру в истину евангельских заповедей. Гончаров озабочен тем, что исторический прогресс, достигая больших материальных успехов, не сопровождается прогрессом нравственным, и что научно-технические достижения, как древние языческие боги, требуют в качестве жертвы неуклонного понижения нравственного уровня общества. Цивилизация рождает новую породу человека с атрофированными духовными запросами. Исчезает вера в бессмертие души, в вечную жизнь и в любовь, которая является основополагающим началом жизни, не только индивидуально-личной или семейно-общественной, но даже природно-космической.

Это мнение, в духе самого автора, формулирует в романе «Обломов» Андрей Штольц, который «выработал себе убеждение, что любовь, с силою Архимедова рычага, правит миром; что в ней столько же всеобщей неопровержимой истины, сколько лжи и безобразия в ее непонимании и злоупотреблении». [ГОНЧАРОВ 1981: 402]

Из вышесказанного, можно заключить, что, невзирая на некие точки соприкосновения мировоззрения Гончарова с вышеупомянутыми философами, одна, пожалуй, главная деталь все же делает их антагонистами.

Розанов обесценивает христианство, в том виде, в котором его законы и мораль интерпретируются и преподносятся служителями церкви, и обращается к дохристианскому прошлому в поисках более «правильной» религии. Сводя все тонкости любви к единственной физиологической цели размножения, он видит достижение бессмертия лишь в преемственности поколений и продолжении рода в целом.

Также своеобразно и неканонически относится к религии Соловьев, который воспринимает бога, как Творца, как некий вселенский разум, вовсе не связанный с Библией, Новым заветом и с Христом. Любовь он понимает мистически, как высшее проявление духовной жизни, призванное стать средством индивидуального совершенства, одухотворения и бессмертия с конечной целью перерождения вселенной и преобразования ее форм пространства и времени.

Частично не приемлет христианство и Бердяев, поскольку считает, что учение Христа о любви осталось для людей таинственным и непонятым. Он воздерживается как от обесценивания, так и от чрезмерной идеализации любви и считает, что пол обладает одновременно и духовной и плотской природой, и что в нем скрывается метафизика духа и метафизика плоти. Поэтому, не церковь должна освящать или проклинать любовь, а из мистической глубины человеческой природы должна вырастать любовь и соединяться с религиозным сознанием.

Таким образом, каждый из рассматриваемых нами философов в своих поисках истины в вопросах любви приходит к выводам, отличающимся от христианских, и поэтому все они являются своеобразными проповедниками «нового вероучения». Для Гончарова же, наоборот, все ценности христианства являются незыблемыми столпами морали, этики, эстетики и всего мироздания в целом. Пронизанный *христианской* символикой дух «Обрыва» – это грандиозный храм, в основании которого лежат *христианские* ценности, и окинуть взглядом его можно лишь с высоты *христианского* мирозерцания. Поэтому любовь, именно *христианская*, новозаветная выступает у него условием и средоточием истины, красоты и добра, а его философия этого чувства, оказывается одновременно и этикой, и эстетикой, и психологией, и постижением божественного.

Литература

- БАТЮТО 1991: Батюто А. И. «Отцы и дети» Тургенева – «Обрыв» Гончарова. Философский и этико-эстетический опыт сравнительного изучения. // Русская литература. № 2, 3–22.
- БЕРДЯЕВ 1991: Бердяев Н. Метафизика пола и любви. // Русский Эрос, или Философия любви в России. Москва: Прогресс. – С. 232–283.
- ГЕЙРО 2000: Гейро Л.С. Сообразно времени и обстоятельствам (Творческая история романа «Обрыв») // И.А. Гончаров. Новые материалы и исследования. Москва: Наследие, 83–183.
- ГОНЧАРОВ 1970: Гончаров И. А. Обрыв. Москва: Художественная литература.
- ГОНЧАРОВ 1979: Гончаров И. А.: Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв» // Гончаров И. А. Собрание сочинений. т. 6. Москва: Художественная литература, 453–466.
- ГОНЧАРОВ 1981: Гончаров И. А. Обломов. Московский рабочий, Москва.
- НЕДЗВЕЦКИЙ 1993: Недзвецкий В. А. И. А. Гончаров и русская философия любви. // Русская литература. №1, 48–60.
- ПЛАТОН 1970: Платон: Пир. // Платон. Собрание сочинений. Т. 2. Москва: Мысль, 95–156.
- РОЗАНОВ 1990: Розанов В. В. Люди лунного света: метафизика христианства. Москва: Дружба народов.
- РУССКИЙ ЭРОС 1991: Русский Эрос, или Философия любви в России. Москва: Прогресс.
- СОЛОВЬЕВ 1988: Соловьев В.С. Смысл любви // Соловьев В. С. Собрание сочинений. т. 2. Москва: Мысль, 493–548.

- СТАРОСЕЛЬСКАЯ 1990: Старосельская Н. Д. Роман И. А. Гончарова «Обрыв». Москва: Художественная Литература.
- ТРОИЦКИЙ 1991: Троицкий С. Христианская философия брака. // Русский Эрос, или Философия любви в России. Москва: Прогресс, 377–396.
- ФЛОРЕНСКИЙ 1990: Флоренский П.А.: Столп и утверждение истины.// Флоренский П.А. Сочинения. Т. 1. Москва: Правда.

Abstract

Philosophy of Love and Its Artistic Expression in I.A. Goncharov's Novel *The Precipice*

“Love” is one of the most important and evergreen themes both in Russian and world literature and will always remain topical. Religious and philosophical views on the concept of “love” have changed from Platonic to Freudistic and have been reflected in fiction throughout history. The present study gives a detailed analysis of emotions like love and passion as described by I.A. Goncharov in his novel “The Precipice” as well as the views of great philosophers like V.V. Rozanov, V.S. Solovyev and N.A. Berdiaev on the same subject. The main focus of this essay is the comparison of these views.

**ТАЙНА УГЛОВОЙ КОМНАТЫ
ВЕТХОЗАВЕТНАЯ И НОВОЗАВЕТНАЯ ТРАДИЦИИ
В ПОВЕСТИ Л. УЛИЦКОЙ «СОНЕЧКА»**

SZABÓ TÜNDE

Наталья Ковтун, анализируя повесть «Веселые похороны», выделяет принцип дуализма как основную, ведущую к синтезу черту поэтики Л. Улицкой: «... для преобразования художественного релятивизма в конструктивное мышление нужны новые стратегии. Для Улицкой – это *принцип дуализма*» [КОВТУН 2013: 210]. Согласно этим представлениям, антиномии проявляются в свободе выбора и творческой самореализации персонажей и примиряются в модусе игры. В полной мере разделяя мнение Н. Ковтун о значении принципа игры в произведениях Л. Улицкой, я рассматриваю дуализм не на уровне выбора и поступков героев или их психики, а то, как наслаиваются друг на друга две библейские традиции – ветхозаветная и новозаветная – в одном и том же эпизоде повести «Сонечка», а также в оформлении и взаимоотношениях персонажей.

Повесть «Сонечка» уже интерпретировалась с разных точек зрения. Но тот факт, что главные герои повести – еврейского происхождения, до сих пор не привлекал внимания исследователей, несмотря на то, что сам автор часто говорит о своей двойной идентичности, о двойной русской, православной и еврейской культурной почве, в которой коренится ее творчество.

Сонечка – библиотекарьша не очень привлекательной наружности, став женой Роберта Викторовича, мечтает иметь большую семью, в ней «просыпается память о субботе, и ее тянет к упорядоченно-ритуальной жизни предков» [112].¹ Она принимает в дом Ясю, что воспринимается ею как «мицва», то есть доброе дело. Ее религия, «как и в Библии, состояла из трех разделов. Только вместо Торы, Небиим и Кебутим это было Первое, Второе и Третье» [114]. Сонечкин муж – сын подольского мельника Авигдора, который вместе с другими еврейскими мальчиками изучал «Книгу сияний», каббалой пользуется в своих творческих исканиях и позже, став художником. На основании некоторых жизненных фактов персонажа можно заключить, что его прототипом служил известный художник Р. Р. Фальк – еврей по происхождению, крестившийся и перешедший в православие.²

¹ Цитаты, обозначенные здесь и далее цифрой в скобках, взяты из издания: [УЛИЦКАЯ 2007].

² Подробнее см. [САБО 2011: 323–339].

Такая характеристика главных героев позволяет предположить, что в повести Л. Улицкой, наряду с явными аллюзиями на классическую русскую литературу, важную роль играет и еврейская ветхозаветная традиция.

Конкретную ссылку на это мы находим в конце повести, в эпизоде похорон Роберта Викторовича, когда рядом с гробом художника стоят обе его женщины – жена Соня и любовница Яся. Тимлер, один из коллег Роберта Викторовича, видит их вместе и говорит: «Красиво как... Лия и Рахиль... Никогда не знал, как красива бывает Лия...» [154]. Как известно, история Лии и Рахили, двух жен Иакова представляет собой один из эпизодов Бытия, первой книги Моисея (Бытие 29–32) [Библия 1993]. Иаков, «купив» у брата Исава право первородства, а у отца хитростью взяв благословение, отправляется к брату матери Лавану, чтобы скрыться от их гнева и найти себе жену. По пути, у колодца, он встречается с младшей дочерью Лавана Рахилью, пасущей стадо отца. Иаков с первого взгляда влюбляется в Рахиль и соглашается на семь лет службы у Лавана, чтобы получить ее в жены. Когда заканчиваются семь лет службы, Лаван устраивает свадьбу, но вместо Рахили вводит к Иакову свою старшую дочь Лию. Иаков узнает о подмене только утром, и вынужден служить еще семь лет чтобы добиться руки Рахили. Когда Иаков женится и на ней, сестры начинают соперничать в том, кто из них родит ему больше сыновей. Рахиль долгое время не беременеет, приобретая статус матери только благодаря своей служанке. Позже она сама родит двух сыновей, умирая во время родов второго ребенка.

Тема двоеженства появляется в повести Л. Улицкой еще до ссылки на ветхозаветный эпизод. На день рождения своего друга Роберт Викторович приводит обеих женщин, Соню и Ясю. Они «держались по-семейному, [...] и не дал Роберт Викторович возможности посторонним людям, то есть друзьям, делать выбор между *супругами*...» [142]. Если сравнить женские персонажи с библейскими сестрами, окажется, в некоторых деталях они соответствуют библейским прототипам. При этом важно подчеркнуть, что соответствия неоднозначны – как неоднозначно то, которую именно из двух подразумевал Тимлер, говоря о красоте Лии – библейские атрибуты «рассыпаны» и распределены между двумя женскими образами.

По возрасту и по очередности «браков» Сонечка выступает эквивалентом Лии, а Яся – Рахили. Это распределение подтверждается и их внешними чертами. О внешности Лии из Библии известно единственное, что «была слаба глазами» (Бытие 29:17). Характеризуя внешность Сонечки, Л. Улицкая посвящает целый абзац описанию ее глаз, в конце которого выясняется, что «близорукая Сонечка с раннего возраста носила очки...» [8]. Позже мы узнаем также, что ее третий «женский глаз» ослеплен. Рахиль и Ясю сближает их красота: Рахиль «была красива станом и красива лицом...» (Бытие 29:17), и Яся появляется в доме Роберта Викторовича со своей «светлой славянской красотой» [103].

В то же время, на уровне действия, образы Сони и Яси сближены с другой из ветхозаветных сестер. Встреча Сонечки и Роберта Викторовича напоминает

ет встречу Иакова с Рахилью. Обе встречи судьбоносны, в обоих случаях мужчина в стоящей перед ним девушке узнает свою будущую жену. Сонечку роднит с Рахилью также неспособность больше рожать и переживание из-за этого: «Ей все казалось, что она недостойна любви своего мужа, если не может приносить ему новых детей» [64]. Яся выполняет «вытесняющую» роль Лии, поскольку она втайне, с изменой занимает место избранной и законной жены. Она спит в ночной рубашке Сонечки, когда Роберт Викторович в новогоднюю ночь ищет рулон бумаги в угловой комнате. Яся там же предлагает художнику себя, выскальзывая из Сониной рубашки.

В то время, как между женскими персонажами повести Л. Улицкой и ветхозаветными сестрами имеется явная параллель, между образами Роберта Викторовича и Иакова не наблюдаем сходства ни на уровне действия, ни среди их атрибутов. Тем не менее, в поступке Яси, в вытеснении избранной женщины обнаруживается семантика, свойственная образу Иакова. Иаков и Исав – близнецы, которые борются еще в утробе матери. Иаков, младший из них, рождается «держась рукою своею за пяту Исаву» [Бытие 25, 26], поэтому само его имя обозначает «пятку». Считаясь младшим, Иаков лишает своего брата права первородства. Согласно интерпретациям книги Бытия, подмена Рахили Лией – это не что иное, как повторение поступка Иакова, только с обратной направленностью.

Лаван с Лией на самом деле восстанавливает традиционный порядок вещей, нарушенный поступком Иакова: «Соперничество между сестрами, Лией и Рахилью, на уровне действия созвучно с борьбой Иакова с его братом, хотя на уровне наррации эта параллель широко не развертывается» [VLUM 2012: 189].³

Сами бракосочетания Иакова представляют собой некий переворот в генеалогии Ветхого завета, поскольку именно в его семье вертикальная, основанная на выборе⁴ генеалогическая цепь превращается в сегментальную, основанную на равноправии всех сыновей: «...Израиль впервые адекватно определен как со стороны, так и изнутри, когда линейная генеалогия превращается в сегментальную в случае сыновей Иакова» [ODEN 1983: 202].⁵ Рожденные от разных матерей и имеющие поэтому разный статус сыновья одинаково получают благословение отца и, таким образом, представляют собой непривычный до того особый тип семьи. К тому же, в семье Иакова личное и общественное тесно взаимосвязано, поскольку история этой особой библейской семьи является одновременно предысторией целого народа: «Со-

³ Перевод с английского мой – Т.С.

⁴ См. «В психику воспитанного в еврейской традиции человека врезалось инстинктивное убеждение, что он не только избранник, но и избирающий, склонный и готовый произвольно отдавать предпочтение кому-то. Тому, кого он больше всех (или исключительно) любит... Как избрал Иаков младшую сестру, Рахиль, в которую он влюбился с первого взгляда...» [HELLER 2006: 25] (Перевод с венгерского мой – Т.С.)

⁵ Перевод с английского мой – Т.С.

гласно концепции генеологии всех племен, где социальная структура основана в первую очередь на родственных отношениях, история нации начинается с индивидуальных семей» [VLUM 2012: 186].⁶

Трудно переоценить значение этих двух особенностей в творчестве Л. Улицкой, одной из основных тем которого является, с одной стороны, семья, состоящая из разного статуса жен, мужей, любовниц и любовников и их детей и, с другой стороны, переплетение личной жизни и общественно-исторического фона. Активизированный в повести «Сонечка» ветхозаветный эпизод истории Иакова однозначно служит их источником и прообразом.

Согласно современным интерпретациям, история Иакова – это литературный текст, который можно считать даже первым романом.⁷ Поэтому можно говорить больше о литературной, чем о религиозной традиции, на которую опирается повесть Л. Улицкой. Активизация семантики, сохраненной в имени и поступках Иакова на разных уровнях произведения Улицкой – на уровне места действия (угловая комната),⁸ в разных моментах самого действия (вытеснение избранной жены) и на уровне взаимоотношений героев («двоеженство» Роберта Викторовича) – восходит к одному из текстообразующих приемов Ветхого завета, который Исаак Силингман (Isaac Seelingmann) назвал «принципом игры» (Spielelement) Библии.⁹ Таким образом, принцип игры, который Н. Ковтун интерпретирует в рамках постмодернистской парадигмы, имеет свои корни не только в эстетической теории Ф. Шиллера об игре,¹⁰ но и в текстообразующих принципах Ветхого завета.

Как и принцип игры в повести Л. Улицкой имеет несколько источников, так и эпизод в угловой комнате и взаимоотношения героев обосновываются не только с помощью истории Иакова. Само имя главной героини повести Сонечка указывает на возможную связь с романом Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и с лежащим в его основе новозаветным эпизодом о воскрешении Лазаря.

В повести Л. Улицкой нет конкретного указания именно на это произведение Достоевского. Мир писателя среди впечатлений Сонечки о классической русской литературе упоминается как «тревожные бездны подозрительного Достоевского» [11], а Роберт Викторович при первом его появлении называется «человеком из подполья» [14]. Параллель двух произведений на-

⁶ Перевод с английского мой – Т.С.

⁷ «История Иакова и Иосифа является первым романом в мировой литературе, потому что это – однозначно роман, даже один из лучших.» [HELLER 2006: 23] (Перевод с венгерского мой – Т.С.)

⁸ Интересно, что в венгерском языке понятия «угол» и «пятка» выражены одним и тем же словом «sarok». Поэтому для венгерского читателя семантическая связь между действием и местом этого действия однозначна.

⁹ Цитирует VLUM [2012: 188] «Безусловно, такая „игра“ в наших историях функционирует не *l'art pour l'art*, а для того, чтобы указать на природу вещей/людей или на глубокую связь между ними» (Перевод с английского мой – Т.С.).

¹⁰ См. [САБО 2013: 53–61].

блюдается между женскими образами: атрибуты Сони Мармеладовой распределены между Сонечкой и Ясей.

В романе Достоевского Соня Мармеладова зарабатывает для семьи отца сначала шитьем, а потом проституцией. Шитье – это атрибут обеих героинь Л. Улицкой. Сонечка наследует материнскую швейную машину, работает на ней с «невинной дерзостью самоучки» [56] и этим кормит семью в первые послевоенные годы, а Яся шьет себе одежду «молитвенно и сосредоточенно» [101], готовясь к новогоднему вечеру в доме Сонечки. Проституция – это атрибут Яси. Когда она приехала в Москву, «все располагало к тому, чтобы Яся стала профессиональной проституткой...» [90]. Соня Мармеладова жила в комнате у Капернаумовых. Особенность этой комнаты – ее странные углы: «Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходящая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был уже слишком безобразно тупой» [ДОСТОЕВСКИЙ 1989]. В эту комнату приходит к Соне Раскольников, когда он ищет выход из тупикового положения, и в той же комнате Соня читает ему новозаветный эпизод о воскрешении Лазаря, служащий основой «идеологического ядра» романа [ТОРОП 1997: 90]. В процессе «воскрешения» Раскольникова Соня Мармеладова выполняет определенную функцию: она является катализатором трансформации, в ходе которой герой от приводившей к убийству идеи через осознанное принятие креста приближается к «живой жизни», к вере в Бога.¹¹

В повести Л. Улицкой Сонечка и Яся вместе, сменяя друг друга, выполняют схожую функцию в судьбе Роберта Викторовича. Инициатива в трансформации героя выпадает на долю Сонечки. Когда Роберт Викторович встретил ее, «его звериная воля к жизни почти исчерпалась» [27]. Сонечка обеспечивает для него тот фон, ту материальную и духовную основу, которая необходима для него, чтобы набраться творческих сил. Сонечка, как и Соня Мармеладова, провожает героя даже в ссылку. Однако в повести Л. Улицкой «воскрешение» героя происходит не в сакральной сфере и связано вовсе не с проблемами веры или ее отсутствия. Перерождение Роберта Викторовича ведет к пробуждению творческой энергии, возвращению к полноценному художественному творчеству, а именно к созданию серии белых портретов. С этой точки зрения, повесть Л. Улицкой можно отнести к произведениям, написанным о художниках и о проблемах искусства.¹² Процесс перерождения Роберта Викторовича состоит из четко разграниченных фаз. Сначала он делает сказочные игрушки для дочери Тани и башкирских детей. Эти игрушки потом служат основой для пространственных экспериментов художника.

¹¹ Подробное описание поэтической функции Сони Мармеладовой см. [SZABO 2007: 90–108].

¹² Такое прочтение повести предложила Э. Гильберт. [ГИЛЬБЕРТ 2004: 341–351]

Позже Роберт Викторович создает театральные макеты, позволившие ему вернуться в мир московских художников. Он старается раскрыть «тайны белого», когда в угловой комнате обладает прозрачно белым телом Яси, вследствие чего художник снова начинает писать картины. Таким образом, в угловой комнате Яся практически берет на себя трансформирующую роль Сонечки, становясь последней музой стареющего художника, и окончательно возвращает его к художественному творчеству. Сонечка, может быть, именно благодаря своей начитанности и знанию русской литературы, относится к этому осознанно и спокойно: «... как мудро устроила жизнь, что привела ему под старость такое чудо, которое заставило его снова обернуться к тому, что в нем есть самое главное, к его художеству... – думала Сонечка» [129].

Все вышесказанное показывает, что в переломный момент сюжета, в эпизоде угловой комнаты наслаиваются два определенных момента из Библии – ветхозаветная история Иакова и новозаветный эпизод воскрешения Лазаря (служащий прообразом воскресения Христа). «Двоеженство» Роберта Викторовича связано непосредственно с историей Иакова. А благодаря активизации семантики «вытеснения» в поступке Яси ее роль приобретает новый смысл. Поступок Иакова, вытеснение им права брата на первородство и инверсный этому поступок, подмена сестер и также принятие нежеланной невесты – в конечном счете являются в библейской истории нужными условиями для выполнения заключенного с Богом союза. Таким же образом появление в доме Яси и ее роль любовницы Роберта Викторовича становятся импульсом для художественного творчества героя. Следует подчеркнуть, что ветхозаветный эпизод в повести Л. Улицкой актуализирован в десакрализованной форме и акцент перенесен с проблемы взаимоотношений персонажей с Богом на проблему художественного творчества. В то же время, некоторые элементы ветхозаветной истории – сложность устройства семьи и переплетение личной истории с общей, национальной – становятся определяющими чертами поэтики Л. Улицкой.

Таким же образом, как и ветхозаветный эпизод, в повести Л. Улицкой десакрализована и новозаветная традиция. История о воскрешении Лазаря (и также о воскресении Христа) активизирована в повести посредством романа Достоевского «Преступление и наказание». Яся, занимавшая угловую комнату в доме Роберта Викторовича и Сонечки, становится эквивалентом Сони Мармеладовой и выполняет ее функцию, сменяя Сонечку в последней фазе творческого воскрешения Роберта Викторовича. «Воскрешение» художника происходит вне сакральной сферы; приближение Раскольников к вере и Богу замещается художественным творчеством.

История Иакова, его семьи, и воскресение Христа в Библии представляют собой начальную и завершающую точку священной истории. В книге Бытия Иаков – третий патриарх, с которым Бог заключил союз. Он получает новое имя Израиль и непосредственно от его сыновей происходят двенадцать израильских племен. Христос – обещанный Мессия, потомок Иакова, который своей жертвой искупает все человечество. Соприкосновением начала и конца,

рождения и воскресения из мертвых священная история приобретает вечность, возможность бесконечного повторения.

Возможность этого мифического повтора-возвращения была представлена уже в романе Достоевского. В эпилоге, в момент своего «воскресения» Раскольников видит пейзаж, напоминающий «времена Авраама», а слова, описывающие его душевное состояние, однозначно отсылают к семилетней службе Иакова, чтобы получить право жениться на Рахили: «Семь лет, *только* семь лет! В начале своего счастья, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней».¹³ То, что у Достоевского происходит в сакральном контексте, в форме текстовой цитаты, в повести Л. Улицкой разворачивается на разных уровнях сюжета в десакрализованной форме: проблема веры в Бога заменяется проблемой художественного творчества – как в ветхозаветном, так и в новозаветном контексте.

В итоге можно сказать, что выделенный Н. Ковтун принцип дуализма, в повести «Сонечка» обнаруживается и в активизации библейской традиции, служащей фоном и определенным объяснением взаимоотношений персонажей повести, которые могут интерпретироваться как минимум с точки зрения двух традиций.

Литература

- Библия 1993: Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Москва: Библейские Общества.
- ГИЛЬБЕРТ 2004: Э. Гильберт. V. Gilbert Edit, *Visuality and Inner Vision in the Novels of Yakov Golosovker and Ljudmila Ulitskaya*. *Studia Russica XXI*. Budapest, 341–351.
- ДОСТОЕВСКИЙ 1989: Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Собр. соч. в 15-и томах. Т. 5. Л.: Наука. <http://ilibrary.ru/text/69/index.html>
- КОВТУН 2013: Ковтун, Н. В. Игра как способ миропостижения в повести Людмилы Улицкой «Веселые похороны». // *Русская литература* № 1, 210.
- САБО 2011: Сабо Т. Фикция и действительность в повести Л. Улицкой «Сонечка». // *Studia Slavica Savariensia, Szombathely*, 323–339.
- САБО 2013: Сабо Т. Проблема фикции, действительности и игры в повести Л. Улицкой «Сонечка». // *Антропология литературы 1–3*. Гродно, Т.1.
- ТИХОМИРОВ 2005: Тихомиров, Б. «„Лазарь! Гряди вон“». Роман Ф.М. Достоевского Преступление и наказание в современном прочтении. Книга-комментарий». Санкт-Петербург.
- ТОРОП 1997: Тороп П. Симультанность и диалогизм в поэтике Достоевского. / П. Тороп: Достоевский: история и идеология. Тарту.
- УЛИЦКАЯ 2007: Улицкая, Л. Сонечка. Москва: Эксмо.

¹³ См. [ТИХОМИРОВ 2005: 443].

- BLUM 2012: Blum, E. The Jacob Tradition. In: The Book of the Genesis. Composition, Reception, and Interpretation. Ed. Craig A. Evans, Joel N. Lohr, David L. Peterson. Leiden, Boston.
- HELLER 2006: Heller Á. Ímhol vagyok. A Genézis könyvének filozófiai értelmezései. Budapest: Múlt és jövő, 25.
- ODEN 1983: Oden, Robert A., Jacob as Father, Husband, and Nephew: Kinship Studies and the Patriarchal Narratives. // Journal of Biblical Literature 102/2 (1983)
- SZABÓ 2007: Szabó Tünde, „Nőkérdés” és ikonikus nőalak a Bűn és bűnhődésben. // Örök női archetipusok. (szerk.: Fonalka Mária, sorozatszerk.: Hajnády Zoltán) Debrecen, 90–108.

Abstract

The Secret of the Alcove (The tradition of the Old and the New Testament in L. Ulitskaya's short story *Sonechka*)

This paper examines how certain episodes of the Old and the New Testament are activated in the alcove episode – a turning point in the plot of the short story *Sonechka*.

The act of adultery at the centre of the short story can be interpreted through the story of Jacob's marriages as well as through the resurrection of Lazarus, the episode from the New Testament that constitutes the “ideological core” of *Crime and Punishment*. The parallel activation of both traditions (and the invocation of the Dostoevsky novel at the same time) shows the relationship between the heroes of Ulitskaya's short story in a new way that is different from the interpretations that have been offered so far.

**WOMEN'S ROLES, DESTINIES AND CHARACTERS IN WORKS
OF LYUDMILA ULITZKAYA AND MAGDA SZABÓ**

EDIT V. GILBERT

Russian culture pays special attention to the figures of women – even from spiritual, religious, theological points of view. The Russian thinkers from the beginning of the 20th century write a lot about the so called spirit of the world, the universe, that they partly identify with the holy trinity and the universal wisdom named Sophia, the word being rooted in Greek tradition. This concept of Sophia has a female nature. Creating woman figures, Russian writers “fill” them from time to time with the soul of Sophia, or at least this deep meaning can be one key to understand them. Russia seems to be a female phenomenon – according not only to Russian theories. But also German writers, thinkers, philosophers used to apply the concept of Russia in the same way. The image of Russia in their interpretation is a good, naïve, self-sacrificing, weak entity, who appears as unable to save herself, that demands, needs defense, protection. It is unable to exist alone, on its own, unsupported, independently, separated, and that is why it requires a masculine partner, who gives her contours, borders, a definite plot, a rational character that doesn't allow her to flow away. Germany in this way restricts, mediates her irrational nature, and this is how it makes itself strong. We can see, this theory advances a traditional female role to the figure of Russia: not to be selfish, to exist in the background, to assist men, to help them, and in this spirit not to have their own way, career, just to delight and be delicious [RJABOV 2007]. But we know well both from history and from literature that: women saved and kept countries alive, they took care of the background while their men (husbands, sons, brothers) were fighting while participating in wars. During the time when the men were not at home, women did everything at home. Instead of their men, they played the men's role, fulfilled various functions, did their work(s) too. Even nowadays – according to Ulitzkaya's words – Russia is definitely a female country, but not in the sense of weakness but on the contrary: with their strong Earth energy. (Russia in folk mythology is identified with the earth and with a woman, and even with Maria. The blessed virgin in certain traditional Russian beliefs is close to pagan earth goddesses.) Russian women fulfill so strongly their roles, challenges. While men are out of everyday life – in prison, in alcoholic trance or they must fight, struggle somewhere (all these possibilities are unfortunately valid for the present-day Russia), women do the work instead of them. They write petitions for their sons not to take them to wars, not to keep them in prisons for so long. (According to Ulitzkaya the

law is extremely strong, strict and inhumanely cruel in Russia: for a small offence, for a misdemeanor, a young person can be sentenced to spend years in prison.) [УЛИЦКАЯ 2012] We can find a certain kind of tolerance, humanity, empathy, solidarity, sympathy towards men in her works. It is said she creates strong women figures, but these women are providers, they offer hand, help to men. They understand them and don't wait, don't expect any extra activities, any extra achievement in any field of life from them. Yes, they are strong women – but they don't take advantage of it. They understand even their weaknesses. Medea for example in the novel “Medea and her Children” considers her husband's weakness (that is, according to the state's demands and requirements seems to be a fault, a sin and the main weakness): to be afraid of power, aggressiveness being quite normal, human and understandable. She prefers men's “weakheartedness” – unlike her brothers' official braveness to be a hero. Medea expresses regarding her brothers: they were not frightened of killing, they did kill others, and that is why they were killed in the same way. The question is asked by Medea: are we sure it would be the value, the order of life that we preferred, needed, respected?

Ulitzkaya's main women figures in general don't struggle with men but support them. They are providing, helpful characters, but they arrange it in a way that they do not always sacrifice themselves, they do it not by self humiliation, and they are neither victims, nor martyrs. It is a great achievement result, an important point of her ethics and psychological nature, personality. The psychologically believable, accurate, true presentation, phrasing, definition of the model of equal and supportive, understanding, cooperating behavior between men and women can be the main feature in Ulitzkaya's vision of the world. She, of course, gives examples of many woman types as well, but regarding the author's voice and presentation we can understand each of them. Thanks to her studies in genetics and other skills she is able to notice and see the complexity of human beings – and makes us perceive and accept the acts of her characters.

Reading her works and accepting her approach we can reveal, explore the meaning, the roots, the reasons of different behaviors even in too much assisting, underestimating, self humiliating positions just as the opposite phenomena as well. Let's have a look at her first novel, titled “Sonechka”. The woman's figure from the title can be interpreted, perceived from different aspects. On one hand she is the representative of conservative Russian tradition, of self-humiliating women, who can be cheated, ignored and she is not even refusing to participate in a situation, order, life hierarchy like this. On the other hand she is a realistic person, who overcomes the difficulties, who accepts whatever life offers and is able to be accommodating to any circumstances. The narration involves us in the details of the situation, leads us through the whole life of Sonechka and – rather ironically, but not in a stressing way – signals, emphasizes the moments, the steps, the certain phases from the life of her, when the main character loses the ability, the chance as a woman, as a person with dignity. We can see how she loses her interest towards intellectual, spiritual qualities. She keeps, she supports her family, she does

everything for them materially, and it is why she starts to behave and to be considered, to seem like a slave. By a neutral, but defined half-sentence by the narrator we are informed: during the fifteen years of her marriage she became three times fatter than before. And later: she changed the three parts of the Bible to the trinity of soups, entrées and desserts. It is that we can see on the cover of Hungarian edition. She, of course, suffers after noticing her husband's new passion, his past fire towards her and the last fire in his life (via his nude portraits of the young Polish girl), but she can accept this affair, liaison, relation. She finds for herself a new position; she is able to have a look at the situation from different, changed points of view. She doesn't care about the official, conventional expectations: to feel ashamed, to feel cheated, to behave as a betrayed wife. She returns to her reading activity and keeps her intimate people around her in a changed role.

The main point that can be a basis for different, contradictory, opposed interpretations is exactly this one, this step, this shift in her behavior: the act of accepting the new set-up. The feminists hate her, judge her, Sonechka, convict her subservient behavior and consider the way of her description and her figure in the novel simply and obviously and unambiguously harmful and shameful. But Ulitzkaya just shows realistically what may happen to a woman who loses, gives up her integrity, her human pneumatic positions. She gives up talking about literature with her husband after his rude, arrogant, intolerant response concerning her naïve attraction to deep and emotional Russian literature. Her husband is more realistic, cynical and disappointed; he doesn't share her enthusiasm in connection with winning the war. She withdraws step by step, she does not participate in the discussions of husband and their daughter, her field remains just the kitchen (that is expressed, uttered, articulated downright directly by the narrator). Their relation, their opposition can symbolize the opposition of Russia and the Western world: the Russian, the so called narodnyik, nationalistic and zapadnyik, liberal position. Sonechka is the naïve, emotional, enthusiastic woman, and her husband is a strict, sarcastic intellectual person, who cannot be cheated by the power, the politics and not even by the lyrical nature of Russian literature. He gets, achieves the respect of their daughter, he gets the young lover and becomes filled by renewed artistic power as well, but he would be dead in one year, while Sonechka's life lasts 20 years longer.

We have had a marvelous contemporary writer in Hungary. She died seven years ago when she was 90, but she has been conceived and considered as a contemporary writer and an important, significant, appreciable author. She has been well known and accepted writer in Hungary and abroad as well. By following up the cultural news her appreciation in Hungary is obvious, but her work seems to be more and more acknowledged beyond this country. In our From Periphery – To Centre project [GILBERT 2006] culture-experts from different countries worldwide respond to Hungarian literature by theirs, just as unveil and verify how Magda Szabó has been integrated into their culture.

There are several authors who are more appreciated in somewhere abroad than at home. Our Sándor Márai became very famous in Western countries by the nov-

el *Embers* (in Hungarian: The candles flame to their stubs) that seems to be not so important and accepted in our country. (As a researcher of Russian literature I can say that there is a certain group of writers in Hungary, and the members of it are more accepted abroad than in their own country: and where for example Bulgakov and Ulitzkaya also belong to in Russia.)

Magda Szabó has been condemned to silence and not being published in the fifties. There are a few options for writers in autocratic systems: researching, translating and writing for children. Szabó did each of them. She became famous thanks to her novels for children and for the youth. Every Hungarian woman in my age and in elder and younger generations as well knows the so called „spotted” and „streaked” books for young ladies. This offers high value literature about family, girls, school-problems. This series represents the continuity between certain periods of time and history. Szabó’s novels are not didactic unlike some other pieces of this series. Our children get a picture about our childhood thanks to her novels for girls, and it can happen any time to any generation.

The most important novel from this circle is *Abigél*. There has been a good tv-series made from this novel, everybody knows it in Hungary. It is a book about school-problems, about love, about friendship and about the 2. World war – and in the middle, in the deep sphere, in the background, describing as a mystery, the saving process of Jewish pupils by some teachers of the school.

This plot is based on autobiographical sources. The authoress did the same in her life working just after her finishing university in two high schools of two southern Hungarian towns.

From the end of the fifties she could publish her works, poems and novels, and suddenly became extremely famous. The academic sphere, the critics considered her mainly as a bestseller’s writer. By her novel *The Door* (1987) she received the acceptance of professionals. This book also has an autobiographical root, base and background. The main character wears the same name like the authoress, she is obviously similar to the real person. Suchlike situations can be found in her other autobiographical novels, where she describes her childhood. Interestingly the represented facts of her life in every book are a little bit different, as an authoress she jokes, plays with us changing, shifting the border between reality and fiction. For example Szabó Magda often creates a girl’s figure that is blond, nice, soft, emotional, supports others, she is beautiful, modest, beloved by others. This role is played in her novels either by an adapted sister (from abroad due to political changes) or by a girl, a very good friend of her. Sometimes a boy appears too, her brother, from the 1st marriage of her mother, but in the other life-stories of her there is no notice about him at all. In some cases we can read about the asexual marriage of her parents, but not in every piece of this kind of books.

According to my interpretation the main result of Magda Szabó’s novels is the representation of that type of woman who holds her features, who self reflected, self-critical, who wants to harmonize her job, work and family and at the same time the close relationships.

Magda Szabó's works differ from other pieces of women's literature in Hungary and from Ulitzkaya's works as well. (Ulitzkaya shows various types of women and relationships, more than Magda Szabó does.) I examined with my students Hungarian female writers. There are collections from their texts: *Night zoopark* about the women's sexuality, *The thirsty oasis* about the body-consciousness of them, and there are two books about the relations with the fathers and with the mothers of the daughters. There are only a few stories where the heroine is happy – they have problems with the relationships, with themselves, they are sick, they are betrayed, cheated, they have just short-time adventures with their lovers abroad. As if the position of the woman in society beyond the family and love affairs still has not become a topic for the literature. This is the time of dealing aesthetically with sexual, emotional, physical problems and not yet with something else.

But Magda Szabó describes – or more punctually: mentions – in her works even these themes. The main character of her novel *Pilat* for example is a young lady doctor who, losing her father takes her mother to her place. From the village, and their family house to the city, to the flat in a multistoried big house – not even consulting with her. It has been a big social problem in reality: how to take care of the old parents, when the children work all day and live separately from the parents. In this case (in her novel) the old mother can't bear and stand the new place, and as she is not able to get acclimatized so becomes mentally and physically sick. In the end she commits suicide. In the other novel *Danaids* (there are very enigmatic titles of her novels, she often uses allusions from the mythology and Bible) a girl, who is a librarian has a chance to grow up, to develop intellectually. She is selected, invited to be an intellectual, deeply-wide-educated person, to belong to the progressive part of the intellectuals, due to a woman, to her boss, who is soon arrested in the plot of the novel. The girl wants to stand for her, to stick up for her, but she has not enough courage for this. She accepts and serves her husband who is a coward and stops her. She has no self-confidence and self-awareness at all, she is a victim of her own life, and she endures every humiliating act from the man even not understanding what her fault had been.

She is good, supporting the others person, woman, wife, friend, partner, lover, but the representatives of the other side, her partners just enjoy and accept her services but do not appreciate her, do not express her their gratitude, the words of acceptance and blessing, compliment, praise towards her. In the end, as the result of all of it she gives up her place to the others, does not stick up for herself and so loses herself. It is a kind of self-humiliation; she does not take responsibility for herself.

Her novel *The moment* is a very strange and unique piece of literature – a paraphrase, a transcription, a transformation of the Vergil's Aeneis. In this version the wife of Aeneas, Creusa plays the role, function of her husband. (She kills him noticing that he was going to kill her – he would like to occupy and conquest Carthage and establish the new Troy without a wife from the old life of him.) Creusa in this new scene behaves as if she was a man, Aeneas, her husband – in a woman's body (due to the gods' intention). This novel is a strange, unique, sad, funny,

grotesque vision about women's destiny, mission, hard life, and life's problems: being a strong person, achieving the goals in her life but being at the same time a weak woman, who should stay in the background.

The last piece of work from her oeuvre is a post mortal book, the strangest one I have ever read: *Liber mortis*. It is a diary, letters to her dead husband. Tibor Szobotka, a less-known Hungarian writer had been living in marriage with her for 36 years and died in 1983. Magda Szabó collected and published his works. She couldn't process neither the difference in their acceptance nor his death leaving herself alone. In these letters writing to the other world she prays him to come back, does not let him go away, asks his forgiveness because of her sin of omission, default: the lack of noticing (even by her) his works during his life.

In her novel *The Door* she describes the figure of an intelligent, educated woman with a carrier (based partly on autobiographical sources – but not the soft, kind, nice traditional girl-figure mentioned above). This set-up represents also a strange connection, friendship, fight and mutual attraction to each other of two totally different characters. One of them is the authoress; the other is her housekeeper. Through these women we can see how different people express themselves, how they react, respond to the other, how they hurt each other, save their independence, how they betray the other, and how they correct their faults, the sin, the wrong happenings. Through their relation we can see the communication with the "Other", and the chances to understand him/her via meeting their own inner self and sacrificing their own interests, ego penance, the destroyed steps, acts. The man's figure in the background is interesting too: he seems to be weak and strong at the same time. The women try to assist him, to fulfill his demands, to help him. He is not a main or an active, capable figure, he needs their support. The figure of the authoress needs support as well. She does not have really traditional female features: providing, supporting the family with her hands, being a housewife. The members of the couple are similar to each other; they have even the same profession: writers. Her careerism: being faithful to her work, following its drives destroys, disturbs – not her marriage but her loyalty towards the housekeeper. The housekeeper's role, function is more than having a job at their home. She regards the authoress as if she were her daughter and as her friend. She trusts her, Magduska, but Magduska couldn't be near her when she was ill and was in a defenseless situation. Magduska had an inner conflict: to travel to Greece to represent her country and herself as a famous writer – or to stay near the sick friend, who trusts her. She came up with a wrong, shameful, disgraceful solution: left Emerenc, the housekeeper alone, without helping her, and that is why strangers could enter her place and see her intimate world with many cats in her dirty room, in muck, since being sick she couldn't keep order in her flat any more. That was how Magduska betrayed her but after the incident she corrected the mistake: wrote a novel about it, asking for her forgiveness.

References

- GILBERT 2006: Gilbert V. E. (red.) Trends in World Literature from the Middle Decades of the Twentieth Century to the Present. *From Periphery to Centre*. Pécs.
- RJABOV 2007: Rjabov, O. V. Az orosz-német kapcsolatok az orosz és a német történetfilozófiában: a gender aspektus. Ford. Szálkai Mária. // *Örök női archetípusok*. Szerk. Jagusztin László, Fonalka Mária. Debrecen: DEENK Kossuth Egyetemi kiadó. (Az Orosz Posztmodern. Sorozatszerk. Hajnády Zoltán; 6.)
- УЛИЦКАЯ 2012: Улицкая, Л. Священный мусор. Москва: Астрель.

Резюме

Женские роли, судьбы и характеры в работах Людмилы Улицкой и Магды Сабо

Статья затрагивает тему женских типов, нарративы женской судьбы, типологии отношений между героями в произведениях Людмилы Улицкой и Магды Сабо. Изучающая творчество этих двух значительных писательниц мировой литературы работа раскрывает схожести и различия в своеобразностях письма двух авторов, в жанровом коде, видении мира, в самоопределении «женственности» текстов. В откровенно автобиографическом письме венгерской писательницы развитие сюжета основано преимущественно на бинарных оппозициях. Автобиографическое альтерэго и его женские «противники» присутствуют во всем творчестве, но с игривой композицией и референцией, созданной нарративно-поэтическими сдвигами.

Эгзистенциальная значимость согласно выбранной точке зрения – место, занимаемое в мире героинями-интеллектуалами из творческой интеллигенции.

У героинь русской писательницы труднее обнаружить автобиографические параллели, скорее это лишь схожие моменты, заметные в свете знания жизненного пути Л. Улицкой.

В произведениях Улицкой со временем как будто личность тона, приближает авторскую речь к обращению от первого лица и откровению. В ее работах вырисовывается разнообразие типажей, моделей, разнообразие жизненных путей, множество систем человеческих отношений. Ее герои происходят из разных культур, мест, из более широкого среза общества, включающего множество социальных слоев, чем герои венгерской писательницы, представляющей более замкнутый, однородный мир.

Этим трудом, освещающем творческий мир московской и дебrecенской писательниц, мне хотелось бы поздравить юбиляра, Золтана Хайнади, на своем рабочем пути много занимавшегося женскими архетипами.

**«КРОВАВЫЙ РАЗЛИВ»
ПОГРОМЫ 1905 ГОДА В РУССКО-ЕВРЕЙСКОЙ ПРОЗЕ**

HETÉNYI ZSUZSA

1905 год – большая цезура в русской истории, а большие исторические переломы современной эры неизбежно сопровождались волнами антисемитизма. В этом печальном факте играют роль психологические факторы, тесно связанные с политикой и другими сложными общественными процессами, научный анализ которых ставит задачи перед историками, социологами, статистиками, и выходит за рамки статьи. Здесь ограничиваюсь стереотипичными тезисами, потому что они вечны, что когда „сильные“ в конфликте или в беде, всегда бьют «слабых»; когда большинство ищет самоопределения, находит ее в демонстрации силы против меньшинства; и возрастающее недовольство социальных низов власть имущие направляют против козла отпущения, нередко – против оклеймованного слоя, объявленного инородцем, чужим в обществе.

Погромы 1905 года в русско-еврейской литературе прогремели громче, чем погромы 1881-82-ого годов, хотя именно более ранние погромы 1881-82-ого годов стали водоразделом в истории российского еврейства, после которого ассимиляция и диссимиляция резко разделились. И прогремели даже громче, чем кишиневский погром 1903 года, который вызвал всемирное эхо в прессе – но не в литературе. Причиной этого можно назвать не только тот факт, что погромы 1905 года были во многом отношении «первыми» и «самыми»: было затронуто больше мест (660 населенных пунктов), впервые были массовые кровавые убийства, и было больше жертв (более 800).

В 1905 году русско-еврейская проза отозвалась на события погромов сразу, потому что первый шок писатели пережили уже два года раньше. Если попробовать представить себе, в какой последовательности письменные жанры реагируют на тот или иной общественный перелом, событие, кризис, даже поверхностным взглядом, очевидно, что первая реакция – журналистская, которая считает своей задачей передать информацию. Потом следует волна документализации – регистрация, сбор фактов. В более сложной и поэтому поздней художественной литературе сначала появляются эмоциональные стихи, а аналитическая проза и драма следуют только потом, когда в их распоряжении достаточно фактов и появляется дистанция для представления точек зрения.

В перспективе литературного анализа не излишне отметить заранее, что погромы были не последним событием, бросившим вызов искусству – если

можно выразиться с таким профессиональным цинизмом. Мои исследования доказали, что с точки зрения стратегии и приемов прозы литература о погромах оказалась генеральной репетицией к литературе о Шоа.

Как было сказано, сначала, в первое время, еще нет нужной исторической дистанции, литература желает выразить крик, адресованный ко всему миру о происшедшем и сохранить в памяти ужасы, чтобы нельзя было потом переписать историю. В литературе невозможно показать ужас через первичную хронику – жанр хроники принадлежит историографии. Художественная нарратива литературы требует установления дистанции, отстранения от предмета, опосредованности рассказчика, ни в коем случае не совпадающего с автором.

При анализе литературы о катастрофах, в свете вышесказанного, вырисовываются следующие амбивалентности, понимаемые здесь как основные тезисы проблематики.

При том, что самые сухие отчеты событий поражают – кажется, больше и сказать нельзя, мы теряем дар речи, нужно молчать, ибо слова уже не имеют первоначального значения или даже теряют смысл. А ведь литература состоит из письменной речи, строится из слов.

Этот парадокс литературы о погромах и о Катастрофе заключает в себе вторую проблему: художественная литература должна ограничить себя при передаче фактов, иначе говоря – не впадать в документальность.

Третьей проблемой является присутствие идейной «нагрузки». Любой, кто станет писать о катастрофах, чувствует ответственность и внутренний призыв написать так, чтобы вызвать шок, внушить читателю «ужас перед ужасами», и создать в нем убежденность, что подобное никогда не должно повториться. Эту неизбежную авторскую идею я называю «нагрузкой» потому, что любая литература с «сообщением» (*message*), любое произведение с маркированным агитационным содержанием или прямой воспитательной целью несет в себе опасность потерять в качестве или выйти за пределы художественной литературы в жанровом смысле (стать дневником, мемуарами), потерять в качестве – стать дидактичным или агитативным, или же впасть в другую крайность – стать сентиментальной.

Итак, русско-еврейская литература реагировала на погромы 1905 года более живо, чем в 1881–1882 годы: за прошедшее с тех пор более двадцати лет она к этому времени укрепилась и стала мощным телом внутри русскоязычной литературы, с которой она была связана уже более органично не только с точки зрения художественного влияния современных явлений (в первую очередь, символизма), но и с практической точки зрения публикаций. Погромы 1881–1882 года были описаны практически только Сергеем Ярошевским

(?–1907)¹ – его романы печатались только в русско-еврейском журнале *Восход* в отрывках в 1882 и 1883 гг., и его совершенно не знали русские читатели.²

Самые известные литературные реакции на кишиневский погром 1903 года были написаны на иврите или на идиш, см. напр. поэму «Бе-‘ир ха-харега» («В городе резни? Убийства?»), или неевреями (напр. Л. Толстой, В. Короленко «Дом номер 13»).

Произведения, рассматриваемые ниже, были написаны в 1906 году и вышли в том же, или в последующем 1907 году. К этому времени русско-еврейские писатели печатались не только в еврейских журналах, но и в русских – они достигли таким образом более широкого круга читателей (Ан-ский напр. публиковался в «Новых Вестниках»). Нужно назвать еще и в первую очередь «Знание» М. Горького – «Сердце Бытия» Д. Айзмана, № 16 за 1907; «Октябрь 1905» А. Кипена в № 11 за 1911 год.

Если исходить при анализе из методов, употребленных уже у Ярошевского, по стилю несомненного реалиста, то сразу обнаруживается, как документализм разрушает художественную ценность. Его произведения представляют собой достоверную и интересную картину «того времени» – показывают, как евреи создают организацию для эмиграции в Палестину при помощи правительства, и как сами же евреи крадут деньги из этого еврейского фонда. Его типические герои действуют правдоподобно в типичных ситуациях, и встает вопрос: описывать и отражать, или же создавать этих героев? Что важнее для писателя, (1) его моральная обязанность прямо передать особый, специальный посыл, или (2) просто шокировать читателя эмоционально, или же (3) создать новый художественный язык в широком смысле слова, и интеллектуально-индиректными приемами передать целый комплекс или ареол образов.

Семен Ан-ский в своей повести «В новом русле», 1906 [в сборнике «Новые вестники», Спб, 1907] изображает два поколения в литовском городе. Революция 1905 года перестроила отношения отцов и сыновей, последние участвуют в рабочих группах и организациях, главным образом в Бунде; ходят на политические дискуссии и на демонстрации, даже дети играют в «бундистов», в «партии» и «эсеров». Старый переписчик Горы (отметим, что его профессия аллегорически выражает приверженность к традициям) не понимает молодых, среди них и своего сына, считает их «безбожниками», «безверными», и не одобряет их политическую активность. Но когда после по-

¹ О еврейских реакциях на погромы 1881/82 гг. См. Jonathan Frankel, *Prophecy and Politics. Socialism, Nationalism, and the Russian Jews, 1862-1917*. Cambridge University Press, 1984. Появлялись и статьи, и нужно упомянуть поэмы Симона Фруга о погромах.

² Ярошевский не имеет отдельной статьи в новой русскоязычной Еврейской Энциклопедии [т. 10, Jerusalem, 2001.] В старом «классическом» [издание Брокгауза-Эфрона, т. 16, Санкт-Петербург, 1908–1916] ему выделено 32 линии в узком столбце.

грома он узнает, что еврейская самооборона защитила в Гомеле синагогу от грабежа и даже многие погибли на пороге синагоги, он вдруг смотрит на них иными глазами. В этой ситуации мастерски сопоставлены такие экзистенциальные категории как активность и пассивность, физическое действие «снаружи», на улице, и процесс письма «внутри», в закрытом пространстве дома или синагоги. Первое – актуально связанное с политической ситуацией, кратковременное, с моментальной смертью в конце, а последнее, переписывание священных текстов, практикуется на протяжении всей жизни, переходя в образ жизни, в ее рамки. А если рассматривать эти процессы не во временных рамках человеческой жизни, а по содержанию, то связь с традициями расширяет эти временные рамки на всю историю еврейства и человечества, описанную в Торе, через которую или посредством которой находят друг друга два поколения и осуществляется их взаимопонимание. В представлении Ан-ского старшее поколение вдруг понимает и принимает молодых. Но в совпадении намерений двух поколений он выражает то национальное единство, которое существовало только в его желаниях, и поэтому его рассказ несколько идеологичен. В действительности же революционная деятельность возражающих поколений рассматривалась ортодоксами, жившими согласно традиции как отход от религии, чем она была и на самом деле – не только потому, что молодые под влиянием социалистических идей отвернулись от иудаизма, но и потому, что физическое сопротивление (которое вызывал в них страх), было чуждо иудаизму (что и стало одной из причин последующих трагических событий в XX веке).

Следовательно, для Ан-ского проблематика погромов предстает в первую очередь как проблема внутри иудаизма, и поэтому он показывает их в структуре конфликта поколений, «отцов и детей». В этом его подход исключительно современен – он никак не анализирует «другую сторону», врагов: в каких обстоятельствах и по каким причинам погромы начались и происходили, не описывает события. Он считает, что антисемитизм является не проблемой евреев, а нападающей «другой стороны», а именно окружающего общества. Что касается евреев, нужно понять, что происходит внутри еврейства, в его духовной и социальной жизни, и какие последствия погромов нужно учитывать для еврейского будущего.

Александра Кипена современники считали «бытописателем». Аркадий Горнфельд утверждает, что главным писательским достоинством Кипена является «самоограничение». «Он берет небольшой, но особый мирок, хорошо ему знакомый, и видит сквозь него целый мир, и умеет показать этот мир читателю» [ГОРНФЕЛЬД 1912: 68]. Кипен на самом деле соблюдает авторскую дистанцию и – подобно Ярошевскому – никогда не вмешивается в свои произведения авторским голосом или идеологией. Он передает свою позицию, или, правильнее сказать, свои мысли (он вовсе не дидактичен) в реалистическом стиле приемом близкого взгляда на микрокосм явлений.

Его взгляды же и мировоззрения в жизни привели его к социалистическому и народническому кругу своего времени. Он был наследником Ярошевского и в том несчастном совпадении, что он тоже вынужден был начать свое творчество с описаний погромов.

Его произведение «В октябре, 1905» (дата является частью названия, год публикации: 1906) раскрывает свою сущность, метод описания фактов уже в сухом названии, указании даты. Разнообразные герои Кипена появляются сначала в круговороте рабочего движения, на стачках, собраниях, в спорах, и их слова потом проверяются на деле как на экзамене, в погромах. Революционная романтика охватывает главы, которые похожи на описания баррикад у Виктора Гюго в его романе о парижской коммуне. На этих «балликардах», как говорят одесские дети в романе, создан автором и потомок Гавроша, один мальчик героически погибает. Погибает и русский революционер, защищающий евреев. Их совместные похороны дают опять повод для демонстраций, речей и столкновений с полицией. Действие развивается бурно, Кипен употребляет короткие, даже эллиптические конструкции, его диалоги похожи на перестрелки, чем достигается кинематографический эффект.

«В октябре, 1905» не сосредотачивается сразу и полностью на погромах, которые разразились и на самом деле в таком хронологическом порядке, как у Кипена: сначала были стачки, они превратились в восстание, которые подняли антисемитские действия.

Начало погрома и манипуляции властей передается в прозрачной схеме-формуле фальшивой и ложной, но неотвратимой логики. В то время как в 19 веке погромы начались в дни религиозных праздников Пасхи, современные погромы 20 века оторвались от этого сценария нетерпимости с элементами антииудаизма, и превратились в продукт современного антисемитизма. Во время восстания распространяются слухи, что сами евреи подняли бунт и организуют восстание или революцию, потому что хотят создать республику, «еврейское царство». От этого и от них надо защитить «нашего царя», «нашу родину», где евреи являются инородными пришельцами. Из этого «логично» вытекает, что – как слухи передают – полиция получила тайный приказ не вмешиваться и не защищать евреев, ведь евреи якобы разорвали образ царя. (В повести Кипена полицмейстер города разжигает людей на погром тем, что обходит улицы и вместе с иконами носит образ царя, заранее порванный и загрязненный им же). Согласно официальному мнению в итоге и собственного погрома нет и не было, ведь это только люди защищают свой город от евреев.

В конце повести Кипена выживают только отрицательные персонажи и трусы, и в этом он тоже следует примеру Ярошевского, у которого счастливая концовка выпала участью для подлецов. Среди героев Кипена наблюдается следующая панорама личностей:

1. дворянского происхождения Литягин, который сочувствует евреям;
2. Давид Фаст, крещенный еврей, который в принципе сочувствует революционерам, но когда масса угрожает ему, он охотно начинает креститься;

а когда его экипаж остановлен погромщиками, готов повторять все, что они требуют, включая грубые проклятия на евреев.

Они оба выживают.

3. У Кипена (как и у Ярошевского) погибает русский студент, защищающий еврейских мещан.³ Картина осложняется тем, что эти же мещане нападают на еврейских революционеров со словами: «Вы хотели свободы? Вот вам свобода!» [КИПЕН 1928: 96]

4. Если еврейский обыватель враждебен к революционерам (которые стараются помогать им), то религиозные евреи тем более отграничиваются от них, ссылаясь в том числе на то, что евреи не могут бороться вместе с неевреями за общее дело.

5. Одним из главных героев повести ассимилированный еврейский интеллигент Найдич, которого до того поражают погромы, что он постепенно меняет свою позицию и возвращается к своему народу. В его имени чувствуется оттенок говорящего имени: это он нашел верный путь. Его «предшественником» можно назвать Адольфа Ватмана у Ярошевского [«Разные течения», *Восход* 1882. 7–8.; «В водовороте», *Восход* 1883; 9–10]. Найдич размышляет о том, что он не знает и не очень любит свой народ, который сейчас снова становятся жертвой, а именно жертвой в руках того русского народа, за который он, передовой интеллигент, готов был погибнуть в революции [КИПЕН 1928: 97]. Ему кажется в бреду, что скоро умрет кровавой смертью, в заточении, что скоро и исполняется.

Кипен противопоставляет Найдича Фасту, выкресту, который в начале повести согласен с ним во всем. Они, ассимилированный еврей и выкрест тогда еще, кажется, находятся в близкой друг другу ситуации, их мнения совпадают – оба отошли от еврейства. Фаст выкрестился не по убеждению, а в надежде более легкой жизни. Существенную разницу, водораздел между ними показывают погромы. Кипен подчеркивает, что отошедший от иудаизма может найти путь возвращения, не обязательно в иудаизм, но к своему народу, и скорее вернется тот, кто сделал этот выбор интеллектуальным путем, и не сменил религию. Это возвращение показано в аллегорической сцене, где Найдич в белом шарфе пробивает себе дорогу через шеренгу казаков на другую сторону улицы, где бьют евреев. В последующем быстром диалоге же с Фастом показано, что выкресты оставили свой народ навсегда.

Еврейский «ангажман», приверженность Кипена выражена им в более патетической сцене, в бет мидраш (дом молитвы), где тон другой, но инсценировка такая же напряженная и лишняя авторского идейного вмешательства, как всегда у Кипена. Крестьяне-погромщики врываются в молебню, но отшатываются при виде молящегося раввина. Они останавливаются и говорят:

³ Основано на реальном событии: в Керчи 31 июля патриотическая демонстрация (во главе с градоначальником) переросла в еврейский погром. Во время погрома по распоряжению градоначальника был обстрелян отряд самообороны; погибли два его бойца (один из них — русский гимназист П. Кирилленко).

«У каждого есть свой закон... Пусть молится... ну его к чорту...» [КИПЕН 1928: 140]. В этой сцене прямой, но комплексный посыл. Кипен показывает, что русский человек из народа, если его не науськивают, не видит врага в человеке другой религии. Следовательно, участие русских крестьян и мещан в погромах мотивировано не религиозной и не этнической враждебностью, а возможностью свободно, как бы при полицейской поддержке и с их позволения грабить. Науськивающие воспользовались возрастающим социальным и экономическим недовольством.

Пафос сцены выражает и ту мысль, что самоуверенность и достоинство религиозного еврея придает ему не только силу, но и защиту. Раввина в буквальном смысле сохраняет практикование еврейства, и демонстрирует это без страха, в самых трудных обстоятельствах. Этот же посыл сформулирован в рассказе «На перекрестке», 1909. Кипен изображает происшедшее настолько косвенно, что погром происходит только где-то далеко и доносится лишь его шум. Описаны те войска, которые на дальних от погрома улицах отдыхают, завтракают, ведут беседы, и не вмешиваются в события – не защищают евреев. Офицеры и солдаты являются представителями разных позиций. В конце рассказа появляется старик еврей в кафтане, который даже не думая, что опасно выйти на улицу, пересекает площадь по дороге на вечернюю молитву. «Куда прешь? Жидюга, сукин сын!» – обращается к нему испуганный солдат. На старика набегают сзади погромщики, а он поворачивается к ним лицом. Смущенные громилы сбивают с него только шапку и ермолку, и топчут ее ногами. Капитан останавливает громил и кричит на раввина, что опасно выходить. Старик поднимает ермолку. И продолжает свой путь.

«Куда вы идете к чертовой матери?»

Старик отвечает:

«Куда я иду? Я иду молиться. А вы куда идете, господин офицер? Я иду молиться. Куда же еще можно идти еврею? Молиться иду... К Богу! Но вы же совсем не туда идете... совсем не туда идете...»

И обращается к защищающим его солдатам:

«Кто идет молиться, ему не надо солдат» [EVREISKII 1909: 65–66].

В этом случае «идти куда-то» означает целеустремленность и направление жизни в экзистенциальном смысле. У Кипена опосредованные формы наррации, диалоги между офицерами, скрытое столкновение в них либералов и антисемитов столь же многозначны, как скрупулезное описание их внешности, точный психологизм описания их взглядов и жестов. Старый еврей, одетый в лохмотья, даже физически защищен своим моральным превосходством. Он пересекает площадь, разделяя шеренгу солдат и толпу погромщиков как будто он переходит через Красное Море сухим.

Кипен здесь как будто послушался умного совета и положительной критики А. Горнфельда, который считал, что в повести «В октябре, 1905» Кипен удачно «смешал два жанра, которые надо или соединить в творческом синте-

зе, или держать далеко друг от друга, он соединил художественный вымысел с протоколом». Горнфельд считает, что повесть Кипена – лучшее, что было написано о погромах, «его сцены яркие, живы и характерны, выдающееся свойство его дарования – художественный такт» [ГОРНФЕЛЬД 1912: 69].

Давид Айзман (1869–1922) попробовал писать о неопишемом, о погромах на двух разных голосах. «Сердце Бытия» – символистская психологическая камерная игра, «Кровавый разлив» – экспрессионистская эпическая панорама.

Действие первого происходит в больничной палате еврейской больницы. Павлюк, украинец-забияка привезен сюда, потому что был ранен в кабачной драке, его состояние все ухудшается, и от страха, что умрет, бормочет давно забытые молитвы, видит в бреде иконы и Бога. Он боится наказания на том свете, трусливо надеется на прощение. Когда он смотрит в окно, видит ворота больницы, ему мерещится, как будто ворота открываются под напором массы, как будто тысячи людей накопились во дворе без еды и воды, надеясь здесь спастись, как будто сотни трупов лежат вдоль аллеи, потому что негде их похоронить – и он знает, что это не бред, а воспоминание.

«... из всего прошлого ярче всего и чаще всего вставали в душе три дня. Как три змеи, были эти змеи, с глазами из огня, с языками из огня, рыдающие человеческими глазами и облитые человеческой кровью...» [АЙЗМАН 1911b: 64]

Когда ветер свистит, ему слышится, что плачут женщины и дети, стоящие над трупами. На соседней койке лежит безумный Мойсей с черной бородой, бывший учитель, который выпил соляной кислоты и перестал говорить, молчит.

«И не мог он [Павлюк] верить, что человек сидит здесь на койке, а казалось ему, что продолжение черной аллеи вошло сюда, и в ней, вместо деревьев, стоят черные гробы, и крайний гроб, самый черный и самый высокий, стал на койку и на койке ждет...» [АЙЗМАН 1911b: 56].

«Мойсей сидел потом на скамье, на солнце, довольно долго. Над ним тихо молились умиравшие листья, желтые и красные, они падали, угасшие, на него и около него, на землю, – и когда он вернулся в палату, большой, уже навеки умолкший, лист клена лежал на его волосах, светился блеском старого золота, и, пятиконечный, был как ночная звезда» [АЙЗМАН 1911b: 59].

Фигура Мойсея возвышена нимбом золотой звезды в самом начале, он появляется в черной краске страдания и золоте надежды еще до того, как читателю становится известна его судьба.

Мойсей не идет на Рош Хашана в молельню, и, оставаясь наедине с Павлюком, вдруг начинает говорить. Происходит не диалог, а параллельный монолог: Павлюк ищет утешения и успокоения, но Мойсей рассказывает, как убили его семью во время погрома, как была изнасилована его беременная дочь, и как отпилили ее же руку. Мойсей обращается к Павлюку за помощью,

он хочет убить страшное Сердце Бытия, которое «в краю краев» «всем двигает» и все зло в мире от него исходит: «и жизнь от него, и смерть от него, и радость, и боль, и стужа отчаяния, и пламя восторга...» [АЙЗМАН 1911b: 73–74]. «Человеку, навеки брошенному в черноту существования, проклятое Сердце Бытия швыряет охапку обманов» [АЙЗМАН 1911b: 76]. Сердце Бытия нужно разыскать и убить, а найти можно прилетев туда надув наволоку вздохами убитых детей... Когда Мойсей в бредовом рассказе упоминает о том, что все человечество в крови, Павлюк подхватывает это слово, думая, что разоблачен, и признается, что в дни октябрьского погрома изнасиловал еврейскую девочку и потом убил ее, и еще четверых. Убийца и жертва лежат рядом в больнице. Мойсею кажется на одно мгновение, что распознает в Павлюке убийцу своей дочери и всей своей семьи, но не думая о мести, только просит Павлюка о помощи в уничтожении Сердца Бытия.

После эмоциональной вершины, Айзман мог бы закончить рассказ смертью грешного человека, однако, он делает совсем другое, следуя примеру своих предшественников, которые не наказали в своих произведениях злых и не наградили добрых, чтобы не утешить, а разбудить своих читателей. Павлюк начинает выздоравливать, уже думает о женщинах, о кабаке и отомщении тем, кто избил его в пьяном состоянии. Когда же он покидает больницу, надевает свою окровавленную одежду, и угрожает Мойсею молчать о том, что он рассказал, дескать, все было неправдой, и никто же не поверит еврею, к тому же сумасшедшему, если он расскажет. Мойсей молча улыбается, потому что нашел наволоку, и вечером может полететь на ней, чтобы уничтожить Сердце Бытия. Такая концовка весьма проблематична с точки зрения исповедальной традиции в русской литературе.

Символ, который лежит в глубине бреда Мойсея, выражает иррационализм «появления» добра и зля в мире. Образ, созданный Айзманом, превращается в паукоподобное существо, которое управляет миром, похожим на мир Франца Кафки. Ответ на вечный вопрос (заданный уже Талмудистами): откуда Зло на земле, этот рассказ отсылает в сферу иррационального, оставляя вопрос без ответа.

Рассказ Айзмана расширяет и другие образы в мотивы и даже символы. Ворота больницы, тяжело открываемые, лежат границей между сумасшедшим и нормальным миром, и одновременно и мирами живых и мертвых, но не защищают, не разделяют, не вытесняют опасный внешний мир. Темная же фигура смерти у Айзмана появляется в облике обыкновенного человека, который обходит палаты и выбирает, кого брать. Айзман сводит вместе в одном закрытом пространстве палача и жертву, но не дает этой ситуации развиваться по закону ожидаемости, нет здесь ни разоблачения, ни мести, ни авторского наказания вроде смерти. Насилие и зло безмятежно продолжают расцветать в мире, в котором события идут дальше своим чередом, и это отсутствие решения провоцирующе вызывает травмирующий эффект.

В «Сердце Бытия» Айзман редуцировал пространство на палату, а время на несколько дней после, а не во время погрома, а в «Кровавом разливе»

(1906) он обращается к другим приемам, к экспрессионизму и «экстернальности», панорамности, использованных уже местами и Кипеном. Его типичные герои – брат и сестра из семьи провинциального дьякона. Слабовольный Пасхалов (с говорящим именем, выражающим миролюбивый, поэтому склонный к компромиссам характер) один из честных интеллигентов России, прошел уже каторгу на Колыме, работает врачом в больнице. Он поддерживает семью своего рано умершего бывшего одноклассника-еврея, Абрама с женой-инвалидом, сидящей в кресле на колесах, и их дочь, талантливую школьницу.

Айзману удастся через минимальное число действующих лиц дать социальную панораму. Любимый пациент Пасхалова, молодой русский парень, у кого нога еще в гипсе, снова ломает ногу, потому что бежит спасать курицу от собаки. Этот незначительный эпизод, показывающий его доброту, и создает резкий контраст в свете последующих событий. Когда начинается погром, этот добродушный парень отпрашивается из больницы, не хочет пропустить «забаву». Пасхалов подозревает, почему он хочет уехать, но не осмеливается говорить об этом, и отпускает его с разочарованным жестом руки. Встречает его в следующий раз у дома Абрама, где он с другими бывшими пациентами больницы грабит дом уже убитого Абрама. Айзман строит действие таким образом, чтобы читатель задал вопрос: а если бы Пасхалов не отпустил их из больницы? Погромы таким образом посредственно являются последствием и слабости, грешной слабости русской интеллигенции, не отвратившей беды, не защитившей либерально-демократические ценности против массовых инстинктов.

Кульминационной точкой повести является массовое убийство, которое вводится длинным описанием того, как Абрам с дочерью обходит бегом весь город в поисках защищенного места. Никто не согласен их приютить, и они возвращаются домой к матери-инвалиду. Погромщики врываются, Абрам свален на пол первым же ударом. Дочка бросается на помощь, но она отброшена на пол кухни. Айзман употребляет короткие, шокирующие предложения для описания невероятного явления, когда мать, как гора мяса, как Голем поднимается с кресла впервые после долгих лет, и идет на помощь своей дочери с ножом в ее мертвых пальцах.

«Она шла.

Она перешла уже всю комнату...

Но здесь летевший из кухни самовар ударил ее в живот.... /.../ она качнулась, и, как сброшенная с пьедестала бронза, рухнула у порога, на ноги неподвижного Абрама.

– Иду!.. — рычала она, сжимая в руке нож,– иду!

Но уже не шла.

Она лежала неподвижно, как огромный, тяжелый кул, свалившийся с воза, и захлебываясь, продолжала рычать:

– Бог, Бог! ...Где же ты, Бог!

И то, что делали с ее дочерью, совершалось в полуаршине от нее». [АЙЗМАН 11а: 200]

Последующая третья глава в четырех фразах описывает как будто спокойный, неподвижный и немой натюрморт, по форме противопоставленный поражающему содержанию ужаса, усиливающегося до невероятной силы удара последних слов.

«Толпа ушла.

В квартире стало совершенно тихо.

Абрам, почти совсем оголенный, брошен был на обнаженное тело дочери.

Хана лежала там же, где свалилась; и в рот ее вдавлена была отрезанная, залитая кровью, грудь девочки» [АЙЗМАН 11а: 200].

Пасхалов у Айзмана похож на Павла у Ярошевского («В водовороте») и на Литягина у Кипена («Октябрь 1905») в судьбе. Интеллигент бросается на помощь евреям и попадает под машину жестокого погрома по логике взбешенной толпы: раз он защищает их, он тоже должен быть евреем. Пасхалова кто-то в толпе распознает, врач отвезен в больницу, выживает, однако, теряет разум (как и мать в другом рассказе Айзмана, «Домой»).

Самые угнетающие места в этом рассказе главы без действия, где лихорадочные экспрессионистские предложения перемешиваются со скрупулезно-натуралистическими описаниями. Не только описание передвигается с места на место, но и ракурс описания меняется, и этим читателю передается дезориентирующая нервность суеты. Трагизм и восторженность переплетаются в ужасающем гротеске, которым передается настроение, охватывающее готовящуюся к погрому толпу, как будто это разрешенное убийство было праздником. Мужики приезжают из деревень на телегах, чтобы грабить, горожане добродушно предлагают им свой дом согласно традиционному славянскому гостеприимству. Люди соединены в ожидании кровопролития как трусливые звери в предчувствии дешевой добычи, говорит Айзман.

Шестая глава полностью посвящается психологии бегства – какие места могут остаться незаметными, как угадать логику врага, где найти убежище, где самое закрытое и узкое место – в щели под полом или над потолком, в ямах или крышах. Город превращается в ловушку. Негде прятаться, нет помощников и негде прятать вещи. Четырнадцатая глава на семи страницах беспощадно и сухо перечисляет послепогромные факты, как трупы жертв собраны и похоронены. Айзманом здесь управляет желание составить документ событий, ужасать и шокировать читателя другим приемом, чем в первых главах. Его риторические обороты прекрасно выдержаны на узкой тропе, которая избегает ловушку слишком громкого пафоса и сентиментальной ламентации.

Особенное значение приобретает в повести книга «Герои Греции», которую дочка Абрама получила в подарок за успеваемость от учителя религии в школе. Абрам не знает, куда же ее прятать, в конце концов прячет рядом

с молитвенником. Три цивилизации, три культуры – православное религиозное воспитание в школе, греческие герои классической европейской античности и молитвенная книга иудаизма, представляющие собой духовные ценности, красоту, культуру, эрудицию и образование, религию, веру и любовь, вдруг оказываются рядом в еврейском доме, жителей которого скоро убьют. Эти ценности должны были бы противодействовать убийству, но все «гуманное» бессильно перед разнузданным бушеванием животных инстинктов человека.

Литература

- АЙЗМАН 1911a: Айзман, Д. Кровавый разлив. // Собр. соч. т. 2.
АЙЗМАН 1911b: Айзман, Д. Сердце Бытия. // Собр. соч. т. 2, (без года изд.)
ГОРНФЕЛЬД 1912: Горнфельд, А. Одиннадцатый сборник Знания. // Горнфельд, А. О русских писателях. Т.1, Минувший век. Санкт-Петербург.
КИПЕН 1928: Кипен, А. В октябре, 1905 . Собрание сочинений, т. 2, 2-е изд. Москва – Ленинград: Земля и Фабрика.
EVREISKII MIR 1909
FRANKEL 1984: Frankel, J. Prophecy and Politics. Socialism, Nationalism, and the Russian Jews, 1862–1917. Cambridge: Cambridge University Press.

Abstract

«Кровавый разлив» Pogroms of 1905 in Russian-Jewish prose

In spite of the fact that the Kishinev-pogrom of 1903 raised a wide international echo, bigger than the in Russia, especially Kiev, the later found a much more significant reflection while the first got hardly any, and that only in Hebrew and Yiddish literature. The paper gives a comparative overview of texts written the same year of 1906 by Semyon Ansky, David Aizman and Aleksandr Kipen for finding an answer to the question what strategies of narration are able to fulfil the task of transmission of the after-terror shock and that of the message of "never-again" to the reader. Documentation, expressionism, reasoning, showing social problems that lead to the pogrom – sometimes at the same writer are some viable solutions that will be at hand when the Holocaust literature will need them again.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

**ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ СЛОВА КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ
В ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
(ЗАМЕТКИ К СЕМАНТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ НАЗВАНИЙ ПРАВОЙ
СТОРОНЫ, ВОСХОДЯЩИХ К И.-Е. *DEKS-)**

ЖИВКА КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА

0. Введение

Реконструкция первоначального значения слова, основанная на семантическом параллелизме (см. [СТАРИНИН 1955; ОТКУПЩИКОВ 1973: 74; БУНОН 1977: 62; НАВЛОВА́ 1979: 51; ТРУБАЧЕВ 1980: 5; АБАЕВ 1986: 22; ВАРБОТ 1986: 33; ВАРБОТ–ЖУРАВЛЕВ 1998; ЗАЛИЗНЯК 2001]), и только на нем, не предполагает единственность решения. Поэтому поиск дополнительных верифицирующих критериев, хотя и с более ограниченным применением, никогда не перестанет быть актуальным для этимологии. В настоящем исследовании остановимся на возможности учета так называемой «этимологической памяти», описанной некоторыми лингвистами как своеобразное оживление древних связей слов в их современном функционировании, но не получившей должного применения в этимологических исследованиях.

1. Этимологи об этимологической памяти

Впервые на взаимосвязь между этимологией слова и его употреблением в современных текстах обращает внимание В. И. АБАЕВ. Ученый отмечает, что семантика слова не только связывает его с определенным называемым объектом, но также содержит в себе и информацию о генезисе и взаимоотношениях значения с другими значениями языка, отражая определенную идеологию его носителей (аспект семантики, названный автором «идеологической семантикой»). Таким образом, одно и то же понятие в разных языках может оказаться связанным с разными представлениями. На примере понятия «богатства» автор показывает связь с «богом» в русском языке, с «днем», «светом» в осетинском и с «царской властью» в немецком [1934: 34]. В следующих своих работах В. И. АБАЕВ вводит понятие идеосемантики, которое считает близким понятию «внутренней формы» и для которого отмечает, что «это, в конечном счете, общественная идеология, выраженная в языке». Относительно идеосемантики слова автор считает, что она «раскрывается с одной стороны в том, с какими другими словами-понятиями оно мыслится или мыслилось как родственное, близкое, взаимозаменяемое; с другой сторо-

ны в том, каким другим словам-понятиям оно противопоставляется или противопоставлялось как антагонистическое, оппонирующее». На примере слов из разных языков этимолог показывает, что «даже весьма отдаленное идеосемантическое содержание речевых элементов может быть донесено до наших дней в виде еле уловимой оболочки смутных ассоциаций, окутывающих „сухое“ технизованное ядро значения», и эта незаметная в обыденной речи оболочка может быть «подхвачена и оживлена художником слова для целей поэтической выразительности и стилового колорита» [1948].

О. Н. Трубачев развивает далее идеи В. И. Абаева, называя оживление этимологических связей слов в особых случаях их употребления, в том числе и в поэтической речи, р е з т и м о л о г и з а ц и е й , их своеобразной этимологической памятью. По словам О. Н. ТРУБАЧЕВА, «знание эволюции значения небезразлично для понимания его нынешней природы и структуры... в противном случае проигрывает лингвистическая семантика» [1976: 148]. На примере названий торговли из разных языков этимолог показывает, что этимология слов предопределяет их стилистическое функционирование в современной речи: например, нем. *Handel*, связанное этимологически с *Hand* 'рука', *handeln* 'действовать', ассоциируется со сферой понятий «дело», «делка»; чешск. *obchod* с его прозрачной структурой (*ob-chod*, *obchoditi*) связывается с представлением об обращении; русск. (и славянское) *торг*, *торговля*, ассоциируемое с глагольным корнем **tъrgati*, тяготеет к понятийной сфере похищения [1976: 171].

2. Этимологическая память и синхронические семантические исследования

Подход учета древних связей слова для объяснения его современного функционирования стал часто применяться в современных исследованиях, в том числе и выполненных в парадигме антропоцентрического подхода. Об этимологической памяти слова, называемой еще «культурной памятью» или «когнитивной памятью», о смысловых характеристиках языкового знака, связанных с его исконным предназначением, национальным менталитетом и системой духовных ценностей носителей языка, и о роли этой памяти для объяснения современного употребления слов пишут Ю. Д. АПРЕСЯН, Е. С. ЯКОВЛЕВА, В. Н. ТЕЛИЯ, С. Г. ВОРКАЧЕВ, Г. В. КУСОВ, Е. А. ВОРКАЧЕВА, Д. О. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Э. ПИИРАЙНЕН, О. О. БОРИСКИНА и др. [АПРЕСЯН 1995, II: 170; ЯКОВЛЕВА 1998; ТЕЛИЯ 1996: 230; ВОРКАЧЕВ–КУСОВ 2000; ВОРКАЧЕВ–ВОРКАЧЕВА 2003; DOBROVOL'SKIJ–PIIRAINEN 2005; 2010; BORISKINA 2009]. А сам исследовательский подход объяснения современной семантики слов с учетом их исторического прошлого Е. С. ЯКОВЛЕВА называет методом «культурно-исторической диагностики» [1998: 43].

Этимологическую память, как проявление древних связей слова в его современном употреблении, можно объяснить и с позиций когнитивной лингвистики, согласно которой «когнитивные структуры, стоящие за языковыми структурами, принципиально нелинейны и при их языковом воплощении

требуют специальной „упаковки“, что предполагает эксплицитное выражение лишь некоторой части когнитивной структуры и имплицитное присутствие другой. Поэтому и «внутренняя форма единицы словаря, характеризующая способ номинации, оказывает влияние на собственно значение» [БАРАНОВ–ДОБРОВОЛЬСКИЙ 1997: 17]. По мнению А. Н. БАРАНОВА и Д. О. ДОБРОВОЛЬСКОГО, эта взаимосвязь обязательно проявляется для лексических единиц, мотивированных синхронно, т. е. с прозрачной внутренней формой [там же]. Можно ожидать, что, присутствуя сначала эксплицитно в семантике лексической единицы и накладывая ограничения на ее употребление, внутренняя форма и после деэтимологизации продолжит в известной мере проявляться в особенностях ее употребления. В исследованиях, проведенных на материале идиомов с гендерной семантикой, Д. О. Добровольский и Э. Пиирайнен показывают, что этимология может предопределять современное употребление устойчивых оборотов, хотя и, по мнению авторов, нельзя было бы утверждать, что такая предопределенность имеет обязательный характер [DOBROVOL'SKIJ–PIIRAINEN 2005; 2010].

3. Этимологическая память и семантическая реконструкция

По мнению О. Н. Трубачева, «оживление древних связей слов в современных текстах созвучно семантической реконструкции, на которую направлено этимологическое исследование» [1988: 200]. Следует признать, однако, что все еще не утвердилась практика вглядываться в современную семантику слова, в особенности его употребления для целей этимологизации. Можно увидеть известный парадокс в том, что на этимологическую память слова сначала обратили внимание этимологи, но ее учет нашел применение, прежде всего в работах исследователей современной семантики. Иными словами, на гипотезах о ненаблюдаемых, гипотетических древних взаимосвязях слов основываются выводы об их наблюдаемом настоящем, но не ищется связь в обратном направлении.

Но если современное употребление слова в какой-то мере является следствием его древних связей и первоначальной внутренней формы, то по легко наблюдаемым современным семантическим особенностям слова можно было бы судить о его семантических связях, уходящих в ненаблюдаемое прошлое. Только нужно определить, что в современном употреблении слова предопределено его этимологией, какие из его современных семантических связей и выражаемых значений можно трактовать как этимологическую память и какие являются следствием деэтимологизации и связанного с ней семантического развития или переосмысления вследствие так называемой «народной этимологии».

4. Конкретный случай: семантическая реконструкция и.-е. *deks- ‘правый’

Продemonстрируем возможность учета этимологической памяти в этимологическом исследовании¹ на примере индоевропейских названий правой стороны, восходящих к и.-е. основе *deks-. Этимологические исследования в большей степени сосредотачиваются на форме слова, нежели на его семантике, на его суффиксах, которые квалифицируются иногда и как расширители, и чаще всего не выясняют их словообразовательные значения.

4.1. Состояние исследований, полученные результаты

Этимологическое гнездо и.-е. *deks- ‘правый’

Индоевропейские названия правой стороны, возводимые к древней основе *deks-, представлены в широком круге индоевропейских языков. К данному этимологическому гнезду словари относят псл. *desnъ ‘правый’, имеющего наследников только в южнославянских языках (др.-болг. деснъ, болг. десен, макед. десен, серб., хорв. dèsnì, dèsan, словен. dèsn), лит. dēšinas ‘правый’, dešinē ‘правая рука’, гот. taihswa ‘правый’, др.-в.-нем. zes(a)wa ‘правая рука’, др.-инд. dáksina-, dakṣinā- ‘правый; южный; дельный, ловкий’, авест. dašina- ‘правый; юг’, др.-гр. δεξιτερός ‘правый’, δεξιός ‘правый; счастливый, удачный; ловкий, умный; учтивый, любезный’, δεξιά ‘правая рука’, δεξιτερή ‘правая рука’, лат. dexter ‘правый; ловкий, умелый; подходящий; благоприятный, счастливый’, др.-ирл. dess ‘правый; южный’, алб. djathë ‘правый’.

Некоторые этимологические словари не предлагают семантической реконструкции, а только возводят данные слова к и.-е. основе *deks-, от которой предполагают образование при помощи разных суффиксов [МЛАДЕНОВ 1941: 157–158; БЕР, I: 346; FRAENKEL 1962–1965, I: 91; МАУРНОВЕР 1992–2001: 690–691; OREL 1998: 67–68; DERKSEN 2008: 100–101].

Другие авторы усматривают связь с (или только осторожно, иногда довольно скептически, отсылают к) псл. *desiti, имеющего наследники только в южнославянских языках и чешском: др.-болг. десити ‘найти, встретить’, болг. диал. десим се ‘стоять прямо продолжительное время’, сербохорв. дѣсити ‘встретить’, дѣсити ‘застать, найти, встретить’, ‘попасть (напр. в цель)’, десити се ‘случаться, произойти’, ‘оказаться’, ‘встретиться’, диал. дѣшити ‘длиться, продолжаться, выносить, терпеть’, др.-чешск. poděsiti ‘догнать, достать’; с псл. *dositi с другой степенью вокализма: др.-болг. досити ‘найти’, др.-русск. досити ‘находить’, укр. судосітися ‘встретиться’, блр. судошáць ‘встречать’; с др.-гр. δέχομαι ‘принимать’, δέχομαι ‘принимать, получать’, лат. decet ‘подобает’, decens ‘приличный, подобающий, подходящий, пристойный’, decus ‘украшение, честь, слава, достоинство’, doceo ‘учить’,

¹ Таковую возможность мы применяли и относительно других слов в предыдущих своих работах (см. [КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2002; 2003; 2011: 121–129]).

др.-инд. *dākṣati* ‘удовлетворять, доставлять удовольствие’, *daśasyāti* ‘оказывать услуги, быть любезным’, авест. *dāšta-* ‘полученный’, хетт. *takk-* ‘быть похожим, подходить’, *taks-* ‘устраивать, приспособлять’ и др. [ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 1958, I: 182; WALDE 1910: 231, 223–224; VOISACQ 1916: 172–173, 177; WALDE–HOFFMANN 1938: 346–347, 230–231; HOFMANN 1974: 62, 63; РОКОРНЫ 1959–1969, I: 189–191; ERNOUT–MEILLET 2001: 171; ФАСМЕР 1986–1987, I: 505–507; FRISK 1960–1972, I: 366–367; 373–374; KLEIN 1966: 408–409, 438–439; CHANTRAINE 1968–1980, I: 263–264, 269; СКОК 1971–1974, I: 394–395; ЭССЯ, IV: 217–218; V: 82; SP, IV: 77–78, 74–76; DE VAAN 2008: 164, 168; ВЕЕКЕС–ВЕЕК 2009–2010: 316–317, 320–321]. Не может не произвести впечатления широкий диапазон выражаемых словами значений. Как отмечает Фасмер, «разница в значениях затруднительна» [ФАСМЕР 1986–1987, I: 506]. Относительно славянских слов некоторые авторы высказывают мнение, что их отнесение к данному этимологическому гнезду ненадежно [ВЕЕКЕС–ВЕЕК 2009–2010: 321].

*Семантическая реконструкция и.-е. корня *deǵ-*

Предположенная связь с перечисленными словами с признаковой семантикой явилась важным шагом к семантической реконструкции данного и.-е. названия правой стороны, хотя и не многие словари предлагают реконструкцию его первоначальной внутренней формы. Большинство авторов считает и.-е. **deǵ-* *s*-производным от и.-е. корня **deǵ-* (с древней апофонией **deǵ-* / **doǵ-*). Представленные в словарях гипотезы о первоначальном значении и.-е. корня **deǵ-* можно обобщить следующим образом:

а) Для некоторых авторов привлекательной оказалась идея Преллвитц насчет гр. *δέκομαι* о связи семантики слова с представлением о протянутых руках, чтобы поздравить, дать знак согласия или получить что-либо [WALDE 1910: 224; VOISACQ 1916: 173] Следуя этой идее А. Г. Преображенский восстанавливает для и.-е. корня **deǵ-* первоначальное значение ‘подавать, брать и отдавать распростертыми руками’ [ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 1958, I: 182], П. Скок – значение ‘взять рукой, принять, поздравить, все действия, которые выполняются рукой’ [СКОК 1971–1974, I: 395].

б) Многие гипотезы связаны с идеей, что исходным является значение ‘б р а т ь , п р и н и м а т ь’, от которого объясняют всю гамму значений цитированных выше слов с признаковой семантикой. А. Вальде реконструирует для и.-е. корня **deǵ-* значения ‘принимать, допускать; выглядеть хорошо’, а связывающим звеном считает значение ‘быть приемлемым, допустимым’ [WALDE 1910: 223, 224]. Ю. Покорный от значения ‘брать, принимать, поднимать’ допускает развитие значения ‘читать, оказывать честь’, а от значения ‘принимать, охотно воспринимать’ выводит значения ‘подходить, годиться, приличествовать, подовать; представлять в хорошем свете, учить’ [РОКОРНЫ 1959–1969, I: 190]. Точку зрения Ю. Покорного о семантическом развитии и.-е. корня **deǵ-* (находящегося в основе **deǵ-*) воспринимает и П. Я. Черных, который отмечает, что от значений корня ‘брать’, ‘поднимать’ развиты зна-

чения ‘читать’, ‘оказывать честь’ [I: 245]. В ЭССЯ тоже воспринята распространенная гипотеза о первоначальном значении ‘принимать и т.п.’, только не для и.-е. **dek-*, а для и.-е. **deks-*, в котором увиден и расширитель корня *-s-* [ЭССЯ, IV: 218, 219]. Беекес и ван Беек, реконструируя для цитированных греческих глаголов и.-е. этимон **dek-* со значением ‘брат, принимать’ (и древнюю вариативность **dek-* / **dok-*), отмечают, что гр. глагол *δέχομαι* ‘принимать’ мог первоначально иметь значение ‘считать что-либо подходящим’ [БЕЕКЕС–БЕЕК 2009–2010: 320–321], иными словами – приемлемым. Хофманн реконструирует для и.-е. **dek-* значения ‘брат, поднимать, принимать; приветствовать, приветствовать крепким рукопожатием’ [HOFMANN 1974: 62]. К и.-е. **dek-* со значением ‘брат’ возводит и.-е. название правой стороны **deks-* и У. Леманн, не приводя аргументов для этого, не указывая на возможную связь с цитированными выше глаголами, а только ссылаясь на Ю. Покорного [LENMANN 1986: 338–339, 343]. М. де Ваан на основании значения ‘принимать’, выражаемого др.-гр. *δέχομαι*, *δέχομαι*, допускает семантическое развитие: ‘принятый’ > ‘украшение’ > ‘достоинство’ [de VAAN 2008: 164]. Также и Е. Клайн для и.-е. **dek-*, **dok-* восстанавливает значения ‘брат, принимать; приемлемый, приличествующий, подобающий, хороший’ [KLEIN 1966: 438–439; 408–409]. В большей своей части гипотезы не подкрепляются доказательствами. Видно, что многие авторы допускают семантическое развитие ‘принимать’ > ‘приемлемый’ > ‘подходящий’.

в) Праславянский словарь под редакцией Фр. Славского не конкретизирует первоначальное значение и.-е. корня **dek-*, но для псл. **desiti* реконструирует семантическое развитие ‘приводить в порядок, налаживать, приспособлять, направлять’ > ‘достигать цель, наткнуться (на кого-либо, что-либо), встречать, находить’ и в качестве семантической параллели приводит гнездо глагола **goditi*, где тоже наблюдается развитие ‘налаживать, считаться (с кем-либо, чем-либо); соответственно, удачно’ > ‘наткнуться на (кого-либо, что-либо), находить’). Авторы словарной статьи отмечают, что такая реконструкция псл. **desiti* / **dositi* (каузальная форма) дает возможность отнести слово к и.-е. **dek-* и его наследникам в других и.-е. языках, которые тоже выражают значения ‘подобать, приличествовать, быть к лицу; почитать; удовлетворять и т.д.’ [SP, IV: 74–76].

*Реконструкция первоначальной внутренней формы названий правой стороны, восходящих к и.-е. *deks-*

Лишь немногие авторы, затрагивающие вопросы семантической реконструкции данных слов, высказывают мнение о первоначальной внутренней форме и.-е. названий правой стороны, восходящих к **deks-*.

а) А. Вальде отмечает, что правая сторона оказывается обозначенной, как «подходящая, хорошая, пригодная» сторона [WALDE 1910: 223]. Подобное мнение выражает и К. Штюбер, согласно которой и.-е. **deks-* могло представлять собой существительное *s-*основы **dekos* со значением ‘подобающий, правильный’ (цит. по [DE VAAN 2008: 168]). М. де

Ваан реконструирует для расширенного суффиксом **-ter-* и.-е. **deks-tero* значение ‘правый, сторона правой руки’, для и.-е. **deks-i(uo)-* – значение ‘правильный’, причем, по мнению автора, и.-е. слово **deksitero-* должно быть более поздним **-tero-*-дериватом, полученным от **deksiuo-* [DE VAAN 2008: 168]. Лат. *dexter* и др.-гр. *δεξιτερός* Е. Клайн считает образованными от и.-е. **dek-* ‘приемлемый, приличествующий, подобающий, хороший (< ‘брат, принимать’)’ при помощи компаративного суффикса *-ter-*, *-terus-*, соответственно *-τερος*, и первоначально обозначающими ‘находящийся с лучшей или более благоприятной стороны’. Таким образом, для **dexi-teros* ‘справа’ автор восстанавливает первоначальную внутреннюю форму ‘с подобающей, приличествующей, подходящей, годной стороны’. Относительно семантики лат. *dexter* Е. Клайн отмечает, что от значения ‘правый, по правую руку’ развито значение ‘умелый, ловкий, искусный, удобный, благоприятный, счастливый’ [KLEIN 1966: 438–439; 408–409].

Общей для цитированных мнений является точка зрения, что этимон исследуемого слова (или этимоны, если иметь в виду образования с разными суффиксами) первоначально связывался с представлением о правой стороне, обозначая ее как более правильную, подходящую сторону.

б) Иную точку зрения находим в Праславянском словаре под редакцией Фр. Славского, где отмечено, что значения ‘удобный; способный, ловкий’ (какие выражаются цитированными выше словами: латинскими, греческими, древнеиндийскими и т.д.) могли быть связывающим звеном с семантикой корня **dek-* [SP, IV: 78]. Если развить далее эту идею, можно сказать, что идет речь о том, что исследуемые слова первоначально связывались с правой рукой, характеризуя ее лучшую функциональность, ловкость, и имели первоначальную внутреннюю форму ‘ловкий, умелый’. Подобную точку зрения находим и в Лексиконе индогерманских глаголов, где для и.-е. **deks-* реконструировано значение ‘быть годным, дельным’ на основании сопоставления с др.-инд. *dāksati* ‘удовлетворять, доставлять удовольствие’ и др., но не приводятся доказательства для выбора именно этого значения в качестве исходного для и.-е. образования [LIV: 112].

в) О двух значениях наследников основы **deks-* пишет В. И. Абаев в Историко-этимологическом словаре осетинского языка, где отмечает, что это значения «с одной стороны, ‘правый’ (→ ‘правая рука’, ‘правая сторона’, ‘юг’), с другой – ‘искусный’, ‘удачный’, ‘благоприятный’ и пр». Автор отмечает также, что «‘правая сторона’ с давних пор ассоциируется со счастьем, удачей, искусством, а ‘левая’ – с несчастьем, неудачей, неловкостью (“правая рука“ = „искусная рука“)» [АБАЕВ 1958–1995, I: 360]. Не становится вполне ясной гипотеза о происхождении значения ‘правый’: является оно исходным по отношению к значению ‘искусный’ или, наоборот, является производным от него.

*Словообразование названий правой стороны, восходящих к и.-е. *deks-*

Как было уже отмечено, этимологические словари чаще всего выделяют суффиксы относимых к данному этимологическому гнезду слов, но редко конкретизируют их словообразовательные значения. Таким образом, в названиях правой стороны, восходящих к и.-е. *deks-, выделяются следующие суффиксы: *-uo- (в греческом, кельтских и германских названиях), *-ter- (в латинском и греческом), *-n- (в индо-иранских и балто-славянских названиях). О суффиксе *-uo- в словаре Ю. Покорного сказано, что, вероятно, это тот же самый суффикс, что и в названиях левой стороны (*lai-uos, *skai-uos) [POKORNY 1959–1969, I: 190].

Высказаны мнения и о дублетности некоторых и.-е. форм. По мнению Э. Бенвениста и.-е. *deks- и *dek- дублетные формы, аналогичные другим дублетным формам: *dems / *dem, *mēns / *mēn и это *-s имеет свою полную ступень в суффиксальном *-es: *deks и *dek-es- (лат. decus) [БЕНВЕНИСТ 1955: 94]. Беекес допускает дублетность и для и.-е. *deks и *deks-i ‘правый’ [БЕЕКЕС 1994]. Возможно, что вторая форма повлияна формами цитированных выше названий левой стороны (см. об этом [DE VAAN 2008: 168], где дана и ссылка на К. Штюбер). Иногда цитируется исследование Э. Бенвениста индоевропейского именного словообразования и принимается, что форма *dek-s-i представляла собой форму локатива со значением ‘направо’ (от *deks ‘быть годным, дельным’), от которой могут быть образованы прилагательные на *-no- (др.-инд. *dék s-i-no- > dákṣiṇa-), *-uo- (гот. taihswa), *-tero- (др.-гр. *deks-i-tero- > δεξι-τερος) – последняя форма компаративная [JACQUES 2013: 70]. Трактовку и.-е. *deksi как форму местного падежа с адвербиальной семантикой см. также в Словаре Фриска [FRISK 1960–1972, I: 374].

4.2. Дополнительные соображения

Широкое распространение наследников и.-е. *deks- наводит на мысль о его древнем происхождении как обозначение правой стороны. Т.е. это самое древнее из засвидетельствованных и.-е. названий правой стороны и нет сведений, чтобы оно вытеснило другое более древнее название с аналогической семантикой. Следовательно, слово должно иметь и подобающую для этого своего качества реконструкцию.

Если исследуемые слова характеризуются большой древностью, то при их этимолоизации следует учитывать фундаментальные особенности познания. Как показали многочисленные исследования, многие из которых выполнены в антропоцентрической исследовательской парадигме, познавательная деятельность человека в своих истоках опирается на первичный опыт, в котором важное место занимает строение человеческого тела. Ориентация в пространстве по линиям вверх–вниз, вперед–назад, налево–направо основана на асимметрии человеческого тела. Различение правой и левой стороны основано на осознании асимметрии рук: правая рука активная, более ловкая и сильная, чем левая. Иными словами, осознание разли-

чий по критерию «правый» / «левый» имеет физиологические основания (особенность, на которую впервые обратил внимание Я. Гримм – цит. по [ПРОСКУРИН 1990: 37]).

Осознание функциональной, физиологической несимметричности рук становится источником противоположного символического употребления их названий: «правый» > «благоприятный», «праведный», «небесный», «мужской», «хороший» и т.д. и «левый» > «неблагоприятный», «неправедный», «земной», «женский», «дурной» и т.д. [ГАМКРЕЛИДЗЕ–ИВАНОВ 1984: 784–786; ПРОСКУРИН 1990]. Впоследствии осознание символической функции названий рук, левой и правой, соответственно и сторон, становится источником для образования новых названий для их экспрессивного обозначения.

Следовательно, мотивирующий признак названия правой руки, может быть связан с физиологией руки, что является первичным аспектом осознания ее специфики, или с ее символикой, вторичным аспектом осознания ее специфических черт. Цитированные выше гипотезы о внутренней форме исследуемого и.-е. названия руки отражают обе модели ее названия: связанную с физиологией ('ловкий, умелый' > 'правая рука' > 'сторона правой руки') и с символикой ('подобный, правильный' > 'сторона правой руки').

И.-е. название правого **deks-*, как древнее название, в своей мотивированности должно было быть ориентировано на самые фундаментальные различия между правой и левой рукой, какими являются физиологические различия. Поэтому из рассмотренных выше гипотез наиболее вероятными становятся гипотезы, представленные в Праславянском словаре под редакцией Фр. Славского и Лексиконе индогерманских глаголов, связанные с представлением о ловкости, умелости, дельности. В таком случае и.-е. **deks-* первоначально должно было бы обозначать правую руку, а не сторону, как утверждают некоторые из цитированных выше источников. Метонимическим способом это название правой руки распространилось на правую сторону, потом на юг и далее метафорически стало связываться и с другими представлениями, связанными с символикой правой руки: о чем-либо благоприятном, положительном, о праведном, о мужестве и т.д.

Типологические параллели к этой гипотезе можно увидеть в таких наименованиях правой руки (стороны), как: др.-англ. *swiðra* 'правая рука' (букв. «сильнее», < *swið* 'сильный') (цит. по [ПРОСКУРИН 1990: 39–40]), болг. диал. *здравата* 'правая рука' (букв. «крепкая рука») [КИДРБЕ], *л'осна страна* 'правая сторона' (букв. «более удобная сторона»; диал. *л'осна* < *лесна* ж. р. 'удобный, легкий') [КАБАСАНОВ 1963: 100], *лесен* 'правый', *лесната ръка* 'правая рука' (цит. по [БЕР, III: 370]), где слово объяснено как полученное от *десен* под влиянием слова *ляв* или как описка, что менее вероятно; ср. с *лесен* 'удобный, легкий'). Ср. также с тюркской праформой **CAF*, которая связывается со значениями 'правый', 'прямой', 'правильный', 'истинный, действительный', 'верный, точный', 'счастливое предзнаменование', о связи между

которыми нет никаких сомнений, но выражает также и значение ‘здоровый’. В Этимологическом словаре тюркских языков тождественные формы, выражающие значения ‘правый’ и ‘здоровый’ представлены как омонимы, но цитированы и авторы, которые относят их к одному и тому же этимологическому гнезду. Дана ссылка также на мнение Дж. Клосона, который считает, что значение ‘правый’ (не левый) ‘получилось в результате «странной метафоризации (by a curious metaphor.)» значения ‘здоровый, неиспорченный’ [ЭСТЯ, VII: 141–146].

Гипотезе о физиологических основах мотивированности и.-е. **deks-* не противоречат и факты семантической структуры и употребления его наследников, которые можно было бы трактовать как своеобразную этимологическую память о мотивированности и ономазиологических связях древнего слова.

4.3. Факты этимологической памяти

а) Как этимологическую память о древних ономазиологических связях и.-е. **deks-*, об их древнем денотате, можно трактовать обозначение самой правой руки рядом наследников этой формы в разных и.-е. языках: ср. цитированные выше лит. *dešinẽ* ‘правая рука’, др.-в.-нем. *zes(a)wa* ‘правая рука’, др.-гр. *δεξιá* ‘правая рука’, *δεξιτερή* ‘правая рука’, а также лат. *dextera*, *dextra* ‘правая рука, десница’ [ДВОРЕЦКИЙ 1976: 321], словен. *désna* ‘правая рука’, сербохорв. *děsnā* ‘то же’, русск. *десная* ‘то же’ [ДАЛЬ 1903-1909, I: 1073], укр. *дєсна* ‘то же’ (цит. по [SP, IV: 77]), ирл. *deis* правая рука [EPIED: 336]. Отметим интересный факт, что в русском языке как субстантивированное обозначение правой руки употреблялось вытесненное уже словом *правый* регистрированное в Словаре Даля прилагательное ж.р. *десная*, но нет сведений о таком употреблении прилагательного *правый*.

б) Как этимологическую память о мотивирующем признаке и.-е. названия правой стороны **deks-* можно трактовать такие значения, выражаемые его континуантами, как: др.-инд. *dakṣiṇá-* ‘дельный, ловкий’, лат. *dexter* ‘ловкий, умелый, искусный; удобный’, *dextro tempore* ‘удобный случай’ [ДВОРЕЦКИЙ 1958: 321], др.-гр. *δεξιός* ‘ловкий’, *δεξιώς* ‘дельно; искусно, умело, ловко; удобно’ [ДВОРЕЦКИЙ 1958, I: 352], лит. *dešiniai* наречие ‘ловко; направо’ [LKŽ], осетинск. *dæsny*, *dæsni* ‘искусный; мастер’ [АБАЕВ 1958–1995, I: 359]. Эти значения тесно связаны с мотивирующим признаком данных названий правой стороны, сохраняя его в своем употреблении.

в) Своеобразное оживление мотивирующего признака исследуемого названия правой стороны наблюдается в таких современных выражениях, как болг. *дясна ръка* (букв. «правая рука») ‘о лучшем помощнике в работе’, лит. *dešinioji ranka* (букв. «правая рука») ‘то же’ и т.д. Уже неосознаваемый мотивирующий признак названия стал основанием для метафорического переноса на основании того же признака. В такой функции употребляются также названия правой стороны с иной мотивацией, связанной с символической

функцией правой руки, как, например, русск. *правая рука* 'о лучшем помощнике в работе', англ. *right-hand assistant* 'то же', в которых название правой стороны мотивировано признаком, связанным с символическим развитием понятия «правый». Поэтому данные примеры следует рассматривать как свидетельство о связи между понятием и его наиболее значимым признаком. Для понятия «правой руки» таким оказывается ее дельность, ловкость, сила. Именно такой признак следует искать в мотивации названия правой стороны, о котором есть основания полагать, что оно самое старое. Такие примеры свидетельствуют еще о том, что в представлении о «правом» существует и элемент сравнения: ср. «лучший помощник», а не просто «помощник». Такой вывод увеличивает вероятность того, чтобы в и.-е. названиях правой стороны, восходящих к **deks-*, были и суффиксы сравнительной степени или интенсификации (**-ter, *-ies*).

Отметим, что подобное употребление можно констатировать и относительно других названий правой стороны, для которых оно не связано с оживлением древних связей, а является следствием деэтимологизации. Среди них, однако, не наблюдается подобное обилие примеров. Ср., например, фр. *droit* 'правый' (< лат. *directus*) и *adroit* 'ловкий, меткий, умелый'; нем. *rechts* 'справа' и *die Rechte* 'правая рука' (< **rehtaz* 'прямой'). Мотивированность этих слов основана на символическом употреблении понятия «правый», но в их семантическом развитии проявляется осознание физиологических оснований представления о правой стороне.

4.4. Выводы относительно этимологии и.-е. названий, восходящих к **deks-*

Проведенное исследование, учитывающее семантический параллелизм, пространственное распространение названия и связанное с ним представление о времени возникновения, а также факты, которые можно интерпретировать как этимологическую память, дает возможность сделать следующие выводы:

Ввиду широкого распространения названия в разных группах и.-е. языков можно сделать вывод о его древности. Древность названия предполагает его мотивированность на основании самых ярких, самых значимых признаков обозначаемого понятия. Такими являются признаки, связанные с физиологическими основами различения признаков «левый» / «правый». Это признаки, характеризующие ловкость, дельность, умелость правой руки. Можно предположить, что и.-е. **deks-* и его производные сначала называли правую руку, характеризуя ее большую функциональность. Название правой руки стало ассоциироваться с правой стороной, а также с югом, который находился по правую сторону утром при наблюдении солнца. В связи с лучшей физиологической функциональностью правой руки были развиты и значения, связанные с ее символическими функциями. Предположенное развитие можно представить схематически следующим образом: 'ловкий, дельный' > 'правая рука' > 'правая сторона' > 'южный', 'благоприятный', 'счастливый' и т.д. Ср., например, с семантикой ирл. *deis* 'правая рука; правая сторона; благо-

приятная возможность' [ЕПЕД: 336], которая сохранила ступени предположенного семантического развития.

Поэтому названия правой руки, совпадающие формально с рассматриваемым названием правой стороны, не следовало бы рассматривать как дериваты по отношению к названию правой стороны, какими они представлены в некоторых этимологических словарях (см., например, [ВЕЕКЕС–ВЕЕК 2009–2010: 316]).

5. Заключение

Проведенное исследование подкрепило предварительную гипотезу, что учет функционирования слов в современных и засвидетельствованных старых текстах совместно с данными типологии может пролить свет на их семантическую реконструкцию. Необходим, однако, комплексный учет наблюдаемых фактов для того, чтобы было возможно правильно определить проявления этимологической памяти.

Литература

- АБАЕВ 1934: Абаев, В. И. Язык как идеология и язык как техника // Язык и мышление, II, Ленинград: Изд. АН СССР. 1934, 33–54.
- АБАЕВ 1948: Абаев, В. И. Понятие идеосемантики // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Т. XI. Вып. 1. Москва, 1948, 13–18.
- АБАЕВ 1986: Абаев, В. И. Как можно улучшить этимологические словари // Этимология 1984. Москва: «Наука», 7–27.
- АБАЕВ 1958–1995: Абаев, В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1–5. Ленинград–Москва.
- АПРЕСЯН 1995: Апресян, Ю. Д. Избранные труды. В 2-х томах. Москва: «Языки русской культуры».
- БАРАНОВ–ДОБРОВОЛЬСКИЙ 1997: Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Постулаты когнитивной семантики // Известия АН. Серия литературы и языка. 1997, т. 56, № 1, 11–21.
- БЕНВЕНИСТ 1955: Бенвенист, Э. Индоевропейское именно словообразование. Москва: «Иностранная литература».
- БЕР: Български етимологичен речник. София: Издателство на БАН, 1971–
- ВАРБОТ 1986: Варбот, Ж. Ж. О возможности реконструкции этимологического гнезда на семантических основаниях // Этимология 1984. Москва, 33–40.
- ВАРБОТ–ЖУРАВЛЕВ 1998: Варбот, Ж. Ж., Журавлев, А. Ф. Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической лексикологии. Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Этимология и история слов русского языка, 1998. Online: http://etymolog.ruslang.ru/doc/etymology_terms.pdf – дата доступа: 03.03.2014.
- ВОРКАЧЕВ–ВОРКАЧЕВА 2003: Воркачев, С. Г., Воркачева, Е. А. Концепт счастья в английском языке: значимостная составляющая // Массовая культура на рубеже XX–XI веков: Человек и его дискурс. Москва: «Азбуковник», 263–275.

- ВОРКАЧЕВ–КУСОВ 2000: Воркачев, С. Г., Кусов, Г. В. Концепт «оскорбление» и его этимологическая память // Теоретическая и прикладная лингвистика. Язык и социальная среда. Сборник научных трудов. Вып. 2. Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2000, 90–102.
- ГАМКРЕЛИЗДЕ–ИВАНОВ 1984: Гамкрелидзе, Т. В., Иванов, В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры (в двух частях). Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та.
- ДАЛЬ 1903-1909: Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I-IV. Под ред. И.А. Бодуэна де Куртенэ. СПб.
- ДВОРЕЦКИЙ 1976: Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь. 2-ое изд. Москва: «Русский язык».
- ЗАЛИЗНЯК 2001: Зализняк, А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект «Каталога семантических переходов» // Вопросы языкознания. №2, 13–25.
- КАБАСАНОВ 1963: С. Кабасанов. Един старинен български говор. Тихомирският говор. София.
- КИДРБЕ: Картотека на идеографския диалектен речник на българския език към СУ „св. Климент Охридски“.
- КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2002: Колева-Златева, Ж. К этимологии русск. *хороший* // МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале XXI века. Доклады и сообщения. В. Търново, 2002, 262–265.
- КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2003: Колева-Златева, Ж. За произхода на корена в *никна*, *надникна*, *заник* и др. (Етимологическата “памет” на думата като критерий в етимологичното изследване) // Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. София, 2003, 133–136.
- КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2011: Колева-Златева, Ж. Теоретични ракурси в етимологията. В. Търново, 2011.
- МЛАДЕНОВ 1941: Младенов, С. Етимологически и правописен речник на българския език. София.
- ОТКУПЩИКОВ 1973: Откупщиков, Ю. В. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии. Москва: «Просвещение».
- ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 1958: Преображенский, А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. I–II. 1. Москва, 1910–1914. – Репродуцировано с выпусков 1910–1914 годов и последнего выпуска 1949 г., АН СССР.
- ПРОСКУРИН 1990: Проскурин, С. Г. О значениях «правый – левый» в свете древнегерманской лингвокультурной традиции // Вопросы языкознания, 1990, №5, 37–49.
- СТАРИНИН 1955: Старинин, В. П. К вопросу о семантическом аспекте сравнительно-исторического метода (изосемантические ряды С. С. Майзея) // Советское востоковедение. 1955, № 4, 99–111.
- ТЕЛИЯ 1996: Телия, В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва: «Языки русской культуры».
- ТРУБАЧЕВ 1976: Трубачев, О. Н. Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. Москва. 1976, 147–179.
- ТРУБАЧЕВ 1980: Трубачев, О. Н. Реконструкция слов и их значений // Вопросы языкознания. №3, 3–14.
- ТРУБАЧЕВ 1988: Трубачев, О. Н. Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. Отв. ред. Н. З. Гаджиева. Москва: «Наука», 197–222.
- ФАСМЕР 1986–1987: Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. Москва.

- ЧЕРНЫХ 1999: Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. 13560 слов. 3-е издание, стереотипное. т. I. Москва: «Русский язык».
- ЭССЯ: Этимологический словарь славянских языков. Праoslavянский лексический фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. Москва, 1974–
- ЭСТЯ: Этимологический словарь тюркских языков. Отв. ред. Э.В. Севортян. Москва, 1974–.
- ЯКОВЛЕВА 1998: Яковлева, Е. С. О понятии «культурная память» в применении к семантике слова // Вопросы языкознания, № 3, 1998, 43–73.
- БЕЕКЕС–БЕЕК 2009–2010: Beekes, R. S. P., van Beek, L. Etymological Dictionary of Greek. Leiden Indo-European etymological dictionary series. vol. 10. Leiden, Boston: Brill.
- БЕЕКЕС 1994: Beekes, R. S. P. “Right”, “left” and “naked” in Proto-Indo European // Orbis. 37: 87–96.
- BOISACQ 1916: Boisacq, É. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Étudiée dans ses rapports avec les autres langues indo-européennes. Heidelberg: C. Winter; Paris: C. Klincksieck.
- BORISKINA 2009: Boriskina, O. O. A cryptotype approach to the study of metaphorical collocations in English // Proceedings of the Corpus Linguistics Conference, held at the University of Liverpool, UK, July 20-23 2009. Ed. M. Mahlberg, V. González-Díaz, C. Smith – Accessed 06.03.2014.
- BYNON 1977: Bynon, T. Historical Linguistics. Cambridge University Press.
- CHANTRAINE 1968–1980: Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Vol. I–IV. Paris: Klincksieck.
- DERKSEN 2008: Derksen, R. Etymological dictionary of the Slavic inherited lexicon. Leiden Indo-European etymological dictionary series. Leiden: Brill.
- DOBROVOL'SKIJ–PIIRAINEN 2005: Dobrovol'skij, D., Piirainen, E. Cognitive theory of metaphor and idiom analysis // Jezikoslovlje 6.1 (2005), 7-35
- DOBROVOL'SKIJ–PIIRAINEN 2010: Dobrovol'skij, D., Piirainen, E. Idioms: Motivation and Etymology // Yearbook of Phraseology. Ed. by K. Kuiper. Berlin, New York: De Gruyter Mouton, 73–96.
- EIPIED: Foclóir Póca. English-Irish/Irish-English Dictionary. Dublin: AN GÚM, 1995.
- ERNOUT–MEILLET 2001: Ernout, A., Meillet, A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. Retirage de la 4^e éd. augmentée d'additions et de corrections par J. André. Paris: Klincksieck.
- FRISK 1960–1972: Frisk, H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bde. I–III. Heidelberg: Winter.
- FRAENKEL: Fraenkel, E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. 2 Bde., Carl Winter, Heidelberg/Göttingen, 1962–1965.
- JACQUES 2013: Jacques, G. La racine * eh2- en sanskrit : vāma-, vāra-^o, vayati // Studia Etymologica Cracoviensia . Vol.18, 69–82.
- HAVLOVÁ 1979: Havlová, E. Zum Problem der Homonymie in der etymologischen Forschung // Zeitschrift für Slawistik, Bd. 24, Heft 1, 51–54.
- HOFMANN 1974: Hofmann, J. B. Ετυμολογικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής. (μετάφρ. Α. Δ. Παπανικολάου), Αθήναι.
- KLEIN 1966: Klein, E. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language. New York: Elsevier Publishing Company.
- LEHMANN 1986: Lehmann, W. P. A Gothic Etymological Dictionary, Leiden: Brill, 1986.
- LIV: Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen (2nd edition). Rix, Helmut (ed.). 2001. Wiesbaden: Reichert.

- LKŽ: Lietuvių kalbos žodynas. T. I–XX. Vilnius, 1941–2002, Online: <http://www.lkz.lt/dzl.php?1>, Accessed: April 19, 2008.
- MAYRHOFER 1992–2001: Mayrhofer, M. Etymologisches Wörterbuch des Altindiarischen. Bd. I–III. Heidelberg: C. Winter.
- OREL 1998: Orel, Vl. Albanian Etymological Dictionary, Leiden, Boston, Köln: Brill, 1998.
- POKORNY 1959–1969: J. Pokorny Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 2 Bde. Bern – München: Francke.
- SKOK 1971–1974: Skok, P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I–IV. Zagreb.
- SP: Słownik prasłowiański. Pod red. Fr. Sławskiego. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Wydawnictwo PAN, 1974–
- DE VAAN 2008: de Vaan, M. Etymological Dictionary of Latin and the other Italic languages. Leiden – Boston: Brill.
- WALDE 1910: Walde, A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 2. umgearb. Aufl. Heidelberg: Winter.
- WALDE–HOFFMANN 1938: Walde, A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3. Aufl., bearb. bei Johann B. B. Hoffmann. Heidelberg: Winter.

Abstract

“Etymological memory” as an Auxiliary Criterion in Etymological Research

On the Semantic Reconstruction of Lexical Units Originating from PIE **deks*

Recent investigations of lexical semantics have demonstrated that there are sufficient examples to show how “etymological memory” inherent in lexical units determines their behaviour in discourse to a certain extent. Therefore, clarifying the etymology of a given word or an idiom may have synchronic relevance. Such an approach, however, is not reversible – synchronic data cannot be used for the reconstruction of the semantic structure of etymons.

The aim of the present paper is to show that words can function in a way that can be assessed as a relic of their old motivational and onomasiological connections, which, together with facts of semantic parallelism, can shed light on their etymology. For this purpose, various hypotheses about the etymology of lexical units originating from PIE **deks* and denoting ‘the right side’ are evaluated, with a view to their synchronic semantic behaviour. Continuants of PIE **deks*- that denote the right hand and are metaphorically extended to express the meaning ‘a person who helps a lot in someone else’s work’, together with those which have developed the meaning ‘dexterous, skillful’, can be regarded as instances of “etymological memory”. In addition, they can also be used to corroborate the hypothesis about the “physiological” motivation of items with the original sense ‘dexterous, skillful’.

**О ТРЕХ РЕДКИХ ДИАЛЕКТИЗМАХ, ЛЕГШИХ В ОСНОВУ НЕКОТОРЫХ
РУССКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ**

AGYAGÁSI KLÁRA

0. Введение

Настоящая статья по теме является частью запланированного второго тома Этимологического словаря марийского языка¹, включающего русский и тюркский заимствованный запас слов марийского лексикона. Такой большой синтетизирующий труд в подготовительной фазе требует систематизации материала по различным точкам зрения. Начало исследования русских заимствований в марийском датируется с появления работ BERECZKI 1968 и САВАТКОВОЙ 1969; а после долгого перерыва были опубликованы мною:

– этимологический анализ русских заимствований, заимствованных непосредственным путем и отражающих различные диалектные особенности донорных форм [АДЯГАШИ 2004; АДЯГАШИ 2005а; 2008];

– слова, относящиеся к определенным лексическим группам диалектной лексики [АДЯГАШИ 2006; 2007];

– корпус русских заимствований, заимствование которых осуществилось опосредованным путем [АДЯГАШИ 1994; 2005б; 2012].

Во всех этих работах предметами исследования являлись лексические заимствования, когда заимствовались фонетический облик слова и значение одновременно методом кодокопирования.

Кодокопирование в широком смысле — это тот механизм, когда языковой код одного языка служит прототипом для другого языка, который копируется последним полностью или частично [JOHANSON 2002]. Теория и метод кодокопирования был разработан первично для описания заимствования нелексикальных особенностей языков, и частичная ее разновидность была характерна чаще всего для описания явлений грамматической интерференции. Заимствование лексических единиц является разновидностью кодокопирования, ведь любое слово конкретного языка представляет детали системы одновременно существующих в языке правил воспроизведения языка, то есть языкового кода: определенное количество исконных фонем, структурные правила их связывания, правила их морфонологического изменения, правила связанности очереди участвующих морфем, маркированность или немаркирован-

¹ Первый том, содержащий исконную лексику финно-угорского происхождения, только что появился в печати, см. BERECZKI–AGYAGÁSI–WINKLER 2013.

ность частеречной категории лексемы, семантическую характеристику и способность слова сочетаться с другими. (Именно такое понимание процесса заимствования объясняет, почему возможно заимствование грамматических элементов из одного языка в другой при интенсивных языковых контактах).

Ниже будут изучены три русских диалектизма, анализ которых освещает кроме фонетических особенностей процесса кодокопирования и интересные детали русского исторического словообразования и семантики.

1. Этимологический анализ слов

1.1. Мар. лит. чéня Г. уст. 'крещение (церковный обряд)' (МРСл)

Марийское слово встречается в горном наречии марийского языка, откуда оно распространилось в марийском литературном языке². Значение несомненно связывает это слово с русским *крещение*, но на первый взгляд трудно определить, является ли марийское слово лексической копией русского, а если да, тогда какой русский прототип копировался марийцами, и как этот прототип возник.

Русское *крещение* 'церковный праздник богоявления, крещение' является производным от праславянского глагола **krъstiti* (о глаголе подробнее см. ЭССЯ 13: 75–76), а глагол восходит к праславянскому корню **krъstъ*, который, по мнению Трубачева, в праславянском является заимствованием имени Христа из др.-в.-нем. (или гот.?) в докирилло-мефодиевское время в придунайских землях [ЭССЯ 13: 76]. Отглагольное существительное ('действие по глаголу крестити') как христианский термин впервые возникло в старославянском языке, (< **krъst-* + **-jenъj-*³ + *-e*), ср. *кръштеник* [MIKLOSCHICH 1862: 319]; *кръштеник* ~ *кръштеньк* [Х. Тот 1989: 23–24]. Но после принятия христианства в Киевской Руси, видимо, благодаря большой употребительности слова, уже в 11 веке появились восточнославянские фонетические варианты этого слова:

ВС_{диал.} **krъst-jenъj-e* > *кръщеньје*⁴ (зафиксированный на письме как *кръщенье*) и ВС_{диал.} **krъst-jenъj-e* > *кръщеньје*.

² Подробную этимологическую базу данных см. в Приложении.

³ ВАРБОТ (1969: 94) реконструирует этот суффикс как **-enъje*, но ее примеры, отражающие явление *l' epentheticum* в древнерусских отглагольных образованиях с губно-губными согласными (например *дупление*, *погубление*) подтверждают, что уместно реконструировать и вариант с начальным **j-* (**-jenъj-*), а конечный *-e* является окончанием.

⁴ В восточнославянском диалекте праславянского языка из праславянского сочетания **-stj-* в большинстве случаев развилось сочетание *-šč-*, (что обозначалось в древнерусских памятниках на письме буквой *-щ-*), и это *-šč-*, слилось позже в *-šš'-*. Но оно могло развиваться и по другому способу, сохраняя начальный *s-* сочетания, и осуществляя йотовую палатализацию **-stj-* по восточнославянской модели: **-stj-* > *-sč'-*.

Звуковой строй восточнославянских форм (ВС) дает возможность образования дальнейших фонетических вариантов в ходе изменения редуцированных гласных.

Слово содержит в обоих вариантах редуцированный гласный в первом слоге, и этот редуцированный, как ни странно, может иметь одновременно и сильную и слабую позицию, то есть впоследствии в древнерусском периоде две разные возможности конкретной фонетической реализации. Редуцированный гласный переднего ряда в первом слоге имеет сильную позицию, потому что он стоит возле ликвиды, и так, в процессе изменения редуцированных он имеет возможность стать гласным полного образования (е). Такой путь изменения показывает вариант *krъšč'ěnyje*: в большинстве говоров северного диалекта поздне-древнерусского языка из этой формы образовалась [*krěšč'ěnyje*], и эта форма стала позже нормативной и для литературного языка.

Но редуцированный гласный переднего ряда первого слога восточнославянского слова может иметь и слабую позицию, потому что в последующем слоге имеется гласный полного образования. (Такую же позицию имеет напряженный редуцированный предпоследнего слога). Если в конкретном местном варианте древнерусского языка реализуется этот сценарий, тогда к концу изменения слабых редуцированных гласные первого и предпоследнего слогов выпадают, вследствие чего в слове сокращается количество слогов: из четырехсложного слова получается двухсложное. В начале слова возникает труднопроизносимый комплекс согласных (*krsc'*), который в устной речи должен упрощаться. Этот второй путь изменения мог пройти восточнославянский диалектный вариант (ВС_{диал.}) **krъšč'ěnyje*:

ВС_{диал.} **krъsc'ěnyje* > др.русск./С.диал. **[krsc'ěnyje]*⁵ > [*sc'ěnyje*].

Правильность реконструкции этого варианта подтверждается письменным данным памятника Ефремовской кормчей (списка XIII-XIV в.) [ДРС 8: 52–53.]: в эпоху после падения редуцированных: там встречается форма **сценне**⁶.

Редкий русский диалектный архаизм [*sc'ěnyje*] уже мог служить прототипом для горного наречия марийского языка, в котором структурные нормы долго не позволяли начальное сочетание двух согласных⁷. Соответственно этому отношение русского прототипа и марийской копии представляется следующим образом:

русск./С. диал. [*sc'ěnyje*] → мар. диал./горн. **če-ńe* > *čėńä*. Слово могло попасть в марийский диалект между XVI–XVIII вв.

⁵ Предполагается одна из северных диалектных форм древнерусского языка, потому что в северном диалекте дифференцирующие признаки заударного гласного не изменялись.

⁶ В зафиксированной письменной форме наблюдается уже результат ассимиляции по способу образования начального сочетания согласных: *sc'-* > *sš-* > *šš'*.

⁷ Такая норма существовала с позднепрамарийского периода вплоть до XVIII в., о чем свидетельствуют данные самых ранних письменных памятников марийского языка.

1.2. Мар. лит. *чывань* Г. 'чванливый' (МРСл); диал. W₁ (Kozmodemjansk) *čъва-ń* 'prahlerisch, hoffärtig; Prahlerei, Großtun' [MOISIO–SAARINEN 2008: 82].

Фонетический облик и лексическое значение марийского слова делает несомненным, что оно является русским заимствованием. Проблематичным оказывается только отношение прототипа и копии. Марийская форма слова указывает на русский *чвань* как на прототип, в то же время русский *чвань* может быть только существительным, а не прилагательным (см. базу данных). В русском языке, начиная с древнерусского периода, именные части речи (существительные и прилагательные) явно различаются друг от друга и формальными признаками⁸. Как это общеизвестно, грамматические окончания обеих частей речи способны передать значение рода, числа и падежа, только их парадигмы различаются (существительные имеют субстантивное склонение, а прилагательные — адъективное), а прилагательные в сочетании с существительными согласуются с последними в роде, числе и падеже. В марийском языке не имеются формальные показатели у непроемных слов отдельно для существительных и прилагательных, но их лексическое значение обычно определяет, к какой части речи слово относится. Всего лишь класс вещественных существительных обладает способностью иметь в корневой форме одновременно значение существительных и прилагательных [см. подробнее VERECZKI 2002: 59]. А отыменные прилагательные появляются в марийском как производные образования [см. VERECZKI 2002:175–188]. Марийские существительные не обладают категорией грамматического рода, но имеют число и падеж, а прилагательные в сочетании с существительными (в определительном обороте) грамматически не изменяются.

В русских диалектах имеются и производные лексемы изучаемого слова, которые проявляют все формальные показатели прилагательного (*чванный, чванливый*), но эти формы образованы не от мягкой, а от твердой основы. В этимологическом гнезде русского слова мягкая основа имеется только у глагола *чванить* и отвлеченного существительного *чвань*, но они тоже не могли служить прототипом для марийской формы из-за частеречной несовместимости двух слов.

Такое положение делает необходимым поднять вопрос о хронологии заимствования. Можно ли аргументировать за такой период освоения русского слова марийским, когда носители горного наречия марийского языка уже обладали хотя бы самым простым (функциональным, миноритетным) типом русско-марийского билингвизма, (когда морфологическая структура русского слова могла осознаваться марийцами), или русское слово (прототип) фигурировало для марийского населения как единый звуковой комплекс со своей семантикой, без понимания его морфологического строя? В первом случае, предполагая миноритетный билингвизм, фонетическую реализацию русского слова в марийском можно было бы объяснить и аналогичным влиянием рус-

⁸ Началом русско-марийских языковых контактов определяется 15–16 в. по историческим и языковым причинам (VERECZKI 1968: 71–73; АДЯГАШИ 2004).

ского сложного суффикса *-нълив-ый* [см. подробнее ВАРБОТ 1969: 164] – который тоже образует прилагательные – правда, от глагольных основ. При освоении этого суффикса марийским компонент *-лив-ый* мог бы отпасть из-за его избыточного характера для языка-реципиента. В другом случае, если предполагается, что русское слово перешло в марийский как звуковой комплекс, изменение конечного слога русского прототипа следует объяснить внутренними изменениями марийского языка.

Для решения вопроса, какое из двух предположений является более возможным, исходным пунктом служат особенности заимствования марийских слов чувашским языком. Этимологический анализ этих слов показал, что в начале марийско-чувашских языковых контактов (то есть в ранне-среднечувашском периоде по тюркологической периодизации) прамарийский язык находился в процессе разъединения (XIII – середина XVI вв.⁹). В результате этого возникшие прото-восточный и прото-западный диалекты, хотя географически были отделены друг от друга, все же хранили структурные особенности существовавшего раньше единого прамарийского языка [см. подробнее AGYAGÁSI 2000: 161–165]. Одной из важнейших структурных норм прамарийского языка являлось то, что в начале слова могли существовать только слоги типа V-, CV-, или CVC-, но ни в коем случае CCV-¹⁰ или CCVC-. Второй прамарийской структурной нормой является полное отсутствие геминии согласных в корне и на стыке морфем. Наконец, двухсложное слово со вторым закрытым слогом в конце слова не мог иметь согласный *-j*. В прамарийском составе слов имелись только конечные сочетания типа **-jǝ*, ср. **kijǝ* 'liegen' [BERECZKI 1992. №. 62], **kujǝ* 'schaufeln' [BERECZKI 1992. №. 102], **lujǝ* 'Marder' [BERECZKI 1992. №. 164.], **šojǝ* 'beschatten' [BERECZKI 1992. №. 355]. В этих словах последний редуцированный к современному состоянию языка в разных наречиях или исчезли (см. примеры № 62, 102, 355), или перешли в гласный полного образования (см. примеры № 164, 355).

Все это значит, что имеем достаточную основу предполагать, что прототипом для марийского слова *čǝβa-n* могло служить русское прилагательное *чванный*. Русское слово могло попасть в горный диалект марийского языка, когда этот диалект географически уже отделился от единого прамарийского языка, но еще хранил структурные нормы последнего. Соответственно этому, русский начальный слог с структурой CCV- должен был преобразоваться в структуру CVCV-, так возникло в марийском из русского [čvan-] марийское [čǝβan-]. Так как геминия согласного *-n-* на стыке русского слова не соответствовало структурным нормам марийского, один *-n-* должен был отпасть.

⁹ Середина XVI в. соответствует времени взятия Казани русскими (1552 г.), после чего все народы Среднего Поволжья вошли в состав русского государства, и на этом условия для языковых контактов коренно изменились.

¹⁰ В этимологическом справочнике марийских слов прамарийского происхождения у Березки (BERECZKI 1992) ни одно из 492 слов не имеет прамарийскую начальную структуру CCV-.

А грамматическое окончание русского прилагательного *-ый* тоже не могло сохраниться, ведь слова в прамарийском не оканчивались на *-j*. Видимо, произошла метатеза в этом сочетании, и русское прилагательное подверглось следующему процессу фонетического и структурного преобразования: русск. [čvǎnnyj] → прото-западный/горн. диал. *čǎvanjǎ. Из сочетания *-nj- возник мягкий согласный *-ń*, а редуцированный в конце слова исчез. Реконструкция заимствования слов представляется следующим образом:

русск. [čvǎnnyj] → прото-западный/горн. диал. *čǎvanjǎ > горн. диал. čǎvań.

Такая реконструкция относит заимствование русского слова к самому началу русско-марийских контактов (середина XVI вв.)¹¹, что означает одновременно и то, что русское слово существовало на диалектном уровне намного раньше, чем впервые оно было зафиксировано письменно.

Правильность реконструкции подтверждают и другие параллели заимствования русских прилагательных горно-марийским диалектом: русск. [kámennyj] → горн.диал. kǎmǎni [САВАТКОВА 1969: 98], русск. [sitnyj] → горн.диал. sitne [САВАТКОВА 1969:115], только в этих словах к современному периоду конечный редуцированный не исчез, а перешел в гласный полного образования.

1.3. Мар. лит. *руста* 'рустовка, рустовик' (лубочный короб, набитый соломой, для процеживания пивного сусла) [МРСл]; диал. CŮ Ć *ruštà* 'eine Art Strohsieb, angebracht in einem Bastkorb, benützt beim Bierbrauen, Bierseiher'.

В этимологической литературе до сих пор неизвестны попытки объяснения происхождения марийского слова, имеющего разные фонетические варианты в литературном языке и диалектах. В то же время фонетическая близость марийской литературной формы со своим семантическим эквивалентом на русском языке дает мотивировку для объяснения ее происхождения на основании русского языка. Во первых, нужно представить исторические словообразовательные процессы русских слов, входящих в одно этимологическое гнездо с корнем *руст-*, а во вторых, указать на то, какой русский прототип и когда мог послужить источником марийского слова.

В русском литературном языке и в письменных памятниках русского языка древне- и среднерусского периода изучаемое слово не встречается. А в современных владими́ро-поволжских говорах северного диалекта русского языка находим формы *рустовик*, *рустовин* и *рустовка* [СРНГ 35: 273] в подобном значении с марийскими данными. Все три слова имеют похожую морфологическую структуру: выделяется в них производящая основа *руст-*, к которой присоединяются производные суффиксы *-ов+ик*, *-ов+ка* и *-ов+ин*. В производных суффиксах повторяющийся элемент *-ов-* по современному положению русского языкознания считается интерфиксом, не обладающим значением, служащий всего лишь для облегчения присоединения производ-

¹¹ В этот период в языковом контакте с марийцами участвовали разные говоры северного диалекта русского языка.

ных суффиксов к основе [см. подробнее ЗЕМСКАЯ 2009: 117–143]. Производные суффиксы *-овик*, *-овка* и *-овин* во всех перечисленных словах образуют имена со значением средства действия. В тех же самых владимиро-поволжских говорах, где были записаны производные варианты, существует и слово *руст* со значением 'ручеек, русло реки, ручья', 'сильное течение'.

Что касается происхождения слова *руст*, в литературе оно считается отглагольным существительным, образованным от праславянской глагольной основы **rus-* – не сохранившейся в современных славянских языках [ЧЕРНЫХ 1999/2: 128] – при помощи словообразующего суффикса **-t* с затемненным значением. Этот суффикс настолько редок, что ФАСМЕР [1987: 521] даже не берется за в его толкование. Праславянский глагол, по мнению ЧЕРНЫХ [ук. соч.], восходит к и.-е. глагольной базе **reu-*: **rou-*, от которого происходят русские глаголы *рыть* и *рвать*.

В русском языке от глагола **rus-* образовано существительное *рус-ло*, которое кроме литературного значения 'углубление, по которому течет река, ручей, поток; всякий поток жидкости по впадине, желобу', в пермском говоре северного диалекта и тверском говоре среднего диалекта имеет и значение 'пивное корыто, в которое спускается пиво'; 'колосники с соломой, сквозь кои спускается сусло пивное' [ДАЛЬ 4: 114–115].

Имеющиеся литературные и диалектные данные существительных *руст* и *русло* указывают на возможную семантику их вымершей глагольной основе как '*протекать'. От этой глагольной основы суффикс **-lo* образовал существительное со значением 'место действия'¹² (углубление в почве; желоб; пивное корыто), а суффикс **-t* — 'имя действия' (сильное течение)¹³. Производное существительное *руст* в последствии во владимиро-поволжском говоре северного диалекта могло развить вторичное метонимическое значение: '(сильное) течение' > 'место сильного течения (пивного сусла)' = 'колосники с соломой, сквозь чего спускается сусло пивное'¹⁴.

Изучая этимологию марийских *rusta*, *ruštà* и *rušte*, русским прототипом копирования этих слов предполагаем русский морфологический и семантический диалектный архаизм *rust* 'колосники с соломой, сквозь чего спускается сусло пивное'.

Фонетическая разница восточномарийских форм указывает на то, что во время заимствования русского слова два больших диалекта не только географически отделились друг от друга, но внутри восточного диалекта уже появились и региональные различия.

Этимологический анализ волжско-булгарских заимствований в марийском языке показывает, что после татарского нашествия, времени разъедине-

¹² Такое же значение обнаруживается в параллельном образовании *дуplo*.

¹³ Подобным образованием оказывается существительное *рост* от глагола *рос-ти*.

¹⁴ Таким образом в владимиро-поволжских говорах оба существительных (*руст* и *русло*) обладали тем же самым значением: 'колосники с соломой, сквозь чего спускается сусло пивное'.

ния прамарийского единства началось изменение *s в *š во всех фонетических положениях [см. подробнее RÄSÄNEN 1920: 26–28]. Это изменение охватило весь поздне-прамарийский языковой простор, и по мнению Березки, оно было в действии в говорах восточного диалекта до середины 16 века, а в западных – до конца 17 в. Самые ранние русские заимствования тоже показывают это изменение в топонимах и нарицательных именах [см. подробнее BERECZKI 1968: 71–73]. Диалектные формы *ruštà* и *rušte* заимствовались в центральных территориях лугового наречия, когда изменение *s в *š еще были в действии, а вариант *rusta* появился в восточных говорах после завершения изменения *s в *š.

Оформление конца слова в марийском тоже обращает на себя внимание. Здесь опять надо учитывать структурные нормы поздне-прамарийского языка, которые сохранились до вхождения марийского края в русское государство (середина 16 в.). Односложные прамарийские слова со структурой CVCC имелись не в большом количестве, и только определенные сочетания согласных участвовали в их конце: *-pš* [см. BERECZKI 1992 № 25, 172], *-ps* (там же № 348, 456), *-kš* (там же № 181, 252), *-ks* (там же № 186, 337, 364), *-šk* (там же № 199, 396), *-rt* (там же № 50), *-čk* (там же № 69), *-kt* (там же № 139). Но довольно большое количество прамарийских слов имело структуру CVCCš или VCCš. Следовательно, при раннем заимствовании русского слова русский прототип должен был подвергаться изменениям согласно структурным требованиям марийских слов, и таким образом конец слова с сочетанием *-st* в марийском должен был реализоваться как *-stV*. В луговом наречии восточного диалекта к концу слова прибавился гласный неопределенной артикуляции (*rušte*) по прамарийскому образцу, а в остальных местах появился гласный *-a*, что говорит о первом шаге преобразования оригинальных прамарийских структурных схем.

Соответственно вышесказанному, заимствование русского диалектного слова *rust* представляется следующим образом:

С/вл.пов. [*rust*] 'колосники с соломой, сквозь чего спускается сусли пивное'

→ восточный/бирский диал. > Ob₁ Ok Ms Mm₁ *rušta*, Ob₂ *rusta*,

→ центральный/луговой диал. > Мур *rušte*, CŮ Č *ruštà*.

2. Этимологическая база данных

1. Мар. лит. *чэня* Г. уст. 'крещение (церковный обряд)' [МРСл]; диал. KJ *čė-ńä* 'Fest der heiligen drei Könige, der Erscheinung Christu' [ВЕКЕ 9: 3052]; W₁ (Kozmodemjansk) *tšə-ńä* 'Dreikönigstag' [MOISIO–SAARINEN 2008: 82].

Русск. лит.: *крещение* 1. 'христианский обряд (таинство) принятия кого-н. в число верующих, приобщения к церкви'; 2. 'церковный праздник крещения Христа' (Ожегов 2008); русс. диал.: *крест* (С.в./Волог., Ветл., Вят.; Б.Ю./Смол.¹⁵) 'предмет религиозного культа' (СРНГ 15: 226); русс. ист.: *крещеник (кръщеник)* 1. 'действие по глаголу крестити' (Изб. Св. 1076 г.); 2. 'омовение, обмывание' (Мр. VII. 8. Четвероев. 1144 г.); 3. 'посвящение в духовный сан, рукоположение' (Ефр. Корм. 76. XII в.); 4. 'церковный праздник богоявления, крещение' (Гр. Дв. (доп.) 19. XV в.); *сщение* 'посвящение в духовный сан, рукоположение' (Ефр. Корм. 76. вариант XIII–XIV в.) [ДРС 8: 52–53.]. Слово является восточнославянским образованием от праславянского глагола **krъstiti* восходящего к **krъсть* [см. ЭССЯ 13: 76].

2. Мар. лит. *чывань* Г. 'чванливый' [МРСл]; диал. W₁ (Kozmodemjansk) *čəḃa-ń* 'prahlerisch, hoffärtig; Prahlerei, Großtun' [MOISIO–SAARINEN 2008: 82].

Русск. лит.: *чван* устар., простор. 'специфический человек, гордец'; *чванливый* 'склонный к чванству'; *чваниться* 'проявлять спесь, кичиться, важничать'. Впервые зафиксировано в 1731 г. [СлРЛЯ т.17: 803–804]. Русск. диал.: *чвань* 'гордость', *чванный* 'гордый' *чванливый* 'склонный ко чванству', *чванить* 'надмевать, делать надменным, спесивым, гордым' [ДАЛЬ 4: 585]. Происхождение слова спорное. Возможно, от звукоподражания, передающего болтовню. Другие объяснения сомнительны. [ФАСМЕР 1987/4: 321.]

3. Мар. лит. *руста* 'рустовка, рустовик' (лубочный короб, набитый соломой, для процеживания пивного сусла) [МРСл]; диал. CÜ Ć *ruštà* 'eine Art Strohsieb, angebracht in einem Bastkorb, benützt beim Bierbräuen, Bierseihen' [ВЕКЕ 6: 2136]; Ob₁ Ok Ms Mm₁ *rušta*, Ob₂ *rusta*, Mm₅ *rušta*, Mup *rušte* '(zum Herausfiltern der Bierwürze aus der Maische gemachte) Rinne (aus Lindenholz)' [MOISIO–SAARINEN 2008: 603].

Русск. лит.: *русло* 'углубление в почве, по которому течет водный поток' [ОЖЕГОВ 2008]; русс. диал.: *руст* 1. (С.вл.пов./Влад.) 'ручек, русло реки, ручья'; 2. (С.в./Волог., С.вл.пов./Яросл.) 'сильное течение' [СРНГ 35: 273]; *руст* (в выражении *рустом* 'руслom, ручьем, потоком, струей' [ДАЛЬ 4: 115]; *русло* (С.в./Перм.; СР.з./Тверь) 'пивное корыто' [ВОСТОКОВ 1852:193] 'колосники с соломой, сквозь кои спускается сусло пивное' [ДАЛЬ 4: 115]; *рустовик* 'русленник, сусляной спускник' [ДАЛЬ 4: 115]; *рустовин* (С.вл.пов./Нижегор.) 'небольшая бочка, кадка, в которой настаивается брага, а затем спускается

¹⁵ Систему сокращения диалектных собирательных пунктов см. АДЯГАШИ 2005б: 39–40, 63.

через отверстие в дне, неплотно заткнутое соломой' [СРНГ 35: 273]. Русск. ист.: русло 'сосуд с колосниками для процеживания сусла' [Кн. Пер. Нил. Столб. II. 44. 1647 г.] [ДРС 22: 259]. Слово восходит к праслав. глагольной основе **rus-* [ЧЕРНЫХ 1999/2: 128].

Источники

- ВОСТОКОВ 1852: Востоков, А. Х. (ред.) Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Имп. Академии наук. Санкт-Петербург.
- ДРС: Древнерусский словарь = Словарь русского языка XI–XVII вв. т. 1-. Москва: Наука.
- МРСЛ: Марийско-русский словарь. Отв. Ред. Б.А. Серебренников. Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Москва, 1956.
- ОЖЕГОВ 2008: Ожегов, С. И. Словарь русского языка. Под общей редакцией Л. И. Скворцова. 24-ое издание, испр., Москва: ОНИКС.
- СРНГ: Словарь русских народных говоров (Ред. Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов) 1. Ленинград: Наука.
- Х. ТОТ 1989: Х. Тот, И. (ред.), Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в. Том II. Szeged.
- ЭССЯ: Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. О.Н. Трубачева. Москва, 1974–.
- БЕКЕ1997–2001: Beke Ö. Mari nyelvjárás szótár (Tscheremissisches Dialektwörterbuch) 1-9. Hrsg. von János Pusztay. Savariae.
- МИКЛОСИЧ 1862: Miklosich, F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum: emendatum auctum. Vindobonae; www.archive.org/stream/lexiconpaleosl00miklgoog#page/n349/mode/2up
- МОИСИО–СААРИНЕН 2008: Moisio, A., Saarinen, S. Tscheremissisches Dialektwörterbuch. Suomalais-Ugrilainen Seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki.
- ФАСМЕР 1987: Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка I–IV. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. Издание второе, стереотипное. Москва: Прогресс.
- ЧЕРНЫХ 1999: Черных, П. Я., Историко-этимологический словарь современного русского языка в 2 томах. Москва: Русский язык.
- ДАЛЬ 1–4: В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка. С.-Петербург, Москва: Репринт, 1882.
- СЛРЛЯ: Словарь современного русского литературного т. 1–17, Москва–Ленинград: Наука.

Литература

- АДЯГАШИ 2004: Адягаши, К. Отражение северно-великорусской диалектной особенности «еканье» в русских заимствованиях марийского языка. // *Slavica* 33: 43–53.
- АДЯГАШИ 2005а: Адягаши, К. Отражение диалектных особенностей некоторых русских заимствований в марийском языке. // *Slavica* 34: 40–48.

- АДЯГАШИ 2005б: Адягаши, К. Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-Камского ареала. Часть I. Этимологический справочник. *Studies in Linguistics of the Volga-Region Vol. II*. Debrecen University Press, Debrecen.
- АДЯГАШИ 2006: Адягаши, К. Миконимы русского происхождения в лексическом составе марийского языка. // *Slavica* 35: 21–30.
- АДЯГАШИ 2007: Адягаши, К. Русские глагольные заимствования в лексическом составе марийского языка. // *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hung.* 52: 13–20.
- АДЯГАШИ 2008: Адягаши, К. Языки Волго-Камского языкового ареала как источник исследования русской исторической диалектологии. // *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hung.* 53: 267–274.
- ВАРБОТ 1969: Варбот, Ж. Ж.. Древнерусское именное словообразование. Москва: Наука.
- ЗЕМСКАЯ 2009: Земская Е. А., Современный русский язык. Словообразование. Учебное пособие. Москва: Флинта, Наука.
- САВАТКОВА 1969: Саваткова, А. А. Русские заимствования в марийском языке. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство.
- ФАСМЕР 1987: Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка I–IV. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. Издание второе, стереотипное. Москва: Прогресс.
- ЧЕРНЫХ 1999: Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка в 2 томах. Москва: Русский язык.
- AGYAGÁSI 1994: Agyagási, K. Weitere Beiträge zur Aufdeckung eines internationalen Wanderwortes (Das Wort 'Buch' im Wolgagebiet). *Bamberger Zentralasienstudien* (hrsg. von I. Baldauf, M. Friedrich). *Islamkundliche Untersuchungen*, Band 185. Berlin: Franz Steiner Verlag, 556–67.
- AGYAGÁSI 2000: Agyagási, K. Az átadó nyelvjárások kérdése a csuvas nyelv mari eredetű jövevényszó-állományában. // *Nyelvtudományi Közlemények* 97: 155–182.
- AGYAGÁSI 2012: Agyagási, K. Két orosz eredetű jövevényszó a Volga-Káma vidéki nyelvi areában. // *Legendák, kódexek, források. Tanulmányok a 80 esztendő H. Tót Imre tiszteletére. A SzTE Szláv Intézetének kiadványa. Szerk. Kocsis Mihály és Majoros Henrietta. Szeged*, 13–20.
- BERECZKI 1968: Berczki G. Wichtigere lautgeschichtliche Lehren der russischen Lehnwörter im Tscheremissischen. // *Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum Helsingae habitus* 23–28 VIII. 1965. Pars I. *Acta Linguistica*, Helsinki, Societas Fenno-Ugrica, pp. 70–78.
- BERECZKI 1992. Berczki, G. Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte II. *Studia Uralo-Altaica* 35. Szeged.
- BERECZKI 2002: Berczki, G. A cseremisiz nyelv történeti alaktana. // *Studies in Linguistics of the Volga-Region. Supplementum I*. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
- BERECZKI–AGYAGÁSI–WINKLER 2013: Berczki G. in Zusammenarbeit mit Agyagási, K. *Etymologisches Wörterbuch des Tscheremissischen (Mari)*. Hrsg. von K. Agyagási und E. Winkler. *Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica* Band 86. Harrassowitz, Wiesbaden.
- JOHANSON 2002: Johanson, L. *Structural Factors in Turkic Language Contact*. Curzon. Richmond, UK.
- RÄSÄNEN 1920: Räsänen, M. Die tschuwaschischen Lehnwörter im Tscheremissischen. *MSFOu* 48. Société Finno-Ougrienne, Helsinki.

Abstract**On Three Archaic Russian Dialectal Words Borrowed by the Mari Dialects**

The author aims to reconstruct the phonetic, morphological and semantic peculiarities of three Mari words borrowed from the North Russian dialects into Mari at different times. She has come to the following results:

1. Mari dial, *čėńä* 'Epiphany' goes back to Russian dial. *sčėńje*, which is a phonetic variant of Old Russian originating from **krьsčėnъje*. (This phonetic variant is preserved in a written document of the 14th century).

2. Mari dial, *čđwan* 'overweening' can be explained from Russian dial. *čvannyj*. The adaptation of the Russian adjective suffix *-yj* in the Mari recipient form followed the Proto-Mari structural norms valid in the 16th century: Russian *čvannyj* → **čđwanjđ* > *čđwan*.

3. Mari dial, *rušta* 'mash filter' is explained as the borrowing of the Russian noun *rust*. The word *rust* is a deverbal noun derived from an archaic Proto-Slavic verb **rus-* (< IEu **reu-*) with a very rare suffix *-t*. The reconstructed meaning of Proto-Slavic **rus-* is 'to flow'.

**ТРУД КАК АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА
В РЕЧЕВОМ ЖАНРЕ «ПОЗДРАВЛЕНИЕ»**

ВЕРА ЛЕДЕНЕВА

Антропоцентрическое направление современного отечественного языкознания исследует образ человека как главный фрагмент русской языковой картины мира, используя идеи, достижения и методы разных отраслей лингвистической мысли – системно-логической, когнитивистской, психологической, этнопсихологической, социологической и др. Изучение человека с позиций этих подходов отражено в исследованиях представителей Омской лингвоантропо-логической школы Н. Д. Федяевой, Л. Б. Никитиной, Н. В. Орловой, О. В. Коротун, С. В. Рассоловой и мн. др. Результаты этих работ, выполненных в разное время под руководством профессора М. П. Одинцовой, вошли в монографическое издание «Лингвистика человека: антология» [НИКИТИНА–ФЕДЯЕВА 2012].

Исследование языкового образа человека в одной из его важнейших составляющих – трудовой деятельности – опирается на понятие языковой картины мира. В американской лингвистике этот вопрос получил развитие в рамках этнолингвистики (Боас, Сепир, Уорф). Согласно гипотезе лингвистической относительности, сформулированной в 30-х годах прошлого века американскими учеными Сепиром и Уорфом, процессы восприятия и мышления обусловлены этноспецифическими особенностями структуры языка. Те или иные языковые конструкции приводят к созданию типичной картины мира, которая присуща носителям данного языка и которая выступает в качестве схемы для классификации индивидуального опыта. В славянских лингвистических школах вопрос о языковой картине мира остается одним из актуальных. Представитель польской этнолингвистики Е. Бартминьский отмечает, что главным (но не единственным) источником сведений о культуре признается естественный язык в его народно-разговорной, диалектной ипостаси, которому соответствует языковая картина мира. Последняя — это «совокупность суждений о свойствах и способах существования объектов внеязыковой действительности, суждений, в той или иной степени закрепленных в языке, заключенных в значениях слов или подразумеваемых этими значениями» [BARTMIŃSKI, TOKARSKI 1986: 72]. Кроме того, языковая картина мира представляет собой динамичную систему: в ней происходят изменения, обусловленные переосмыслением различных явлений действительности. Ярким примером этого является активный процесс метафоризации действи-

тельности (работы Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, М. Джонсона, Дж. Лакоффа, В. Н. Телия).

Многие современные отечественные исследования, проведенные в соответствии с представлениями о языковой картине мира, основываются на принципе антропоцентризма: для описания размера, формы, температуры, положения в пространстве, функции и других свойств объекта, язык в качестве точки отсчета использует человека. В зависимости от обстоятельств человек в языке фигурирует как субъект речи (говорящий), субъект сознания, эмоций, воли, восприятия и т.д. Ю. Д. Апресян в статье «Образ человека по данным языка» отмечает, что в русской языковой картине мира человек как деятельное существо выполняет три различных типа действий: физические, интеллектуальные и речевые [АПРЕСЯН 1995]. Каждому типу деятельности свойственны определенные состояния и реакции – восприятие, желания, знания, мнения, эмоции – все они образуют восемь систем, каждая из которых локализуется в соответствующем органе: физическое восприятие, физиологические состояния, интеллектуальная деятельность, эмоции, желания и т.д.

При моделировании языкового образа человека в различных его ипостасях и проявлениях исследователи все чаще обращаются к речевым жанрам, в которых этот образ наиболее полно себя выражает (работы Е. В. Лобковой, Ю. Ю. Литвиненко, Л. Б. Никитиной, Н. Д. Федяевой, Н. В. Орловой и др.). Такой подход позволяет учесть субъектно-объектную природу языкового образа человека. Опора на нелингвистический контекст (историко-культурные, психологические, социальные реалии, личностные особенности говорящих), в котором порождаются и функционируют языковые репрезентации человека, является условием максимально адекватного описания этого языкового образа-концепта. Кроме того, речевые жанры располагают своеобразным репертуаром аксиологических значений и средств их выражения, которые зависят от прагматических и стилежанрообразующих переменных.

В нашем исследовании мы описываем одну из главных составляющих образа человека – труд, которая в русском национальном сознании предстает как важная аксиологическая доминанта образа человека, наравне с такими его частями, как ум, душа, любовь и др.

Из всего многообразия речевых жанров (РЖ), в которых представлены высказывания о человеке трудящемся, на данном этапе нашего исследования мы остановились на РЖ «поздравление», поскольку в нем человек предстает в его отношении к труду и именно характеристика человека с точки зрения его профессиональной реализации выдвигается в этом речевом жанре на первый план.

В данной статье осуществляется семантическая реконструкция образа человека трудящегося в РЖ «поздравление».

В своем исследовании мы опираемся на теорию М. М. Бахтина и предложенный Т. В. Шмелевой перечень жанрообразующих категорий. М. М. Бахтин под речевыми жанрами понимает относительно устойчивые типы выска-

зываний, выработанные определенной сферой использования языка [БАХТИН 1979: 237]. Т. В. Шмелева выделяет ряд жанрообразующих признаков речевого жанра: коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, диктум, фактор прошлого, фактор будущего, формальная организация [ШМЕЛЕВА 1990: 4]. Названные категории фигурируют во многих исследованиях, связанных с проблемой речевых жанров: работы В. В. Дементьева, В. В. Фениной, Н. А. Безменовой, В. И. Герасимова, А. А. Акишиной, Н. И. Формановской.

Поздравление – это приветствие по какому-либо радостному, приятному и т.п. случаю. М. М. Бахтин относит поздравление к многообразным коротким бытовым жанрам, наравне с прощанием, пожеланием, осведомлением о здоровье, о делах и т. п. [БАХТИН 1979: 258]. Многообразие этих жанров, по мнению ученого, определяется тем, что они различны в зависимости от ситуации, от социального положения и личных взаимоотношений участников общения: имеются высокие, строго официальные, почтительные формы этих жанров наряду с формами фамильярными, притом разных степеней фамильярности, и формами интимными. Эти жанры требуют и определенного тона, то есть включают в свою структуру и определенную экспрессивную интонацию.

Нами проанализированы тексты поздравлений официально-делового дискурса: 1. опубликованные на сайте Президента РФ kremlin.ru поздравительные тексты (раздел «Телеграммы. Поздравления»); 2. тексты корпоративных поздравлений различных организаций города Омска (в частности, проектных институтов «Омскгражданпроект», «Омэнергпром», «Мостовик»). Все эти поздравления были получены адресатами в письменной форме (открытки, телеграммы, поздравительные письма, опубликованные на сайтах организаций) в день торжественного события.

На основе собранного нами языкового материала мы можем говорить о наличии в РЖ «поздравление» образа автора, который представлен в текстах как реальным физическим лицом (президент РФ В. В. Путин), так и юридическими лицами (проектные институты города Омска «Омскгражданпроект», «Омэнергпром», «Мостовик»). Ключевыми характеристиками образа автора являются обязательства, высокая информированность, авторитет, торжественность. Официальные поздравления являются частью обязательств, которые несет руководитель перед своими подчиненными, и воспринимаются ими как часть делового этикета. Несомненно, образ автора в поздравительных текстах наделен авторитетом, особенно если речь идет о главе государства, чьи поздравления считаются высшим признанием деятельности того или иного человека в сфере науки, культуры, спорта, государственной службы. Кроме того, адресант хорошо осведомлен о поводе торжественного мероприятия, как правило, он лично знает виновника торжества и информирован о его профессиональных успехах. В свою очередь адресат знаком с ритуалом поздравления и не отрицает его. Взаимоотношения между участниками коммуникативной ситуации поздравления деловые.

Нельзя не заметить, что официальные поздравления часто шаблонны. Это проявляется как в композиционном плане, так и в содержательном. Рассмотрим композицию РЖ «поздравление». Как в любой торжественной речи, в поздравлениях многофразовой структуры можно выделить три части: вводную, основную и заключительную. Вводная часть содержит в себе обращение к адресату речи (*уважаемый N*) и сообщение о поводе поздравления (*примите поздравления с X, поздравляю Вас с X*): *Уважаемая Раиса Николаевна! В День рождения примите самые теплые, сердечные поздравления от коллектива ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»; Уважаемый Виктор Иванович! Поздравляю Вас с официальным вступлением в должность губернатора Омской области (kremlin.ru).*

Повод – один из важных жанрообразующих компонентов поздравления. Это радостное и приятное событие в жизни адресата является основанием для порождения поздравительного текста, именно повод определяет его содержательную сторону. С точки зрения связи между поводом и адресатом все поздравления целесообразно распределить на три группы [ДУДКИНА 2011]: 1. поздравления с персональными поводами, которые имеют отношение к жизни адресата, то есть с событиями, причиной которых стал сам адресат (получение престижной премии, рождение ребенка), либо с событиями, которые имеют отношение к адресату лично (день рождения, юбилей); 2. поздравления с групповыми поводами, которые имеют место в жизни общностей и социальных групп (семей, коллективов и т. д.); 3. поздравления с общими поводами, которые охватывают всех представителей данной лингвокультуры (праздники).

В основной части автор поздравления говорит о личности и деятельности поздравляемого в прошлом, настоящем и будущем времени:

а) образ прошлого (трудовые действия адресата в прошлом, которые привели к благоприятным результатам и к успеху как в прошлом, так и в настоящем времени): *Вы посвятили свою жизнь искусству и на этом пути добились значительных высот, завоевали славу одного из самых известных режиссеров современности (kremlin.ru); Вы прошли большую профессиональную школу, накопили солидный опыт общественной, законотворческой, дипломатической деятельности. Вас всегда отличали активная гражданская позиция, чуткое, неравнодушное отношение к людям, их проблемам и трудностям (kremlin.ru).*

б) образ настоящего (активная трудовая деятельность адресата в настоящий период, результаты этой деятельности): *Важно, что и сегодня Вы по-прежнему в строю, много делаете для сохранения и приумножения героических традиций нашей армии, воспитания подрастающего поколения, активно занимаетесь общественной работой (kremlin.ru); Омичи по праву гордятся Вами, а для многотысячной армии строителей Вы и сегодня являете собой пример самоотверженности в труде.*

в) образ будущего (продолжение трудовой деятельности адресата): *Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять стоящие перед вами зада-*

чи, вносить вклад в обеспечение информационной безопасности и защиту национальных интересов России (kremlin.ru); Убежден, что на посту высшего должностного лица Свердловской области Ваши усилия будут сосредоточены на реализации богатого промышленного, научного, культурного потенциала региона, совершенствовании его социальной сферы и инфраструктуры, повышении качества жизни людей (kremlin.ru).

Заканчивается поздравительная речь пожеланием успехов в трудовой деятельности: *От всей души желаем Вам и впредь сохранять деловую и творческую активность, настойчивость в достижении цели, бодрость и оптимизм; Пусть Ваш профессионализм, опыт, мудрость в принятии ответственных решений служат залогом больших достижений и побед.*

Центральное место в структуре поздравления занимает похвала, объективированная высказываниями об адресате, содержащими положительно-оценочные лексические единицы. Как известно, кто любит трудиться, тому есть чем похвалиться. В коммуникативной ситуации поздравления говорящий (или пишущий) восхваляет адресата за разные достоинства и успехи, в поздравительной речи, произносимой в трудовом коллективе, сотрудника чаще всего хвалят за работу. В основе таких одобрительных высказываний лежит положительная оценка субъектом качеств, действий, поступков адресата речи. Говорящий не стремится создать объективный портрет поздравляемого, его задача – публично акцентировать достоинства и положительные качества, показать все лучшее, что есть у виновника торжества. Важно отметить, что такое преувеличение является неотъемлемой чертой данного РЖ.

Семантический образ человека трудящегося в официальных поздравлениях схематичен: шаблон «диктует» речевой жанр. Рассмотрим «перечень» обязательных характеристик нашего языкового феномена:

1) Деловые качества. Данная характеристика человека трудящегося представлена партитивными номинациями, обозначающими черты характера человека, связанные с его трудовой деятельностью: *профессионализм, компетентность, организованность, эффективность, деловой и творческий настрой*. Положительная оценка деловых качеств человека усиливается лексическим и словообразовательным потенциалом языковых средств: *высокий профессионализм, высочайшая компетентность, богатый / богатейший опыт*. Автор поздравления неоднократно подчеркивает, что успешность деятельности адресата обусловлена его деловыми качествами. На синтаксическом уровне это подтверждается конструкциями с причинными предлогами: *Уверены, что благодаря настойчивости и высокому профессионализму Вам удастся решить самые сложные проблемы и успешно реализовать все задуманные проекты.*

В эту группу характеристики образа человека мы также относим деловые качества, обусловленные волевыми, эмоциональными и интеллектуальными способностями адресата. Из волевых качеств выделяются *активность (творческая, интеллектуальная, деловая), целеустремленность, настойчивость, решительность, смелость и уверенность в принятии ответственных реше-*

ний. Эмоциональная сторона образа человека трудящегося представлена лексемами: *оптимизм, бодрость и энтузиазм*. Интеллектуальная ипостась с точки зрения ее влияния на трудовую деятельность человека организуется в поздравлениях с помощью наименований качеств, имеющих в своем значении сему «отношение к интеллекту»: *находчивость, умение смело и новаторски решать поставленные задачи, любознательность, эрудиция, мудрость*.

2) Приобретенное человеком в процессе работы. В РЖ «поздравление» этот содержательный компонент образа человека трудящегося репрезентируется словами *опыт, знания, творческие идеалы*.

3) Созданное человеком. В поздравительных высказываниях человек предстает как создатель материальных (*города, дома, заводы, промышленные товары*) и духовных (*знания, опыт, книги, фильмы, технологии*) ценностей. Артефакты культуры, созданные человеком, получают в РЖ «поздравление» высокую оценку, которая выражается лексически – через разнообразные атрибутивные и субстантивные характеристики: *Вы заложили основы создания современного облика нашего древнего города. Благодаря Вашим многолетним усилиям Омск превратился в центр неповторимых архитектурных ансамблей, обрел композиционную стройность и величавость; Ваши богатейший опыт и глубокие знания сегодня являются достоянием огромной армии Ваших последователей и учеников*.

4) Отношение людей к человеку (адресату). Одним из обязательных компонентов образа человека трудящегося является отношение коллег к адресату поздравления, которое в предложениях выражено глагольными предикатами *ценить, уважать (относиться с уважением), поддерживать, признавать, доверять*: *Мы с глубоким уважением относимся к Вашим профессиональным заслугам и высоко ценим Вас как надежного, испытанного партнера*. Кроме того, в официальной поздравительной речи подчеркивается, что человек трудящийся пользуется авторитетом среди коллег: *Вы пользуетесь непререкаемым авторитетом как человек, чье слово всегда подкрепляется весомыми делами*.

5) Отношение адресата к другим людям. В свою очередь человек трудящийся в поздравлениях получает характеристику в зависимости от того, как он относится к своим сослуживцам. Воплощая идеальные представления субъекта поздравительной речи об отношениях адресата с коллегами, последний должен быть внимательным, чутким, вежливым и общительным, он поддерживает других сотрудников, помогает им в работе и проявляет участие в их делах.

6) Отношение к деятельности. Функционирующий в официально-деловом дискурсе РЖ «поздравление» требует от адресата высокого, морального и самоотверженного отношения к своей работе: *Вы и сегодня являетесь собой пример высокого служения делу и преданности профессии*. В подобных высказываниях в образе человека акцентируется его преданность и верность выбранному пути, добросовестность и ответственность в исполнении рабочих обязанностей, трудолюбие и работоспособность.

Мы уже упоминали о том, что предикаты, образующие поздравительные высказывания о человеке трудящемся, относятся к разряду характеризующих [АРУТЮНОВА 1976]. Об адресате поздравления говорят, каков он, кого из себя представляет, какие действия и как производит, что создает. Все эти высказывания строятся по базовым структурно-семантическим моделям (ССМ), с помощью которых могут быть образованы высказывания о любых сторонах человека.

Как показал фактический материал, для официальных поздравлений типичными ССМ являются следующие: *Х есть кто (какой). Х что делает (как). Х создал нечто.*

В ССМ *Х есть кто (какой)* адресат поздравлений характеризуется путем присвоения ему характеризующего имени и признака. Предикаты в рассматриваемой структуре выражены именами существительными, обозначающими наименование профессии, должности, звания, т.е. имеющими в своем значении сему «отношение к труду» (*художник, режиссер, врач, директор, руководитель, профессионал, мастер, специалист*), а также качественными именами прилагательными, выражающими прямую оценку адресата как работника. Например: *Ваши труженики – настоящие профессионалы; Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом как выдающийся писатель и публицист.*

Другая типичная для РЖ «поздравление» ССМ *Х что делает (как)*. Она организуется глагольными предикатами, обозначающими действия или состояния адресата, связанные с его профессиональной деятельностью. Припредикативные определители обозначают признак действия и дают оценку тому, как, каким образом адресат выполняет свою работу: *Более тридцати лет Вы возглавляете цитадель омской науки и культуры – областную библиотеку им. А. С. Пушкина; Вы с большой ответственностью подходите к поставленным задачам, решаете их смело, творчески, с весомой пользой для всей отрасли.*

Часто эти две модели образуют полипропозитивную структуру характеризующих высказываний о человеке трудящемся. Например, высказывание *Великолепный профессионал, Вы всегда с честью справлялись с поставленными задачами* состоит из пропозиций двух моделей: 1) *Вы – профессионал* – ССМ *Х есть кто*; 2) *Вы справлялись с задачами* – ССМ *Х что делает*. Действие, представленное пропозицией, является следствием оценки, заключенной в обособленном приложении, которое само становится отдельной пропозицией – оценочной.

Поздравительные высказывания, построенные по ССМ *Х сделал (создал) нечто* характеризуют человека как создателя материальных предметов и творца общечеловеческих нравственных ценностей. Являясь производной от модели *Х что делает*, данная ССМ организуется двумя компонентами – глагольным предикатом и объектом, на который было направлено действие субъекта. В качестве объектов в данной ССМ выступают артефакты культуры, созданные человеком. Это могут быть созданные человеком предметы, вещи, одежда, дома, дороги; а также феномены духовной жизни общества:

научные теории, идеи, произведения искусства и т.д. Например: *Своим многолетним добросовестным трудом Вы вносите весомый вклад в развитие народного образования и воспитание подрастающей смены; На протяжении многих лет с Вашим именем были связаны самые яркие и значительные страницы в истории современного Омска. Вы возводили промышленные гиганты и крупнейшие объекты самого разного назначения.*

Таким образом, в РЖ «поздравление» человек наиболее полно предстает в его отношении к труду. В формировании идеального образа человека трудящегося участвуют разные языковые средства. По базовым структурно-семантическим моделям строятся высказывания-поздравления, в которых сообщается, каков человек трудящийся, кого он из себя представляет, какие действия и как производит, что создает. Значимой в этих характеризующих структурах является ССМ *X сделал (создал) нечто*, где человек трудящийся предстает как создатель материальных и духовных ценностей. В РЖ «поздравление» образ человека выявляется через определенный и последовательный набор характеристик. В схему анализа этого языкового образа входят: 1. деловые, эмоциональные, волевые, интеллектуальные качества; 2. приобретенное человеком в процессе работы; 3. созданное человеком; 4. отношение людей к человеку; 5. отношение адресата к другим людям; 6. отношение к деятельности. Доминантное и подчиняющее положение в этой семантико-когнитивной модели принадлежит трудовой ипостаси языкового образа человека, поскольку в коммуникативной ситуации поздравления в сфере официально-деловых отношений человек оценивается сослуживцами и руководством в первую очередь через его отношение к труду.

Литература:

- АПРЕСЯН 1995: Апресян, Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // ВЯ. № 1. С. 37–67.
- АРУТЮНОВА 1976: Арутюнова, Н. Д. Предложение и его смысл. М.
- БАХТИН 1986: Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. М.
- ДУДКИНА 2011: Дудкина, Н. В. Речевой жанр «поздравление» в русской и американской лингвокультурах: Автореф. дис. ... канд филол. наук. Ростов-на-Дону.
- НИКИТИНА–ФЕДЯЕВА 2012: Лингвистика человека: антология. Ред. Л. Б. Никитина, Н. Д. Федяева. Омск.
- НИКИТИНА 2007: Никитина, Л. Б. Антропоцентрическая семантика: образ homo sapiens по данным русского языка: учебное пособие. Омск.
- ТЕЛИЯ 1988: Телия, В. Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М.
- ШМЕЛЕВА 1997: Шмелева, Т. В. Модель речевого жанра. // Ред. В. Е. Гольдин. Жанры речи. Вып. 1. Саратов: «Колледж».

- ШМЕЛЕВА 1990: Шмелева, Т. В. Речевой жанр. Возможности описания и использования в преподавании языка // Russistik. Русистика. Научный журнал актуальных проблем преподавания русского языка. № 2. Berlin, 20–32.
- BARTMIŃSKI 1986: Bartmiński, J. R. Tokarski Językowy obraz świata a spójność tekstu. // Teoria tekstów. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńskiej, Wrocław.

Abstract

Labour as an Axiological Dominant of Individualization in the Speech Genre “Greetings”

The present article provides the semantic reconstruction of the image of an individual working in a Russian-language environment. The samples of language used for the present research are taken from official business discourse and represent the speech genre labelled “greetings”. The individual features of a person’s image are revealed through definite and consistent characteristics. The analysis of the linguistic image includes: 1. its business-like, emotional, deliberate or intellectual quality, 2. features acquired by an individual in the process of work, 3. features composed by persons themselves, 4. the relationship of an individual to others, 5. the way an individual can address others, 6. the way a person is related to action. The basic structural and semantic models of different forms of greetings are also considered.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

**ТАТАРСКИ ОБРАЗИ В ИСТОРИОГРАФИЯТА И В ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ
(ПО МАТЕРИАЛИ ОТ ПОЛША И ЛИТВА)¹
(ЧАСТ 2)**

ВЕНЕТА ЯНКОВА

Только доспехов лязг среди теней говорит
о прежнем владении земли; остается прах,
никто не спрашивает – живые – умерли.
Мертвые – немые.

Селим Хазбиевич

Това изложение се основава на антропологическия подход към миналото. От важно значение за него е концепцията за историята като „изкуство на паметта“ [HUTTON 1993]. Според нейния създател взаимната обусловеност между компонентите на дихотомията „история – памет“ предполага възможност за свързване на начините на комуникация, формирани през различни етапи от човешката цивилизация, със съответни исторически представи за паметта: устна култура, ръкописна култура и книгопечатане [HUTTON 1993:62]. Такъв подход дава възможност за многоаспектно изследване на миналото, при което се отчита взаимната зависимост и обвързаност между историческото знание и паметта на различни етапи от тяхното съществуване. Познанието за миналото е предмет на историографията и на историческата памет², които се съотнасят и самопораждат взаимно: историографията формира представи, които влияят на историческата памет, а от своя страна историкът също акумулира – съзнателно или несъзнателно – колективна памет [HALBWACHS 1967]. При това в процесите на реконструиране и конструиране на миналото в настоящето се активизират често повтарящи се мисловни стереотипи (the habits of mind) чрез които се предава традицията [HUTTON

¹ Статията е част от по-голямо изследване. Хронологически данни, употребявана терминология, както и - основна библиография по проблема: ЯНКОВА 2012.

² Понятието „историография“ тук се употребява в смисъл на корпус от знания за миналото, създавано от професионално подготвени, често – академично образовани изследователи. Под „историческа памет“ тук се разбира комплекс от исторически факти и събития, които заемат значимо място в колективната памет на дадена общност [HALBWACHS 1967: 25].

1993: 31].³ С други думи, професионалната историография, независимо от презумпцията на крайна инстанция за истинност и обективност, също не е лишена от субективност. Както обобщава медиевистът Жак Льо Гоф: „Историята се създава с помощта на документи и идеи, на първоизточници и въображение“ [LE GOFF 1977].

Специфично място в изследванията върху дихотомията „история – памет“ заема проблемът за нейната множественост и съотнасянето между отделните ѝ аспекти и йерархичните отношения между тях. Отражение на тази многоаспектност е и схващането за памет на етническа общност, изразявано чрез понятието „етноистория“, обхващащо паметите на членовете на етническата общност и разбирането им за тяхното общо минало. Според Марк Оже – това е специфичен вид история на изследваните хора и общности, „тяхната концепция за тяхната собствена история“ [AUGÉ 1999:8–9; SEPARD 1991]. Според Смит като способ на историческия дискурс, в отличие от професионалната история, етноисторията е „многосъставна, спорна и абсолютно непостоянна“ [SMITH 1999: 28]. Такова разбиране насочва към дискурси като „устна история“, „историческа памет“ и е до голяма степен тъждествено с тях, но с основен акцент върху отнесеността към миналото на дадена етническа общност. В настоящата работа понятието „етноистория“ се употребява в смисъл на „история на/за татарите“ с нейното създаване се ангажират не само изследователи с татарски произход и „големият татарски разказ“⁴ се конструира в близка съотнесеност с националния наратив, т. е. отразява позицията не само на етническата общност, но и на макро-обществото/мнозинството.

Конкретна отправна точка към изложението по-нататък е пасаж от книгата на А. Мишкевич и Й. Камоцки: „Słowo ‘tatar’ nie ma w Polsce dobrich potowań. Kojarzy się z groźnymi najeźdźcami, z pożogami, z krakowską legendą o ugodzonym strzałą tatarską trębacz z wieży kościoła Mariackiego. To prawda, lecz jest również druga prawda. Mniej znana...“ [MIŚKIEWICZ, КАМОСКИ 2004: 9–10]. Изследователите отбелязват съществуващо „напрежение“, все още жизнено в масовите представи: между *националния наратив*, изразен чрез „краковската легенда“ за татарските нашествия,⁵ и *татарския разказ*. В този аспект важни задачи за съвременната историография и в частност – за татарската етноистория са обективизацията и реабилитацията на татарското минало, разбирано като част от историята на региона, т. е. на Великото литовско кня-

³ За историографията като създател на обобщаващи представи, разкази, митове (mith-maker): MURRAY 1960; КОЛЕВА, ГРОЗЕВ 2010; Петров–ШНИРЕЛЬМАН 2011 и др.

⁴ Тук свободно се интерпретира теорията на Ж.-Фр. Лиотар [JEAN-FRANÇOIS LYOTARD] за „големите наративи“ (фр. “*métarécit*”, англ. “*grand narratives*”). Според създателя ѝ това са идеологическите парадигми, лежащи в основата на всеки голям синтез, които обединяват научните изследвания и историческата памет, апелират към емоции и служат за формиране на колективни идентичности [LYOTARD 1979].

⁵ Тази легенда се възпроизвежда чрез символиката на съвременната градска култура.

жество (по-нататък – ВЛК) и на неговите приемни народи⁶. Също така, необходимо е да се очертаят измеренията на татарския разказ като дял от националния (полско-литовски-белоруски) наратив, с по-специално внимание върху неговото формиране, тенденции, образи и представи, както и – върху ролята на миналото при неговото създаване. Ето защо този текст се насочва към проблемното поле на историографията като генератор на памет и на идентичност. Той си поставя за задача да търси отговорите на следните въпроси: Какъв е „татарският образ“ според някои емблематични историографски трудове? Под какви форми, образи и представи се съхранява историческата памет на/за татарите? Каква е ролята на историографията за изграждането и за поддържането на тези представи? Какво е мястото и значението на идеи за миналото при изграждането и поддържането на татарската идентичност днес? За тази цел се разглеждат някои основополагащи историографски текстове, създавани от средата на XIX век до средата на XX век, които формират определени тенденции при изграждането и възприемането на татарския образ [КОНОРАСКИ 2011]. Предпочитаният избор се основава най-вече на идейната рефлексия върху татарската интелигенция в миналото и днес и на въздействието им при създаване на популярни обобщаващи представи и самопредстави за татарите. Съвсем условно анализираният текстове се обособяват като: пред-историографски съчинения, първи историографски опити и издания от периода на „татарското възраждане“. Частично се проследяват татарски топоси,⁷ изразени чрез характерни теми, мотиви, цитати, с особен акцент върху генеративната природа на текстовете и върху следваните от тях реторически стратегии.⁸

А. Формиране на татарската етноистория

а. Пред-историографски съчинения

Известни са някои писмени извори, които се използват от учените като източници на информация за началния етап от татарското заселване, за който са съхранени оскъдни сведения. Най-ранен по-цялостен източник за литовските татари е анонимният „Трактат за литовските татари“ /„Risale-i Tatar- i Leh“ (1558), писан от литовски мюсюлманин и адресиран до султан Сюлейман с цел да го информира за обществения, религиозния и културния

⁶ „Литовски татари/мюсюлмани“ тук се употребява в историческия смисъл на понятието.

⁷ Понятието „топос“ (място, общо място) тук се употребява в значение на културен феномен и културно-типологическа единица.

⁸ Според теорията на М. ЛОТМАН и Б. УСПЕНСКИ културата се осмисля като „дълготрайна памет на колектива“, а текстът изпълнява две основни функции: предаване на значения и пораждане на нови смисли. Тази генеративна природа на текста обезпечава общата памет на колектива [ЛОТМАН–УСПЕНСКИ 1990: 235–261].

живот на мюсюлманите от ВЛК.⁹ Издадено от А. Мухлински през 1858 год., съчинението има фундаментално значение за изследванията върху татарите от ВЛК, тъй като то открива за науката културата на татарите от региона и до началото на XX век остава почти единствено по рода си [MUCHLINSKI 1858]. Трактатът на Михалон Литвин, „За нравите на татарите, литовците и московците“ (1550), написан на латински език, е предназначен за Сигизмунд II Август, велик литовски княз и полски крал. Трактатът отразява формиращото се литовско самосъзнание, повлияно от идеите на хуманизма и на реформацията. В търсене на положителен пример за решаване на проблемите в литовското общество, той насочва към идеализиран образ за татарския свят: в Кримското ханство авторът открива своеобразен образец на управление и начин на обществен живот, идеализирани са татарските нрави, бит, обичаи; на татарите се приписват качества, с които са характеризирани и легендарните литовски предци. Показателно е отразяването на двойствена позиция към татарското: популярна и емпирична, макар и поднесена с идеализиращи конотации [ХОРОШКЕВИЧ 1994].¹⁰

6. Първи историографски опити

В продължение на столетия сред редица европейски народи се формира представата за исляма като „големият Друг“, а за татарите – като „враждебният чужд“ [ДЕЙВИС 2007:187]¹¹. В разпространени схващания, отразени в устни и писмени източници, доминират негативният татарски образ и обобщаващите стереотипни представи за татарите като варвари, нашественици и разрушители [БАТУНСКИЙ 1986: 56–57; PODOLAK 2004; БУШАКОВ 1994]. В този общ идеен контекст в средата на XIX в. като опровержение на тези представи, се появява трудът на ориенталиста А. МУХЛИНСКИЙ¹² „Исследование о происхождении и состоянии литовских татар“ (1857), с който се поставя началото на различна тенденция в историографията за татарите. Това е обзорно историческо изследване, последвано от текстуално-документална част – изданието на самия текст на „Рисале...“ през 1858 г.

⁹ Съмнение в достоверността на „Рисале...“ като исторически извор се изразява от: МИСКУНАПЕ 2006: 243–4; ЗАЙЦЕВ 2007; КОНОРАСКИ 2010: 10 и др.

¹⁰ В началото на XVII век в резултат от доминиращата в Европа религиозна нетърпимост се появяват две полемични съчинения, които, въпреки своята тенденциозност – на краен отрицател и на ревностен защитник на татарството – съдържат сведения, които някои историци приемат за достоверни: памфлетът „Ал-фуркан татарски“/Czyżewski Piotr. „Alfurkan tatarski, na czterdziestci części podzielony” (1616) и „Апология на/за татарите” / Azulewicz. „Apologia tatarów” (1630).

¹¹ Терминът „татари” има променлив исторически смисъл и различни употреби: екзоним (име, дадено от другите) и обобщено, събирателно наименование на различни племена, племенни общности и народи с къпчашко-тюркски етногенезис [БУШАКОВ 1997; УРУЗМАНОВА-ЧЕШКО 2001: 11–25; ИСХАКОВ 2004: 12].

¹² Антон Осипович Мухлински (1808–1877), ориенталист, професор по османски език и словесност в Санкт-Петербургския университет.

Както посочва сам авторът, причината за написването на книгата е „в интереса на руската история“ от повече достоверна информация за миналото и културата на обитателите на т. нар. Западни губернии на Руската империя.¹³ Изложените в съчинението идеи съответстват на идеологическите предпоставки за тогавашната руска ориенталистика, т. е. като основа за руската имперска идея и за политиката към поданиците-друговерци [БАТУНСКИЙ 1986: 59].

Трудът е изграден от преобладаваща историографска част и кратко демографско-етнографско изложение. Изследователският подход се основава върху включването на ориенталски архивни извори и документи, устни свидетелства, местна топонимия и непосредствени лични впечатления. Историята на литовските татари е изложена чрез разгръщане и преплитане на два разказа: за Великото литовско княжество по времето на княз Витолт (Витовт, Витатутас) и за татарите. Първият още във встъплението налага идеализираща представа за политиката на великия литовски княз към татарите: *„История Великого Княжества Литовского в свое время представляет нам необыкновенное событие. Когда вся Европа вооружилась мечем и ненавистью против мусульман, – тогда благоразумная политика государей литовских, с любовью и гостеприимством, приглашала в свои владения татар, которые принуждены были от стечения разных обстоятельств оставлять свою родину и добровольно переселялись в Литву“* [МУХЛИНСКИЙ 1857: 3]. Особено силна е тази идеализация при представянето на самия Витовт и на оценката за неговото управление, изразена с характерен панегиричен стил: *„Но самая блистательнейшая эпоха для наших татар составляет княжение славнейшего из всех современных государей в Северной Европе – Великого князя Витовта. Одаренный гением, военным духом и опытностью, Витовт сделялся страшным для соседственных государств...“* [МУХЛИНСКИЙ 1857: 9].

Татарският разказ изгражда амбивалентен татарски образ – едновременно негативен и положителен, като първият от тях устойчиво присъства чрез своето потенциално отрицание. Негативните конотации изцяло са вписани в парадигмата на популярните представи за анти-култура: нашествие, завоевание, грабителство, унищожение, смърт и пр., изразени чрез характерни езикови стратегии [БАТУНСКИЙ 1986: 52–53]. Например: *„из страсти к войне и надежде на добычи“*; *„Татары Джелал-ед-дина, полагая находиться в неприятельской земле и следуя своим обычаям, стали делать набеги на Польшу, пленять и убивать людей и детей...“* [МУХЛИНСКИЙ 1857: 6, 16, 18–19]. Като негова антитеза е изложен наративът за *„нашите татари“* (често употребявано в текста на Мухлински!), т. е. за отделилите се от номадското си минало и уседнали в земите на Великото литовско княжество бивши воители, предци на съвременните му татари: *„...своею храбростию, равно и верностию, придают блеск литовскому оружию“*; *„Татары считались тогда отличными стрельцами конными и были несравненной ловкости в сражении...“*;

¹³ От края на XVIII век (1793–1795) земите, населявани традиционно от татари, са присъединени към Руската империя.

„...верность, честность и рыцарские качества литовских татар...“ [МУХЛИНСКИЙ 1857:8, 13, 36, 32 и др.]. Категорично разграничаване между двата татарски образа се очертава чрез позоваване на Литовска метрика от 1508 г., според което уседналите татари се дистанцират от съплеменниците си, извършващи грабежи по границата: „Ни Бог, ни Пророк не предписывают вам грабить, а нам быть неблагодарными. Мы почитаем вас, как хищников, и саблями нашими поражаем грабителей, а не братьев наших. Оставайтесь за Волгою, пока другие орды вас не вытянут, ибо мы около Ваки (близ Вильны)¹⁴ будем кровь проливать за литовцев, которые нас почитают своими братьями“ [МУХЛИНСКИЙ 1857: 20]. Изследването на Мухлинский целенасочено изгражда обобщена представа за татарите от ВЛК като верни и лоялни към своя сюзерен, честни, персонификация на воински добродетели, което се допълва и от техния дворянски статус [МУХЛИНСКИЙ 1857: 28, 35, 38, 39]. Непосредствените впечатления от съвременни татари също са изразени в обобщаващи представи за техния антропологичен тип, характер и поведение – доказателство за тяхната интегрираност в европейска среда в отличие от „монголския“ им генезис: „Они в большой части высокого роста, стройны, черноволосы, цвет лица смуглы, черты лица правильны, физиономия и осанка выразительны; они благородны в обхождении, в разговорах рассудительны, вообще гостеприимны, кротки и воздержны: словом несходствуют совершенно с монгольскими племенами...“ [МУХЛИНСКИЙ 1857: 47–48].

И така, освен началото на задълбочено, аналитично-фактологично изследване на този епизод от татарската история в Европа и оповестяването на богат изворов материал с безспорен приносен характер, в стремежа си да опровергае негативния татарски образ трудът на Мухлински също допуска обобщеност и стереотипност в очертаването на образа на литовските татари от далечното минало. Нужно е да се изтъкне, че това първо по рода си проучване бележи и основните ориентири в изследването на татарската топка и през следващото столетие. Не е случайно, че монографията на Станислав Кричински (1938), определяна като най-издържан в научно отношение свод за литовските татари, също ще продължи зададения идейно-проблемен модел. Като се отчитат естествените недостатъци, породени от присъщата за тогавашната наука методологическа ограниченост, от съвременна гледна точка изследването на Мухлински би трябвало да се оцени като своеобразно парадигматично и текстопораждащо начало, което ще провокира изследователските усилия към постигането на по-пълно и адекватно историческо познание за литовските татари.

Започнатата тенденция към реабилитиране на негативния татарски образ чрез привличане на по-богата историческа информация, е продължена от Мацей Тухан-Барановски в изследването „За литовските мюсюлмани“/ „O muślimach litewskich. Z notat i przekładów litewskiego tataru Macieja Tuhana-Baranowskiego“ (1896). Според въведението

¹⁴ Вилнюс.

от издателя Antoniј Kruman трудът е представен като „бележки и преводи на литовски татар“ от „Троцкий край“ (Трока, Трокай), наследник на знаменит татарски род, а самото изследване свидетелства за задълбочен и вероятно първоначално родов интерес към историята и културата на татарите. Публикуваният текст е резултат от проучванията на М. Тухан-Барановски, но в окончателния си вид той е претърпял съществена редакционна намеса, което прави трудно разграничаването на неговата оригинална основа и съответно – на авторската позиция.¹⁵ По свидетелството на издателя сред основните източници са: родови предания, семейни родословни бележки и други архивни документи [TUHAN-BARANOWSKI 1896: 7]. По-съществено е, че окончателният текст следва обща идейна стратегия и привежда доказателства в подкрепа на тезата за литовските татари като свършени войни, които са преодолели своето „варварско“ минало. Такива са например представата за литовските татари като антипод на „дивите азиатски ездачи“ или – предложена-та етимология на етнонима „татар“ като „конник, войнстващ“ [TUHAN-BARANOWSKI 1896:6].

Според концепцията на изданието миналото на литовските мюсюлмани е изложено като част от „голямата“ история на татарския свят с особен акцент върху: източния генезис, историята на монголите, нашествията в Европа, „Къпчашкото царство¹⁶, наречено Златна орда“. Кратката история на „Кримското царство“ е представена по ориенталски източници – „съкратен превод от татарски/ *streszczenie przekładu z tatarskiego*” [TUHAN-BARANOWSKI 1896: 29]. Частта за литовските мюсюлмани съдържа исторически данни за тяхното установяване в региона, военна организация, социално разслоение, процеси на асимилация чрез смесените бракове, някои исторически моменти като сведения за религиозните притеснения в средата на XVI век, данни за татарски родове и съхранени следи от племенни названия и пр. Проследено е актуалното състояние на литовските татари: положение в обществото, занятия, численост, религия, джамии, кратки бележки за езика [TUHAN-BARANOWSKI 1896: 59, 66–67]. Също така представена е важна информация за гербове на татарски шляхтичи, които са преминали към полски и руски дворянски родове [TUHAN-BARANOWSKI 1896: 68–72]. „За литовските мюсюлмани“/„*O muślimach litewskich*” отразява обобщени представи за татарите като воители с характерен антрополого-психологически и поведенчески тип. Някои примери: „*Tatarzy stanowili wyłączenie klasę wojenną: była-to lekka kawaleria, nzywana na podjazdy, bo na przespiegi i dla dostania jęzika byli jedyni. W bitwach zawsze byli wystawieni na pierwszy ogień, a nieprzyjaciel bał się ich bardzo, jako nieustraszonych u dzielnych szermierzy*” [TUHAN-BARANOWSKI 1896: 50]; „*Właściwi Tatarowie – był lud żwawy silny; wzrostu średniego, twarzy*

¹⁵ Самото обяснение на А. Круман за случайното придобиване на полуунищожения ръкопис и за неосъществената среща с автора придава известна романтична окраска на цялото съчинение и на изданието [TUHAN-BARANOWSKI 1896: 4].

¹⁶ Авторът използва понятията „цар“ и „царство“.

owalnej i regularnej, włosów na głowie ciemnych, posatci zwinnej; nosily brody i duże wąsy; umieli dobrze władać szablą i piłą, dzielnie jeździli na koniu i zawsze służyli wiernie, czem zjednali sobie łaskę wielkich książąt, a przyjaźń Litwinów [TUHAN-BARANOWSKI 1896: 51–52].

По този начин трудът на М. Тухан-Барановски, плод на интерес към родовата генеалогия и допълнен от историческата визия на редактора-издател, се вписва напълно в тенденцията към реабилитация на литовските татари и на тяхното минало по тези земи. Изграждащият се историографски наратив за литовските татари е положен върху отрицанието и преосмислянето на популярното знание и доминиращите негативни образи за татарския свят в него. Едновременно с това се утвърждава исторически обусловена и документално засвидетелствена обобщаваща визия за литовския татарин като образец воин, който остава верен на своята клетва. Би трябвало да се подчертае, че проучванията на А. Мухлински и М. Тухан-Барановски полагат солидна фактологична и проблематизираща основа за татарската етно-историография, разгръщана и до днес в основни направления като: история, генеалогия, етнография, антропология, език и писмено наследство.

в. Издания от периода на „татарското възраждане”¹⁷

В първото десетилетие на ХХ век студенти с татарски произход поставят началото на процес, който днес се определя като „културен подем“ и „възраждане“, тъй като той спомага за засилване на татарското самосъзнание [BORAWSKI–DUBINSKI 1986: 151–168; ДУМИН-КАНАПАЦКИ 1993: 138–147]. Тези тенденции се развиват в контекста на демократичните промени след Руската революция от 1905 г. и последвалия общественно-политически и духовен подем. Идеолози и пионери на татарското културно-просветно движение са братя Олгерд и Леон Кричински (Olgerd Kryczyński, Leon Najman Mirza Kryczyński), които през 1907 г. основават в Петербург „Студентско общество“, чиято основна задача е да извършва изследвания по история на татарите, да осъществява културно-просветна дейност и да развива „националното самосъзнание“. Още в първоначалния замисъл на движението е заложена идеята за основополагащата роля на историческите проучвания. Наред с това се изграждат организационни основи и институционални структури за възстановяване и съхраняване на паметта на татарската общност (библиотека, музей, архив). Леон Кричински е един от инициаторите за създаване във Вилнюс на Културно-просветен съюз на татарите в Полша (1926) с над 20 клона из цялата страна, чиято цел е изследване, публикуване и популяризация на историята и на културата на татарите. По-късно във Вилнюс се създават и: Татарска библиотека (1926), Татарски музей (1929) и Татарски архив (1931). С дейността на братя Кричински и на техните последователи

¹⁷ За разграничаване на типологически близките процеси на общностна мобилизация тук се предпочитат различни термини с еднакъв по същество смисъл: възраждане (за 20–30 години на ХХ век) и „ренесанс“ – след 90-те год на ХХ век.

се поставя началото на широкомащабна изследователска програма във връзка със събирането на теренни материали и на архивни документи, с техния анализ и систематизация с цел по-задълбочено и по-адекватно осветляване миналото на татарите по тези земи и мястото им в регионалната история [MIŚKIEWICZ 2009]¹⁸. Активизират се процесите на целенасочено изграждане и конструиране на собствения татарски разказ.

В началото на XX век сред идеолозите на татарското културно движение се оформя убеждението за своеобразната мисия на посредник между Изтока и Запада, между исляма и християнството, която могат и би трябвало да изпълнят литовските мюсюлмани. Тази идейна обосновка на големия татарски разказ най-ясно и категорично е формулирана през 1932 год. от Олгерд Кричински, според когото в търсенето на „синтез между Изтока и Запада“ („*Synteza Wschodu i Zachodu... w sensie uzupełnienia cywilizacyj...*“) литовските мюсюлмани са призвани да играят важна цивилизационна роля – на проводници на общочовешки ценности, създадени от западната цивилизация, съчетани с достоянията на източния ислямски свят [KRYCZYŃSKI 1932: 19; KRYCZYŃSKI NAJMAN Mirza 1935]. Макар още с огласяването си тези идеи да предизвикват някои критики и съмнения, те са показателни за духовните нагласи на татарския интелектуален елит [BOHDANOWICZ 1942, 1944]. В този идеен контекст са публикувани няколко научни издания, които със своя академичен подход поставят на нова основа досегашните проучвания за литовските мюсюлмани: историко-антропометрическото изследване на Ю. Талко-Хринцевич (1924), генеалогичният масив „Гербовник...“ на Ст. Дзядулевич (1929) и фундаменталният корпус върху миналото и културата на татарската общност – „Литовски татари“ на Ст. Кричински (1938). Заедно с това стартират и проучванията върху локалната история, историческите татарски места и систематичните изследвания върху татарските персоналии, изготвят се и библиографски описания на публикуваното до момента по проблематиката [АЛЕКСАНДРОВИЧ-НАСЫФИ 1926; KRYCZYŃSKI NAJMAN Mirza 1935; KRAWIEC 1936; KRYCZYŃSKI 1937; KRYCZYŃSKI-AZULEWICZ 1935].

Професорът от Краковския университет Й. Талко-Хринцевич (Talko-Hryniewicz, J.)¹⁹ в книгата „*Muślimowie czyli tak zwani Tatarzy litewscy*“ Kraków (1924) продължава и задълбочава изследванията в областта на историята и генеалогията на общността като въвежда нов подход: на основата на обстояни антропометрични анализи той лансира хипотеза

¹⁸ За конструиране на представи за Великото литовско княжество в артистичните среди в Републиканска Литва в периода между 1920 и 1930 год., както и за знаменателно честване на 500 год от смъртта на княз Витаутас през 1930 год: JANKEVIČIŪTĖ 2010: 158–180.

¹⁹ Julian Talko-Hryniewicz (1850–1936), полски антрополог и лекар с литовски произход, един от основателите на полската антропология, професор в Ягеллонския университет (Краков). Още в началото на века той публикува антропологически наблюдения [Revue de Monde Musulmane 1910: 287–291].

за три основни „племена” („trzy plemiona zawoźzańskie i zadońskie”), от които произхождат литовските татари. С позната антитезност („див – опитомен“, „хаос – ред“) трудът на Талко-Хринцевич отхвърля обобщаващи стереотипи и противопоставя образа на уседналия и приобщен към европейските ценности татарин: *„Dzikiе hordy азjatyckie, przed wiekami najeżdżając ziemiе Polski i Litwy, paląc i grabiąc wsi, dwory i miasta, wprowadzając do niewoli jeńców i dziewice — osiadłszy na naszej ziemi — przywiązali się do niej, wiernie służąc Rzeczypospolitej i broniąc swemi piersiami jej granic, a potem stali się spokojnymi jej obywatelami, wnosząc do naszego narodu cechy dodatnie, wypróbowaną wierność, lojalność dla społeczeństwa w dobrej i złej doli”* [TALCO-HRYNCEWICZ 1924: 108]. Също така обширно е очертан приносът на татарите в историята и културата на полския народ като особено се акцентува върху лоялността и толерантността на заселниците и техните наследници към приемащото ги общество: *„Wznosiły się świątynie, klasztory i dwory zamożne, bądcące ogniskami cywilizacji... Zapisały się one niezatartymi śladami w historii ziemi i ludu polskiego”*; *„Wierność Tatarów dla Polski równała się niekiedy bohaterstwu”* [TALCO-HRYNCEWICZ 1924: 97, 31]. Показателно е позоваването на фрагмент от молба на татарите до крал Зигмунт I по литовска метрика, цитирана и у Мухлински, който преповтаря образите на татарската интеграция и акултурация в различната културна среда: *„Nasze dzieci wiedzą o tern, a nad słonemi jeziorami wiedzą, że my w kraju waszym nie jesteśmy cudzoziemcami”*. *Przypominają też, że „Witold nie-kazał im zapominać proroka, a do swoich świętych miejsc oczy obracając, zalecił powtarzać jego imię jako swoich kalifów”* [TALCO-HRYNCEWICZ 1924: 31]. Характерни за стила на изложението са названия като *„Nasi Muślimowie”* и *„Polacy-muślimowie”*, които свидетелстват за приобщеност, признаване от обществото и за протичащи процеси на асимилация. С несъмнено въздействие върху имплицитните читатели ще да са били цитираните пасажки от писмо до полския президент от 1923 год., подписано от интелегенти-татари: *„I Wierni religji mużułmańskiej, sercem i duszą należymy do Rzeczypospolitej, która nas i naszą wiarę zawsze opieką i dobrodziejstwami otaczała”*. С характерна реторика се заявяват доказателства за лоялност към националните ценности, интегрираност в обществото и се популяризира своеобразна метафорика на акултурацията: *„jazda tatarska pod znakiem księżycа pospołu z Orłem Białym walczyła”* [TALCO-HRYNCEWICZ 1924: 109]. И така, ако сравнителните изследвания на специалиста-антрополог потвърждават и озаконяват източния генезис на почти асимилираните литовски татари и в известна степен усилват представата за тях като „други“, то характерните реторически стратегии на авторския текст очертават още по-пълно татарския разказ и още по-категорично го вписват в националния наратив.

Изключително приносно издание и до днес е изследването на Станислав Дзядулевич „Герболе на татарските родове в Полша“/ St. Dziedulewicz „Herbarz rodzin tatarskich w Polsce”), (1929).²⁰ Трудът съдържа основни

²⁰ <http://secret-r.net/forum/viewtopic.php?t=950>

данни за над 600 татарски родове и е разделен на две части: „Rodziny tatarskie, po dziś dzień muzułmańskie” (1–62) и „Rodziny pochodnia tatarskiego, obecnie chrześcijańskie” (363–455). Изданието включва внушителна встъпителна студия „Tatarzy litewscy (muślimowie)” (XIII–XXVIII), позоваваща се на разнообразни архивни източници; десетки гербове; печати-тамги; генеалогически таблици на най-известните татарски родове. Във втората част Дзядулевич подробно представя генеалогията на своя род Dziejulewicz с родов герб «Сокол» и родоначалник Dziejullach, живял през втората половина на XV век. Ценна част е приложението, дело на ориенталиста д-р Якуб Шинкиевич (Jakób Szynkiewicz), отразяващо лексика с източен произход в езика на литовските мюсюлмани [DZJADULEWICZ 1929: 457–473]. Макар и да е критикувано за някои смели хипотези, богато аргументираното изследване има широк обществен отзвук. Показателни са данните за разпространението на „Гербове...” в списъка на неговите абонати – 124 абонати, сред които полски татари и поляци, живеещи в чужбина [DZJADULEWICZ 1929: 494–495; TALKO-HRYNCEWICZ 1932: 288–295]. Приложените гербове и родословия са солидни свидетелства за дворянския произход, високото обществено положение и за приноса на татарите в регионалната история. А това несъмнено повишава социалния престиж на общността и провокира по-нататъшните изследвания в областта на татарската генеалогия.²¹

В периода между двете световни войни полските мюсюлмани издават три периодични издания, всяко от които със свой собствен профил. „Ислямски преглед“ („Przegląd Islamski”) излиза във Варшава между 1930–1932 и 1934–1937 и поддържа предимно мюсюлманска религиозна проблематика. Между 1932 и 1938 г излиза академично профилирания „Татарски годишник“ („Rocznik Tatarski”). Той е резултат от усилията на Културно-просветния съюз на татарите в Полша, а негов редактор е Леон Кричински. През същия период Стефан Тухан Барановски (Stefan Tuhan Baranowski) издава „Татарски живот“ („Życie Tatarskie”), който е насочен към по-широка публика и има популярен, религиозен и културно-просветен характер. Именно в „Татарски годишник“, като негов трети том се появява трудът на Станислав Кричински „Литовските татари“ / St. Kryczyński. Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej. Rocznik Tataryw Polskich, 3. (1938), който изиграва изключително важна роля за обогатяването на представите за полските мюсюлмани като общност със своя самобитна култура и със значителен принос в регионалната история. Тук са обобщени и развити основните идеи в трудовете на А. Мухлинский, Ю. Талко-Хринцевич и братя Кричински. При предварителната подготовка и работата над книгата значи-

²¹ Интересно свидетелство за нагласите на татарската общност и на обществото към нея е следваната и в това издание реторическа стратегия: на с. XXV е поместен показателен патриотично-мотивиращ цитат от речта при формирането на Татарски полк през 1919 г.

телна е ролята на Леон Кричински като идеен наставник на автора и като редактор на периодичното издание [TYSZKIEWICZ 1989: 125–133]. Това е първото по-цялостно научно изследване за полските татари от XX век, което със своя академичен и обществен резонанс привлича интереса на международната общност към историята и културата на литовските мюсюлмани.

Историко-етнографското изследване на Ст. Кричински е резултат от задълбочена предварителна работа с исторически и архивни документи, като и от непосредствено теренно проучване. Тематично то обхваща следните по-важни направления: А. История: история на поселението на татарите; племенни и родови традиции. Б. Традиции и култура: топонимия и антропонимия; традиционни професии и занаяти; материална култура; религиозен живот; мюсюлмански свети места (джамии, гробища); вярвания (магия и баене). Ст. Кричински допълва изследванията на Талко-Хринцевич със собствени наблюдения за татарите като антропологичен тип и като поведение и манталитет. Според посочените обобщаващи представи, за литовските мюсюлмани са характерни: религиозност, моралност, етническа солидарност, семейни добродетели, чувство за хумор, лоялност към държавата, като не са премълчани и някои недостатъци в характера като свадливост, заядливост, склонност към кавги и пр. [KRYCZYŃSKI 1938: 117–135].²²

Изследването на Ст. Кричински получава високо обществено одобрение и признание веднага с появяването си и е определяна като „най-добрата работа за нашата (татарската) история” с фундаментален характер [WONDANOWICZ 1942: 378]. И макар някои исторически и лингвистични тези да са обект на критика, то етнографската част получава най-големи похвали поради богатството на събрания материал, следвания подход и интерпретацията на фактите. Етнографският корпус за литовските татари запазва своята значимост и до днес, тъй като регистрира и отразява относително съхранени явления от традиционната татарска култура. Със своето публикуване изследването задава и важна перспектива в проучванията за литовските татари, които са прекъснати от избухването на Втората световна война и събитията след нея. Едновременно с това то научно обосновава и по този начин подкрепя формираните по-рано устойчиви образи и представи, съхранени в историческата памет.

Трудът на Ст. Кричински съхранява важни аспекти от състоянието на „дълготрайните структури” в историята и културата на литовските мюсюлмани и научно легитимира големия татарски разказ. Последвалото редакционно обръщение към потенциалните читатели илюстрира схващането на издателите за ролята на миналото и най-вече – на героичното минало като източник на патриотични чувства и като етноконсолидиращ фактор за татарската общност: „В доме каждого татарина, которому дорого прекрасное и рыцарское прошлое нашего народа, должна находиться книга Крычиньского, как произведение, крепящее национальный дух.” [по: Гришин 2000: 130].

²² Почти идентични самопредстави се регистрират на терен и в началото на XXI век (По: Лични наблюдения).

През 1942 г. англоезичното издание „Islamic Review” публикува обзор на културното движение на полските мюсюлмани. Неговият автор, Арслан (Леон) Богданович (Arslan Bohdanowicz)²³, е продължител на идеите на Олгерд Кричински за месианистичната роля на полските мюсюлмани за обогатяването на полската култура чрез ценностите на исляма и чрез изследването на татарската история: „We wanted to enrich Polish culture by support of the values arising from our religion and from the study of our history” [BOHDANOWICZ 1942: 374]. В заключението на статията авторът подчертава ролята на историческото познание за засилване на чувството за „специфичен произход” и за „общите елементи от...историята”: „...as soon as circumstances had changed, we turned especially toward our past in order to find there factors which would fortify our sentiment about our special origin and the common element of our history. It is the same with religion.” [BOHDANOWICZ 1942: 380]²⁴

Б. Историография и историческа памет

С усилията на татарския интелектуален елит от 20-те и 30-те години на XX век схващането за историята и за героичното воинско минало на предците се превръща в етно-мобилизиращ и етно-консолидационен фактор за цялата татарска общност. Създаваните и широко популяризираните историографски съчинения генерират престижни героически образи и положителни послания, които поддържат татарската идентичност.²⁵ Макар още първите изследователи да насочват внимание към социалната диференциация при татарите-заселници, най-богато развивана, документално засвидетелствана и публично представена до днес е именно военната история на литовските мюсюлмани с нейната вписаност в миналото на региона [TYSZKIEWICZ 1984: 117–149; BORAWSKI-DUBIŃSKI 1986: 27–228; MIŚKIEWICZ 2009]. Чрез авторитета на професионалната историография от 20-30-те години на XX век се задвижва мощен процес на комеморация и „производство на образи“ [HUTTON 1993], прекъснат през средата на XX век от събитията около Втората световна война

²³ В предговора към „Литовските татари“ (1938) Ст. Кричински му изразява благодарност за помощта.

²⁴ Играе важна роля за популяризацията на полските татари в международното научно пространство, автор на няколко публикации за полските мюсюлмани, поместени в изданията на Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland и Islamic Review (1942, 1951). [BOHDANOWICZ 1955].

²⁵ В този план биха могли да се разглеждат negliжираните свидетелства от „Актове за литовските татари“ (1906), представящи не-героичен, делничен татарски образ. Това са съдебни актове (за имуществено състояние, духовни завещания, спорове от различен характер и пр.), издадени от Виленската (Вилнюска) комисия, съдържащи 322 документа на руски и на полски езици и обхващащи периода 1521–1784 год. [АЛТ 1906].

и възстановен в нови измерения при променените общественно-политически условия от 90-те години.²⁶

Със своите рефлексии в публичното пространство, историографията поражда еквиваленти и в историческата памет и очертава траектории в устната история на татарите [ЯНКОВА – под печат]. Както отбелязват специалистите, в продължение на столетия военната служба е традиционна професия сред заселниците. Ето защо в родовите предания и в биографичните разкази твърде често се среща мотивът за „войнската служба“ и за „военния ген“, а като герои – образци се посочват именити командири с висши военни звания [ДУМИН 2012: 22–23]. В плана на родовата памет големият татарски разказ и участието на предците в него се преживява в перспективата на националната и на европейската история.²⁷ Миналото – особено героичното военно минало на общността – се осмисля като ценност и основание за гордост. Без да са премълчавани, травматичните спомени са доминирани от героични образци, възпроизвеждани чрез „популярно историческо знание“, печатни издания, визуално (фото) документиране [CHARLES 2003]. Такова отношение към миналото – впрочем положено на солидна историко-документална основа! – играе важна етно-консолидационна роля за татарската общност и съдейства за осъществяване на „политиката на признаване“ от макро-обществото.

Като рефлексия от жизнения обществен интерес към генеалогията са родовите легенди, аргументиращи аристократически произход и свързващи го с полулегендарни, въображаеми събития от миналото и особено – с валоризирана „татарска древност“ [BORAWSKI–DUBINSKI 1986: 241–242]. Според проучванията на Ст. Думин след присъединяването на земите, на които са поселени литовските татари, към Руската империя (1793 – 1795) те, както и всички други шляхтичи трябвало да докажат с документи своя дворянски произход,²⁸ а през XIX век в резултат от либералното отношение на властите, с дворянски права се ползват почти „всички литовски татарски родове“,

²⁶ Важно е да се подчертае, че днес съвременните татарски лидери се осмислят като продължители на някогашното татарско възраждане.

²⁷ Някои знакови дати и събития от татарското участие във военната история на региона: Като военна сила татарите участват на страната на Полско-Литовското княжество във всички важни сражения, някои от които с общоевропейско значение като например: битката при Грюнвалд (Таненберг) срещу Тевтонския рицарски орден (1410) и отбраната на Виена срещу Османската армия (Виена 1683). Също: През 1794 – въстание на Косцюшко (Kościuszko). Татарски улански полк участва във военни действия срещу войската на Наполеон в Прусия (1806–1807), Белорусия (1812), Варшавското херцогство и Германия (1813–1814). От началото на XV век до Втората световна война татарски войнски подразделения формират отделна специфична част от Полската армия като полагат основата на полската уланска традиция: през 1919 е създаден Полк на Татарските улани, а през 1939 е създаден 1-ви ескадрон на 13 полк на Вилнюските улани [по: MIŚKIEWICZ 2009].

²⁸ Важен императорски документ за привилегиите на татарите: <http://constitutions.ru/archives/3302>.

т. е. около 200 рода [Думин 2012: 22]. Но тези процеси са стимул за активизиране на допълнителен ресурс, мобилизиращ индивидите и семействата, който е насочен и към осмисляне на генеалогията и на идентичността. Тази „потребност от генеалогия“ довежда до възникване на псевдоисторически легенди, свързващи даден род с „татарската древност“ [Думин 2010: 19–20]. Според същия изследовател като отзвук от интереса към източната култура и от идеологията на сарматизма през втората половина и края на XVII век много литовски, белоруски и полски родове свързват своя произход с татарите и го мотивират чрез легенди с реална и въобразена основа [Думин 2012: 24, 2010: 24]. В тази насока са показателни заключенията за високата престижност в края на XVIII–XIX в. на „татарските титули“ (мурза) и на татарската древна генеалогия сред татарската аристокрация и дори – на татарския произход сред полската шляхта [Думин 2010; 2012: 22]. Интересът към родословията се поддържа жизнен и до днес, което съвпада със световния „бум“ на етничността и на паметта и съвременната мода към генеалогията [NOVAK 1971].²⁹

Нужно е да се изтъкне и високият ценностен статус, който в колективната памет на литовските татари заема фигурата на великия княз *Витолд* като образ на своеобразен прародител и герой с основополагаща роля за усядането им на тази европейска територия [BORAWSKI–DUBINSKI 1986: 230–231; MISKUNAITE 2006: 194–196].³⁰ За по-специалното отношение на татарите към великия княз са съхранени полулегендарни сведения още от средата на XVI в. Според Мухлинский татарите създават собствена етимология на името на Витолд – *Wattad* (от „*watad*” – ‘опора’), който за тях бил като опора (*watad*) за исляма и споменавали името му с преклонение/обожание („*imię jego wspominają tam z uwielbieniem*”) [МУХЛИНСКИЙ 1857: 13]. През XX в. историческата личност на великия княз се осмисля като символен елемент от наследството на общността и се активизира при „политически употреби на миналото”.³¹ В записаните биографичните наративи и в родовия спомен той е представен като идеал и мъдър държавник, който с умелата си политика и благосклонното си отношение към новодошлите, създава благоприятни условия за тяхното установяване на чужда земя. В легендата за начало-

²⁹ Сrv.: <http://www.rodziewicz.ostroda.pl/>;
<http://www.stankiewicz.com/index.php?kat=22&sub=193>
<http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/rodziewicz.html>;
<http://vilnius.borda.ru/?0-8>;
<http://genealogia.baltwillinfo.com/ukr/01.pdf>.

За гербовете в семейната традиция, като израз на престижност и основание за гордост се регистрират данни по време на теренно проучване в Литва през март 2012 г.

³⁰ С политиката на княз Витолд към наемниците свързват своята легендарна история и караимите [MISKUNAITE 2006: 196–198].

³¹ Проблем за „необходимите“ исторически личности и за актуалните значения, които съвременността придава на историческата фигура: SCHWARTZ 1982; SCHWARTZ 1991.

то, съхранявана чрез родово-общностния спомен, княз Витовт персонифицира най-ранния период от татарското заселване като първопредходник, регламентиращ устоите на общността в новата културна среда.

Заклучение

Почти стогодишната традиция на татарската етноисториография аргументирано отхвърля съществуващи до тогава предубеждения по отношение на татарите и формира *друг татарски образ – реконструиран*, възстановен, обогатен, многоаспектно представен и едновременно с това – *конструиран*, тъй като неговата цел е да промени обществените нагласи. Новият татарски образ се оформя под въздействието на доминиращите идеи от междувоенния период като част от патриотичната, националистичната и етно-мобилизираща идеология и реторика на своето време. При такава историографска стратегия се изгражда и утвърждава представа за татарина като войн/ военачалник и дворянин. Това е образ, исторически документиран и досътворен в родовите легенди, който се съотнася с рицарските добродетели на предците от Средновековието и с всеобщата носталгия по първичното. Едновременно с това се изгражда големият татарски разказ като военно-героичен и непосредствено обвързан не само с историята на Великото литовско княжество, но и с неговите приемници [MICKUNAITE 2006; JANKEVIČIŪTĖ 2010: 158–180]. Участието на татарите в историята на региона се осмисля като жизнен национален ресурс и устойчив топос на социална дейност [по: STEWART 2003]. В резултат на задълбочени изследвания се утвърждава представата за миналото на литовските татари като част от местното минало, историческата памет се преживява като обща памет, а татарският разказ се вписва като част от националния наратив. Основополагащо в изследванията е разбирането за историческите проучвания като действена възможност за постигане на попълно познание, но заедно с това те се оказват и мощно средство за общностна консолидация и катализатор за издигане на етническото самосъзнание на самата татарска общност.

Литература

- AUGE 1999: M. Augé. Anthropology's Historical Spase, History's Anthropological Time. //An Anthropology for Contemporaneous Worlds. Strandford University Press. Strandford, California, 3–16.
- BOHDANOWICZ 1942: A. Bohdanowicz. Cultural movements of Muslims in Poland. // Islamic Reviw, Vol. XXX, 372–381.
- BOHDANOWICZ 1942: L. Bohdanowicz. The Muslims in Poland: Their Origin, history and cultural life. // The Journal of the Royal Asiatic Society, №3, .
- BOHDANOWICZ 1944: L. Bohdanowicz. The Polish Tatars. // Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 44, 116–121.
- BORAWSKI–DUBNINSKI 1986: P. Borawski, A. Dubiński. Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje. Warszawa.

- DUMIN 1999: S. Dumin. Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego. Gdańsk.
- DZIADULEWICZ 1929: S. Dziadulewicz. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce.–Wilno. Nowo wydanie: 1986 r. Warszawa.
- HALBWACHS 1967: M. Halbwachs. La mémoire collective. II edit. Les Presses universitaires de France. Paris.
- HALL 1989: St. Hall. Ethnicity: Identity and Difference. Speech delivered at Hampshire College, Amherst, Massachusetts, 19–25.
- HUTTON 1993: P. Hutton. History as an Art of Memory. UPNE – Iniversity Press of New England.
- JANKEVICIUTE 2010: G. Jankevičiūtė. Constructing National Identity: The Image of the Medieval Grand Duchy of Lithuania in Lithuanian Art from the 1920s to the 1990s. // Central Europe, Volume 8, Number 2, 158–180.
- KONOPACKI 2010: A. Konopacki. Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX wieku. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
- KONOPACKI 2011: A. Konopacki Religia tatarskiego общества na ziemiach Wielkiego Litowskiego княжества w świetle historycznych badań. //История Польши в историографической традиции XIX–начала XXI вв. Материалы Международной научной конференции, Гродно, 29–30 окт. 2009, 122–129.
- KRAWIEC 1936: L. Krawiec. Tatarzy w Polsce. Próba monografii historyczno-etnograficznej. Wilno.
- KRECH 1991: Sh. Krech. The State of Ethnohistory. In: Annual Review of Anthropology, Vol. 20, 345–375.
- KRYCZYŃSKI 1932: O. Kryczyński. Ruch nacjonalistyczny a Tatarzy Litewscy. // „Rocznik Tatarski”, T. I, 5–20.
- KRYCZYŃSKI–AZULEWICZ 1935: St. Kryczyński, J. Azulewicz. Polski Słownik Biograficzny. T. I, Kraków.
- KRYCZYŃSKI 1937: L. Kryczyński. Historia meczetu w Wilnie. Próba monografii. Warszawa.
- KRYCZYŃSKI 1938: St. Kryczyński. Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej. Rocznik Tatarów Polskich, 3. Warszawa. Reprint 2000, Gdańsk.
- KRYCZYŃSKI NAJMAN MIRZA 1935: L. Kryczyński Najman Mirza. Bibliografia do historii tatarów polskich. Zamość.
- LE GOFF J. 1977: Pour un autre Moyen âge. Temps, travail et culture en Occident. Paris. Editions Gallimard. 1977.
- LYOTARD 1979: J.-Fr. Lyotard. La condition postmoderne: rapport sur le savoir. Paris.
- MICKUNAITE 2006: G. Mickunaite. Making a great ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania. Central European University Press. Budapest.
- MISKIEWICZ 1990: A. Miśkiewicz. Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne. Warszawa.
- MISKIEWICZ 2009: A. Miśkiewicz. Kalendarium dziejów Tatarów w dawnej Rzeczypospolitej i okresach późniejszych do końca XX wieku. // Tatarzy polscy. Historia i kultura Tatarów w Polsce. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 19–26.
- MISKIEWICZ-KAMOŃSKI 2004: A. Miśkiewicz, J. Kamocki. Tatarzy słowiańszczyzną obłąskawieni. Kraków.

- MUHLINSKI 1858: A. Muchlinski Zdanie sprawy o tatarach litewskich. // http://books.google.hu/books?id=50IOAAAaAAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- MURRAY 1960: H. Murray (Editor). Mith and Mithmaking. Beakon Press. Boston.
- NOVAK 1971: M. Novak. The Rise of the Unmeltable Ethnics. New York: Macmillan.
- PODOLAK 2004: B. Podolak. Obraz Turcji i ludów tureckich w polskich podręcznikach do historii. // Wśród jarłyków i fermanów. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci d-ra Zygmunta Abrahamowicza. Kraków, 81–92.
- SCHWARTZC 1982: B. Schwartz. The Social Context of Commemoration: A Study in Collective Memory. // Social Forces, Vol. 61, No. 2, 374–402.
- SCHWARTZC 1991: B. Schwartz. Iconography and Collective Memory: Lincoln's Image in the American Mind. // The Sociological Quarterly, Volume 32, Number 3, 301–319.
- SMITH 1999: A. Smith. Ethno-symbolism and the study of nationalism. // A. Smith. Myths and Memories of the Nation. Oxford University Press. Oxford, 23-31.
- STEWART 2003: Ch. Stewart. Dreams of treasure. Temporality, historicization and the unconscious, Anthropological Theory, Vol. 3(4), 481–500.
- TALKO-HRYNCEWICZ 1932: J. Talko-Hryncewicz. Recenzje: S. Dziadulewicz. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce. Wilno. 1929. // Rocznik Tatarski T. I, 288–295.
- TALKO-HRYNCEWICZ 1924: J. Talko-Hryncewicz. Muślimowie czyli tak zwani Tatarzy litewscy. Kraków.
- TUHAN-BARANOWSKI 1896: M. Tuhan-Baranowski. O muślimach litewskich. Warszawa.
- TYSZKIEWICZ 1984: J. Tyszkiewicz. Stanisław Kryczyński i jego "Kronika wojenna tatarów litewskich". // Przegląd Humanistyczny, 2, 117–149.
- TYSZKIEWICZ 1989: J. Tyszkiewicz. Tatarzy na Lilwii i w Polsce. Studia z dziejów XIII–XVIII w. Warszawa.
- АЛЕКСАНДРОВИЧ-НАСЫФИ 1926: Дж. Александрович-Насыфи. Литовские татары. Краткий историко-этнографический очерк. // Известия общества обследования и изучения Азербайджана. №2, Баку.
- АЛТ 1906: Акты о литовских татарах. Акты издаваемые Виленской Археографической Комиссией для разбора древних актов. Т. XXXI. Вильно.
- БАТУНСКИЙ 1986: М. Батунский. Ислам и русская культура XVIII века. Опыт историко-эпистемологического исследования. // Cahiers du Monde russe et soviétique, Vol. 27, No. 1, 45–69.
- БУШАКОВ 1994: В. А. Бушаков. Этноним *татары* во времени и пространстве // Qasevet. № 1 (23), 24–29.
- ГРИШИН 2000: Я. Гришин. Польско-литовские татары: взгляд через века. Исторические очерки. Казань.
- ДЕЙВИС 2007: Н. Дейвис. Европа – Изток и Запад. Абагар. Велико Търново.
- ДУМИН 2012: Ст. Думин. Литовские татары – шесть столетий история. // A. Jakubauskas, G. Sitdykov, St. Dumin. Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga. Союз общин татар Литвы. Kaunas, 17–24.
- ДУМИН–КАНАПАЦКИ 1993: С. Думин, І. Канапацкі. Беларускія татары. Мiнулае і сучаснасць. Польшыя. Мiнск.
- ЗАЙЦЕВ 2007: И. Зайцев. Антоний Мухлинский и „Рисале-йи Татар-и Лех” // Фальсификация источников и национальные истории. Материалы круглого стола. Москва, 23–24.
- ИСХАКОВ 2004: Д. М. Исхаков (научн. ред.). Этнография татарского народа. Маргариф. Казань.

- КОЛЕВА–ГРОЗЕВ 2010: Д. Колева, Д. Грозев (съст.). История, митология, политика. УИ „Св. Климент Охридски”, София.
- ЛОТМАН–УСПЕНСКИ 1990: Ю. Лотман, Б. Успенски. За семиотичния механизъм на културата. // Ю. Лотман. Поетика. Типология на културата. Народна култура, София, 235–261.
- МУХЛИНСКИЙ 1857: А. Мухлинский. Исследование о происхождении и состоянии литовских татар. Санкт-Петербург.
- ПЕТРОВ–ШНИРЕЛЬМАН 2011: А. Петров, В. Шнирельман (отв. ред.) Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов. Актуальное прошлое: наука и общество. ИА. РАН, Москва.
- УРАЗМАНОВА–ЧЕШКО 2001: Р. К. Урузманова, С. В. Чешко (отв. ред.). Татары. Наука. Москва.
- ХОРОШКЕВИЧ 1994: А. Л. Хорошкевич (Отв. ред.). Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян. Изд-во МГУ, Москва.
- ЯНКОВА (под печат): В. Янкова. Образите на миналото. (За татарите в Литва и Полша). // Туркологически изследвания. Шуменски университет (под печат)
- ЯНКОВА 2012: В. Янкова. Татарите в Полша: въпроси на етноконфесионалната памет. // Slavica. Anales Instituti slavici Universitatis Debreceniensis. Debrecen 2012, 205 – 226.

Abstract

Images of the Tatars in Historiography and in Historical Memory (Based on Materials from Poland and Lithuania) (Part 2)

This text focuses on the problem of how historiography can generate memory and identity. Its aim is to find answers to the following questions:

What is the “the image of the Tatars” like, according to some emblematic historiographic works?

What is the role of historiography in the construction and maintenance of these ideas?

What is the place and significance of ideas about the past in constructing and maintaining the Tatar identity today?

There are some fundamental historiographic texts created from the mid 19th to the mid 20th century in which certain tendencies in constructing and perceiving the Tatar image are outlined. For example, there are certain Tatar topoi that can be traced in them. These contain typical themes, motives, and quotations, with a particular accent on the generative nature of the texts and on the rhetorical strategies pursued in them.

Conclusion:

From the mid 19th to the mid 20th century, historiography about the Tatars in present-day Poland and Lithuania reflects the enrichment of historical knowledge about the Tatars. It also seeks to refute stereotypes and create a positive image of Tatar past as a part of regional history. As a result, “the Great Tatar narrative” (in: J.-F. Lyotard), the Tatars are presented as a soldierly and heroic people that played an important role in the history of the Grand Duchy of Lithuania and its inheritors. This type of narrative and the image of the Tatars as soldiers and courtiers have had a significant influence on the formation of their collective image and self-image alike.

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

**ОБЗОР НОВЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ФОРМАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ
ГРАММАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ**

GYÖRFI BEÁTA

Поводом написания настоящего обзора служит появление в печати сборника под названием “Formalization of Grammar in Slavic Languages”, отредактированный П. Коста и Л. Шюркс в 2011 [КОСТА, ШЮРКС 2011]. Книга представляет собой сборник докладов, представленных на Восьмой европейской конференции о формальном описании славянских языков (FDSL VIII), проведенной со 2 по 5 декабря 2009 г. в Потсдамском университете. Доклады конференции были опубликованы в шестом томе периодики “Potsdam Linguistic Investigations”.

Конференция FDSL организуется с целью объединить молодых ученых, занимающихся формальным исследованием славянских языков в областях фонологии, семантики, синтаксиса, компьютерной лингвистики, и предоставить им возможность сообщить о последних достижениях в сфере формальной лингвистики, и осуществить совместные исследовательские проекты. Конференция проводится каждые два года с 2005 г. Потсдамский университет устроил ее уже четвертый раз.

Из докладов конференции в данном томе опубликованы 22, каждая из которых была проверена двумя рецензентами. Статьи касаются явлений русского, чешского, болгарского, хорватского, словенского и сербского языков при помощи разных современных теоретических приемов формальной лингвистики. Структура книги следует тематическому построению предыдущих изданий FDSL. Статьи распределены по 4 разделам: Фонетика и фонология, Машинный перевод, Семантика и Синтаксис.

Первая глава содержит статьи по фонетике и фонологии. Том начинается статьей А. Бичана “Structure of Syllables in Czech”, в которой изучается звуковой строй слогов в современном чешском языке, используя расширенную и формализованную Мулдером и его последователями [МУЛДЕР 1968, ЕЛШАКФЕХ 1987] версию метода функциональной фонологии. Структура слога определяется на основе модели «дистрибутивная единица», которая устанавливает распределение и комбинацию фонем. Сама дистрибутивная единица понимается как пучок позиций, каждая из которых рассматривается как синтагматическое место, где может появляться фонема. Набор фонем, способных выступать в определенной позиции образует «парадигматический позиционный класс» (paradigmatic position class). Согласно исследованию Бичана дистрибутивная единица в чешском языке располагает десятью позициями: одной ядерной, пятью пред-ядерными и четырьмя после-ядерными. Число пред-

и после-ядерных позиций соответствует количеству согласных, которые могут появляться в начале или в конце слога. Каждая позиция может быть заполнена фонемой определенного класса. Данные классы вместе со структурой дистрибутивной единицы представляют основную модель фонотактической структуры чешского языка. Настоящая модель способна описать все возможные сочетания согласных в чешском языке, при ее помощи можно предсказать сочетания, которые не засвидетельствованы, но все-таки структурно возможны. Сочетание, которое не может образовываться дистрибутивной единицей, оказывается незаконным в чешском языке.

В статье “Merger of the place contrast in the posterior sibilants in Croatian” анализируются причины слияния различия по месту образования между постальвеолярными /č, dž/ и препалатальными /ć, đ/ аффрикатами. В разговорной речи данные звуки часто не различаются. Автор видит одно возможное объяснение в «плотности инвентарей». Термин взят из теории дисперсии [ЛИЛИЕНКРАНЦ & ЛИНДБЛОМ 1972]. В инвентарях с большим количеством противопоставлений одно и то же самое перцепционное место разделяется большим количеством фонем. Таким образом, определенные звуки становятся перцепционно ближе, а следовательно будут более склонны к неправильному восприятию или к слиянию. Плотность шипящих в хорватском языке является самой высокой среди европейских языков. Однако сравнение хорватской системы шипящих с польской показывает, что структуральные факторы сами по себе не способны вызвать слияние.

В хорватском языкознании имеется и традиционное объяснение для изучаемого явления, согласно которому имеется связь между слиянием аффрикат и диалектным происхождением говорящих [ШКАРИЧ 2009], так как в некоторых диалектах хорватского языка данные звуки фонематически совсем не различаются.

В последующей части статьи автор выполняет фактическое исследование явления среди носителей хорватского языка, и приходит к выводу, что для таких говорящих, у которых и в родном диалекте различались аффрикаты, не устанавливается новая классификация релевантных перцептуальных ограничений. Однако, для говорящих тех диалектов, в которых различие по месту образования шипящих не существует, данное различие не может быть усвоено из стандартного хорватского языка, поскольку языковые данные оказываются противоречивыми. В статье допускается предположение, что говорящие с разным диалектным происхождением усваивают стандартный язык как иностранный. Данное предположение проверено и формальным анализом в рамках теории оптимальности [ПРИНС & СМОЛЕНСКИ 1993].

Центральной проблемой работы “Features of Common Slavic Ablaut Alternation” является характеристика старославянского аблаута. Теоретической основой служат аналитический подход Маркуса [МАРКУС 1967] и метод фонематического описания Хьюби [ХЬЮБИ 1999]. Автор исходит из предположения, что подобно фонемам, разные степени аблаута могут быть описаны определенным набором значений. Каждое значение характеризуется тремя

критериями: гомогенностью, совместимостью и противопоставленностью. Два взаимно противостоящих значения образуют один признак аблаута. На основе этого автор в старославянском языке выделяет три признака аблаута: редуцированная/нередуцированная степень, удлинённая/неудлинённая степень и *e*-степень/*o*-степень. Настоящая система открывает новые пути для характеристики морфологии корней старославянского языка.

Сборник содержит единственную работу по машинному переводу, статью “Towards a Rule-Based Machine Translation System Between Czech and Russian”. Авторы представляют текущую работу над выработкой машинно-переводческой системы между русским и чешским языками. Данная система реализуется в пределах уже действующей системы *Česílko*, которая включает в себя такие пары языков, как чешский и словацкий, или чешский и польский. Представленная переводческая программа работает по правилам, потому что результат применения системы по правилам даёт более грамматические решения для родственных языков. Система имеет три компонента: словарь, морфологический анализ и синтез, и набор синтаксических правил. Поскольку система ещё не полностью разработана, авторы сосредотачивают внимание на словаре и синтаксических правилах перемещения. При составлении словаря, для того чтобы получить правильный перевод, словарные статьи русских существительных снабжены такими морфологическими свойствами, как род и одушевлённость. Что касается синтаксиса, чешский и русский различаются в ряде конструкций (как напр. условное наклонение, возвратные формы, отрицательная частица и приставка, *pro*). Данные различия служат базой для разработки синтаксических правил перемещения.

Глава по семантике содержит три работы. Исходным пунктом статьи Ж. Глушана “On animacy and unaccusativity in Russian» является гипотеза «неаккузативности» Перлмуттера [ПЕРЛМУТТЕР 1978], по которой различаются два типа интранзитивных глаголов – неаккузативные и неэргативные. Структурально данное различие возводится к тому, что единственный аргумент глагола может занимать в глубинной структуре разные позиции: неаккузативные предикаты выбирают единственный аргумент внутри VP, в то время как неэргативные глаголы – вне VP. Автор статьи предлагает более подробную классификацию, исходя из того, что интранзитивные субъекты могут иметь 4 тематические роли. Для подробного изучения проблемы автор обращается к анализу тета-декомпозиции, разработанному Рейнхартом [РЕИНХАРТ 2002]. Глушан демонстрирует, что аккузативность в русском тесно связана с категорией одушевлённости, поскольку последняя играет роль во всех текстах с аккузативностью в русском. Представленный анализ вносит важный вклад в теорию аккузативности в русском языке и на межъязыковом фоне.

Тема статьи “Inductive vs. Non-inductive generics in Russian and Bulgarian” была изучена главным образом на материале английского и французского языков, где обобщённое значение выражается или через пустые формы множественного числа, или неопределённой формой единственного числа. Разница между двумя типами обобщённости впервые была замечена Лолером

[ЛОЛЕР 1973]. Автор статьи старается показать, что оба типа обобщенного значения находит выражение в русском и болгарском языках, но не только в именной группе, а и через аспектуальные признаки глаголов. Для исследования были выбраны данные языки, потому что в их аспектуальной системе имеется оппозиция между перфективным и имперфективным аспектом. Это дает возможность рассмотреть, какую роль играет аспект глаголов в интерпретации предложений с обобщенным значением. Именные группы русского и болгарского языков проявляют различия: в русском отсутствуют артикли, в то время как в болгарском имеется неполная система артиклей (с отложенным определенным артиклем). На основе фактического исследования автор доказывает, что существует корреляция между формой NP и аспектуальным характером глаголов в индуктивных и неиндуктивных обобщенных предложениях в обоих языках. Несовершенный вид служит для выражения дескриптивной обобщенности, а совершенный вид используется для передачи неиндуктивных обобщенных значений. Множественное число употребляется для выражения дескриптивных/индуктивных значений, а формы единственного числа (пустая NP, неопределенная NP, которую возглавляет *един*) используются для выражения неиндуктивной обобщенности. Выражение индуктивной и неиндуктивной обобщенности оценивается и с межъязыковой точки зрения. В языках как английский или французский, разница между двумя типами обобщенности находит выражение в строе NP. В языках, не имеющих артиклей, как например русский или польский, различие выражается при помощи видового признака глагола. А языки как болгарский занимают промежуточную позицию между двумя крайностями, поскольку разница отмечена и формой существительного и аспектуальным свойством глагола.

Статья “A Compositional Semantics for Comitative Constructions” изучает комитативные конструкции (КК). Имеются несколько видов комитативных оборотов и разные критерии были предложены для их разграничения. Предыдущие подходы к КК фокусировали на синтаксических аспектах и объясняли разницу между типами на основе их синтаксических свойств. Автор статьи предполагает, что три типа КК имеют тождественную синтаксическую структуру, разница между которыми вытекает из трех разных семантических репрезентаций. Транвински предлагает композиционно-семантический анализ, который одинаково объясняет все возможные интерпретации КК. В качестве примеров рассматриваются польские предложения, так как все три типа КК существуют в польском языке. Представляется и семантическая типология комитативных конструкций.

Последняя глава тома является самой обширной, так как формальные методы широко распространены в синтаксисе.

В работе Антоненко “Binding by Phase: Principle A in Russian” рассматривается широко изученная проблема, вопрос об уровнях использования принципов связывания. Бытуют разные предположения о том, как действуют данные принципы (на уровнях LF или SS, деривационно). Для решения проблемы автором изучается структура русских изъявительных и сослагательных

предложений при помощи признакового подхода минимализма. Антоненко устанавливает, что сослагательные глаголы имеют неочечные Т-признаки, хотя формально в них выражена категория времени. Таким образом, вытеснение признаков может привести к изменению отношений. Данный взгляд подтвержден анализом таких явлений, как устранение субъекта (*subject obviation*) или интеракция связывания и дальнейшего скремблирования. Рассмотрение этих вопросов разрешает автору предположить, что принцип А является не деривационным, а циклическим.

Статья С. Френкса “Dynamic Spell-Out as Interface Optimization” занимается малоизученным модулем минимализма, «озвучиванием» (Spell-Out). Данный уровень репрезентации является новшеством минимализма по отношению к предыдущим версиям порождающей грамматики, и представляет собой единственный пункт интеракции между синтаксисом и интерфейсами. Автор старается дать обзор явлений, входящих в сферу озвучивания, то есть изучает ряд явлений синтаксиса, мотивированных фонетической формой. Он рассматривает взаимодействие таких факторов как линеаризация, лексикализация и удаление. На основе этих анализов автор считает, что главной задачей озвучивания является оптимизация PF, и данный процесс происходит деривационным путем. Он также выражает мнение, что данный модуль является более сложным, чем это предполагали прежде, и многие явления, которые традиционно воспринимались как части синтаксиса, оказываются реакциями на требования PF.

В публикации “Wh-Words and the indefinite Particle *-to* in Russian” исследуются морфосинтаксические, семантические и прагматические свойства русских вопросительных частиц и неопределенной частицы *-to* в рамках минимализма. Анализ основан на предположении Циммермана [ЦИММЕРМАН 2000, 2008] о том, что вопросительные частицы являются предикативными выражениями (NP, AP), которые могут быть включены в состав PP или DP с пустой вершиной. Предлагается общий анализ частиц, независимо от функциональных различий. Вопросительные частицы с неопределенной частицей *-to* возглавляют NP, или выступают модификаторами и носят значение определенности. Исходная и поверхностная позиция вопросительных частиц и частицы *-to* различаются. В статье показано, что вершины Р, D или пустые вершины привлекают эти вопросительные частицы к соответствующим Spec позициям. Авторы убеждены в том, что предлагаемый анализ допустим не только для русского языка, но и на межъязыковом уровне.

Исследовательское внимание работы “Czech questions with two wh-words” фокусируется на трех вопросительных структурах чешского языка: на структуре, где обе вопросительные частицы перемещены к началу предложения, на структуре, где вопросительные частицы перемещены к началу и связаны союзом, и на структуре, в которой одна из частиц перемещена налево, а другая находится в конце предложения с союзом. Учитывая тенденцию, что языки стремятся к экономии, автором доказано, что и в случае этих структур, за разными синтаксическими выражениями скрываются разные интерпрета-

ции. Далее, изучение синтаксической структуры этих конструкций обнаруживает новую информацию об области CP в чешском языке.

Статья “Optionality of the Genitive (of Negation) in Slovene” исследует родительный отрицания (PO) в словенском языке с межъязыковой точки зрения, при помощи падежной теории минимализма. Среди славянских языков выделяются три группы в зависимости от наличия PO: языки, в которых явление отсутствует; языки, в которых он факультативен; и языки, где он обязателен. Словенский по традиционным грамматикам считается языком, где данное явление обязательно, однако примеры разговорного языка показывают, что факультативный PO также возможен. В таких случаях родительный чередуется с винительным падежом. Согласно автору факультативность PO может быть исследована явлениями «выбор *f*-признаков» и «probing» [Беилин 2004]. То есть, выбор род./вин. падежа в сфере отрицания определяется характером изменчивого признака существительного: в случае родительного отрицания изменчивым признаком является квантификация, который должен согласоваться с главой Q, выбранным главой NEG. В случае винительного падежа изменчивым признаком является непроверенный признак предельности, который в свою очередь согласуется с признаком [telic] в AspP, как это привычно в неотрицательных предложениях.

Статья “On development of antipassive function: what do Australian and Slavonic languages have in Common?” поднимает интересную проблему – явление антипассивных конструкций. Данные структуры традиционно считаются присущими эргативным языкам, однако, согласно последним открытиям, они существуют и в языках номинативного строя. В работе рассматривается данное явление на материале славянских языков, в первую очередь польского. Как межъязыковые исследования показывают, в некоторых эргативных языках антипассивные конструкции морфологически связаны с возвратными. Родственная морфология двух форм особо намечается в австралийских языках. Подобное морфологическое совпадение дает о себе знать и в других генетически не родственных языках, например в славянских. Это поднимает вопрос о возможной связи двух оборотов. С одной стороны, справедливым является предположение, что конструкции восходят к общим источникам, однако история антипассивных конструкций не была изучена в австралийских языках. На основе синкретизма двух форм обоснованным является предположение, что морфологическое совпадение объясняется полисемическим характером маркера возвратности. Антипассивы составляют неоднородный класс конструкций. По типологическим исследованиям в большинстве случаев маркер антипассива является многофункциональным по характеру, и связан или с категорией аспекта/модальности или возвратности. Для объяснения эволюции антипассива в соотношении с возвратностью автор обращается к функциональной теории Гивона [Гивон 2007], согласно которой частичное подобие или функциональное совпадение считаются мотивирующими факторами, вызывающими диахроническое расширение синтаксических конструкций. На основе этого автор предполагает, что в славянских языках ан-

типассивы развивались из возвратных форм. Дается и функциональное сопоставление конструкций, где автор демонстрирует, что разница между оборотами наблюдается в причине опускания объекта. Исследование показывает, как развивался антипассив диахронически из возвратности через функциональное расширение на основе функциональных подобий. Возвратные формы претерпели грамматикализацию, но в славянских языках они еще находятся *в процессе* грамматикализации.

Статья “Dislocated Direct Objects in Macedonian” обращает внимание на проблему дислокации объектных групп детерминанта (DP) и на их употребление с клитиками в македонском языке. Автор показывает, что распределение клитиков с объектами определено строгим/слабым признаковым характером DP, с которыми они стоят. Автор приводит доводы, что удваивание DP в македонском регулируется критерием «клитичности» [СПОРТИХЕ 1998], то есть клитики, удваивающие объектные DP, проверяют [+strong] *f*-признак таких DP. Новшеством исследования является то, что автор предлагает новое, тройное разделение DP в македонском, согласно которому группы детерминанта могут быть строгими, слабыми или неопределенными по этому признаку.

В статье “Causatives and Anti-Causatives, Unaccusatives and Unergatives: Or how big is the contribution of the lexicon to syntax?” автор характеризует связь между словарем и синтаксисом, обращаясь к теориям дистрибутивной морфологии и «ROOT-семантики» глаголов. Автор ставит целью проиллюстрировать связь между синтаксисом и семантикой каузативных и некаузативных глаголов на материале чешского и немецкого языков. Перечисляются признаки внешне и внутренне каузативных глаголов, и далее раскрывается их связь с явлением неаккузативности. На основе представленного исследования автор предлагает новую, универсальную классификацию глаголов по критериям каузативности, по которой различаются 4 вида глагольных корней: агентивные, внешне каузативные, внутренне каузативные, и глаголы, у которых причина действия не указана.

В исследовании “Reciprocity and similar meanings in Slavic Languages and SAE” представляются некоторые важные признаки взаимных конструкций в славянских языках, в сравнении с соответствующими оборотами других индоевропейских языков. Автор старается выяснить, может ли выражение взаимности отграничивать славянские языки от группы языков, под названием «Standard Average European» [ХАСПЕЛМАТ 2001]. В работе излагаются разные виды выражения взаимного значения. Выясняется, что все изучаемые языки имеют многократные маркеры для выражения взаимного значения, однако раскрываются общие основные системные правила, лежащие в основе системы взаимности. Автор делает вывод, что нельзя различить два чистых типа языков на основе взаимных и возвратных конструкций, причем здесь мы имеем дело скорее с континуумом.

Синтаксическая структура предложных групп (PP) вызывает несогласие среди лингвистов. Единогласие имеется только в том, что PP имеют сложную

внутреннюю структуру с минимально двумя уровнями для пространственных РР: внутренний уровень для означения места, и внешний уровень, который означает направление. Автор статьи «Pps of different Sizes» предполагает на основе сопоставительного анализа славянских и романских языков, что структура РР не единообразна, а имеются различия в количестве функциональных проекций внутри РР. Автор рассматривает три критерия для внутренней структуры РР: возможность включения выражений меры; свойства связывания; и возможность включения плавающих кванторов. На основе изучения данных критериев автор приходит к выводу, что языки различаются по количеству функциональных структур внутри РР. Русский и французский обладают самым маленьким количеством. Испанский, сербский, хорватский имеют самую большую структуру, поскольку эти языки допускают плавающие кванторы. Исследование указывает и на то, что функциональная структура РР может быть различной даже внутри одного и того же языка.

Работа “Multiple Sluicing: A purely syntactic account” дает обзор явления многократного «sluicing (шлюзования)» в русском языке. Исследование основано на анализе свойств множественных вопросительных частиц, поскольку слусинг и вопросительные частицы считаются зависимыми. До сих пор исследования исходили из того, что русский принадлежит к языкам без *wh*-передвижения. В статье приводятся доказательства в пользу того, что и в русском происходит *wh*-передвижение в таких случаях, где признак [+*wh*] является сильным. В этом понимании многократный *sluicing* редуцирован до эллипсиса IP. Данный подход имеет последствия и для других явлений связи с вопросительными частицами.

Тема последующего исследования – “Wh-scope marking strategies in Polish” – является подобной, поскольку в нем рассматривается «маркирование широкой *wh*-области» определения (long *wh*-scope marking) в польском. В статье проводится анализ конструкций, содержащих «*jak w*» и «*co, że w*». Структуры сопоставляются с подобными оборотами языка хинди, с так называемыми IDA-конструкциями, а также рассматриваются реакции носителей польского языка. Автор высказывает мнение, что структуры с «*jak w*» на уровне синтаксиса лучше трактовать как паратактическая последовательность двух самостоятельных вопросов. Структурально «*jak*» не является аргументом, а дополнением, которое является эквивалентом маркеров точки зрения. Структура является связанным с ситуацией через категорию времени, выбор адресата и глагола. Конструкция не соответствует явлению маркирования широкой *wh*-области типа IDA. Однако, конструкция «*co, że w*» принимает *wh*-аргумент в матричной клаузе. «*Co*» синтаксически порождается как объект матричной клаузы, и передвигается в начальную позицию. Соответственно, «*co*» рассматривается как квантор, и оборот соответствует конструкциям IDA. Кроме того, структура является гибкой относительно времени, выбора адресата и глагола. Что касается исследований подобных оборотов на межъязыковом уровне, Даял [ДАЯЛ 2000] высказал мнение, что имеется континуум между IDA- и DDA-конструкциями. На основе фактов польского

языка можно дополнить этот взгляд тем, что имеется континуум и между адьюнктом точки зрения и IDA.

«Да» широко употребляется в сербских синтаксических конструкциях. В статье «How many da(s) are there in Serbian?» рассматриваются структуры, которые служат дополнениями индикативных и субьюнктивных глаголов в связи с видом, временем и отрицанием. Автор делает вывод, что *да*-дополнения ведут себя по-разному после индикативов и субьюнктивов. Для того, чтобы лучше понять данные обороты, автор сопоставляет их с соответствующими конструкциями другого балканского языка, а именно греческого. Через примеры оказывается, что в греческом употребляются частицы и *комплементайзеры* другого типа. Для того, чтобы решить проблему о том, существует ли тождественное «да» в других языках, необходимы дальнейшие исследования.

Статья “On Slavic and Finno-Ugric vs. Standard Average European” посвящена понятию *языка средневропейского стандарта* (Standard Average European). Термин был введен Уорфом [УОРФ 1941], а его главные особенности установлены Хаспелматом [ХАСПЕЛМАТ 2001]. К данному языковому союзу относятся романские, германские, балканские и балто-славянские языки, и также западно финно-угорский венгерский. Германские и романские языки составляют ядро SAE, а балтийские и славянские – периферию. В статье перечисляются и рассматриваются признаки SAE (определенные артикли, стратегии релятивизации, перфект, пассив). Автор делает вывод, что с одной стороны, наблюдается значительное различие в распределении этих признаков – встречаются различия даже среди славянских языков. А с другой стороны, некоторые признаки являются противоречивыми. Существуют и признаки, которые отделяют финно-угорские языки от SAE. Ценными моментами статьи являются таблицы, в которых подытожены параметры для отдельных признаков. При помощи этих таблиц можно калькулировать «расстояние» между языками. В конце статьи автор делает интересные замечания о корреляции языков.

В последней статье тома “Some multiply prefixed 'verbs' as covert serial verb constructions” рассматриваются некоторые многократно приставочные славянские глаголы (SVC) в новом ракурсе. По традиционному анализу многократно приставочные глаголы возникают как комбинации глагола и приставки внутри VP, а другая приставка порождается вне VP в области Infl. Автор связывает их с серийными глагольными конструкциями, которые являются комбинациями двух глаголов с одним временным значением, и без маркеров сочинения или подчинения. Автор предлагает анализ, по которому конструкция считается комбинацией двух VP. Оригинальность идеи заключается в том, что в славянских языках нет серийных глагольных конструкций, однако – если предположим наличие фонологически пустых глаголов – могут существовать и SVC с нулевыми глаголами. Вдвойне приставочные аккумулятивные *на*-глаголы иллюстрируют данное предположение. Они содержат

две VP внутри одной TP/AgrSP, как и SVC. Данный взгляд далее подкрепляется распределением аргументов между двумя VP.

Рецензируемый сборник “Formalization of Grammar in Slavic Languages” является ценным набором докладов самой престижной в Европе конференции по формальной лингвистике. Книга содержит исследования в разных областях формальной лингвистики. Подобно другим сборникам материалов конференций, опубликованные статьи, естественно, написаны не на одинаковом уровне. Имеются работы (напр. статья Н. Тодоровича), которые не предлагают конкретного решения на поднятые в них вопросы, а другие, как например статья Томмола, уже успешно использовались в типологическом анализе болгарского языка [см. БАЛАЖ 2014].

Книга красиво оформлена, а статьи целюно отредактированы, хотя в некоторых местах (как например у Горишневой) библиографические ссылки нуждаются в дополнении. Формальные методы исследования, к сожалению, до сих пор не являются распространенными в славянском языкознании. До нынешнего дня в свет вышло немного публикаций на русском языке, в которых явления русского языка изучаются в русле формальных направлений, и число «восточных» русистов занимающихся генеративной лингвистикой не достигает числа «западных» коллег [БИБОК 2009]. Надеемся, что рецензируемый сборник – несмотря на то, что он написан на английском языке – внесет свой вклад в распространение их трудов.

Библиография

- БАЛАЖ 2014: Балаж Г. Л. Типологически стереотипии относю статуса на българския език // *Studia Hungaro-Bulgarica* 4. (рукопись).
- БЕИЛИН 2004: Bailyn, J. The case of Q. // *Proceedings of FASL 12*. Michigan Slavic Publications.
- БИБОК 2009: Бибок К. О соотношении теоретического языкознания и русистики // *Studia Slavica Hung.* 54/1. 1–19.
- ГИВОН 2007: Givón, T. On the relational properties of passive clauses. A diachronic perspective. In: Fernández, Z.E. . Wichmann, S., Chamoreau C., González, A. A. eds. *Studies in Voice and Transitivity*. München.
- ДАЯЛ 2000: Dayal, V. Scope marking: Cross-linguistic Variataion in Indirect Dependency // Lutz, U., G. Müller & A. von Stechow (eds.) *Wh-Scope Marking* 157–194.
- ЕЛ-ШАКФЕХ 1987: El-Shakfeh, F. The phonematics, phonotactics and para-phonotactics of southern Standard British English. University of St. Andrews. Unpublished PhD. Thesis, available at <http://ethos.bl.uk>
- КОСТА & ШЮРКС 2011: Peter Kosta, Lilla Schürcks eds. *Formalization of Grammar in Slavic Languages*. Frankfurt am Main
- ЛИЛЙЕНКРАНЦ & ЛИНДБЛОМ 1972: Liljenkrantz, J., Lindblom, B. Numerical stimulation of vowel quality systems: the role of perceptual contrast. // *Language* 48, 839–862.
- МАРКУС 1967: Marcus, S. *Introduction mathématique á la linguistique structurale*. Paris.
- МУЛДЕР 1968: Mulder, J. *Sets and Relations in Phonology*. Oxford

- ПЕРЛУМТТЕР 1978: Perlmutter, D. Impersonal passive and the Unaccusative Hypothesis. // Jaeger, J. et al (eds.) Proceedings of the fourth annual meeting of the Berkeley Linguistic Society. University of California at Berkeley, 159–189.
- ПРИНС & СМОЛЕНСКИ 1993: Prince, A., Smolensky, P. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Tech. Report in Rutgers University Center for Cognitive Science, New Brunswick, NJ. Report No RuCCs-TR-2.
- РЕИНХАРТ 2002: Reinhart, T. The theta-system – an overview. // *Theoretical Linguistics*. 28, 229–290.
- СПОРТИХЕ 1998: Sportiche, D. Partitions and Atoms of Clause Structure: Subjects, Agreement, Case and Clitics. New York/London.
- УОРФ 1941: Whorf, B. L. The relation of habitual thought and behaviour to language. // Spier, L. (ed.) *Language, culture and personality: essays in memory of Edward Sapir*
- ХАСПЕЛМАТ 2001: The European linguistic area: Standard Average European. *Handbuch der Sprach- und Kommunikationswissenschaft* vol. 20.2. 1492–1510.
- ХЬЮБИ 1999: Hubey, H. M. *Mathematical and Computational Linguistics*. München.
- ЦИММЕРМАН 2000: Zimmermann, I. Die Analysierbarkeit von Pronomen und Proadverbalia. // Bittner, A., D. Bittner & K.-M. Kopcke (eds.) *Angemessene Strukturen: Systemorganisation in Phonologie, Morphologie und Syntax*. Hildesheim, Zurich, New York, 261–282.
- ЦИММЕРМАН 2008: Zimmermann, I. On the syntax and semantics of *kakoj* and *čto za*. // *Russian Journal of Slavic Linguistics* 16.2, 289–305.
- ШКАРИЧ 2009: Škarić, I. *Hrvatski izgovor*. Zagreb.

ИГОРЬ СУХИХ, РУССКИЙ КАНОН. КНИГИ XX ВЕКА. МОСКВА: «ВРЕМЯ», 2013, ISBN 978-5-9691-0767-0, 863 с.

Успели ли книги, написанные в XX веке стать частью канона русской литературы к началу следующего столетия? Этот вопрос чрезвычайно интересен в отношении тех книг, которые до середины восьмидесятых годов мы могли (в лучшем случае) читать в самиздате. Можно ли уже говорить о некоем каноне русских произведений прошлого века? Литературный канон является не неким устойчивым явлением, он непрерывно изменяется под давлением истории, литературоведов и даже издательств. В данной книге «Русский канон: Книги XX века» И. Н. Сухих, профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского университета, знакомит читателей с каноном, сформировавшимся к началу нового тысячелетия из наследия прошлого столетия.

Особый жанр, жанр литературного обзора, – к которому принадлежит и «Русский канон: Книги XX века» – расцвел на рубеже столетий и тысячелетий. Возросший интерес в начале нового века к работам, посвященным самым ценным произведениям (цель которых – оказать читателям помощь в литературном ориентировании), кажется вполне понятным и со стороны читателей, и со стороны литературоведов. Прошлый век ушел, наступают новые времена, которые требуют нового подхода к прошлому. Мы должны не только подытожить наше наследие, но и, отсортировав его, расставить новые акценты: подчеркнуть забытые произведения и исключить те, которые в свое время вызвали фальшивые отклики в критических публикациях. То есть перед литературоведами стояла задача: сформировать приемлемый канон бессмертных книг XX века.

Сухих еще в конце прошлого века начал выделять из огромного числа произведений XX века те книги, которые можно считать классикой, и в журнале «Звезда» стал публиковать о них свои очерки. Хотя Сухих с самого начала планировал писать о двадцати книгах, книга о первой десятке, оглавление которой совпадает с названием данного сборника («Книги XX века. Русский канон», М., 2001) была издана в 2001 году с расчетом на восприимчивость читателей и критиков к таким жанрам. И книга действительно вызвала около полутора десятков рецензий. Хотя автор включает в свой труд последнего издания всего десять эссе из первого варианта, он не скрывает замысла продолжения своей работы и называет еще десять книг, которые входят в данную, не только им дополненную книгу, рассматривающую уже тридцать произведений.

Из содержания видно, что Сухих в хронологическом порядке обсуждает эти литературные работы, но не привязывает их к литературным направлениям, разделяя XX век на литературные периоды. При анализе текстов он работает с огромным количеством материала, использует дневники, высказывания современников, мнения критиков, научные работы литературоведов. Но все-таки он старается писать эссе на доступном языке, закладывая в них огромную информативность, включая интересные детали об истории создания про-

изведений или о первых написанных о них критических текстах, мнениях современников. О концепции отбора нам представляется важным заметить, что Сухих принимает во внимание тексты не «короткого двадцатого века» (1917–1991) – четыре книги выходят за эти условные пределы.

Хотя Сухих не стал точно определять критерии своего отбора и не объясняет, при помощи каких методов анализирует тексты, он все же пытается подвести свой перечень под некую концепцию. Он обрисовывает смену трех важных элементов русской литературы (не исключая их параллельного существования в некоторые периоды) – самыми важными свойствами русских текстов называет «пророчество», «провокацию» и «свидетельство». По мнению Сухих, пророчество доминирует в русской литературе до советской эпохи, после которой писатели-продолжатели этой парадигмы стали подпольными, эмигрантскими писателями. «Что же тогда остается на долю литературы, если пророчески-провокативная функция ее весьма сомнительна? Извечная, глубинная роль образа как свидетельства о времени и человеке, создателе, авторе».

Сухих, кроме обоснование отбора, считает важным сказать несколько слов в своем предисловии и о сущности канонизации. «Канонизация – не плод чьих-то персональных усилий (...), механизмами канонизации становятся кроме первоначального мнения критики, издательская практика (...), школьное преподавание, историко-литературные исследования. [Сухих, 2013, 7] Нужно тщательно проследить, по каким критериям сформировался и что отражает список Сухих. Отобрал ли он произведения, канонизировавшиеся по «решению власти», или он изучает художественные вершины, которые выдержали испытания временем и сменой политических режимов, кажущиеся бессмертными и в постсоветской критике. Сухих говорит, что хотя «в ближней истории происходят более или менее существенные сдвиги (...), контуры русского канона уже прояснились и вряд ли будут подвергнуты принципиальному пересмотру» [там же, 8]. Сухих принимает тот факт, что с точки зрения эстетического или языкового оформления, а также специфики структурного построения произведения, часть русского канона составляют и сомнительные тексты. И, как мы можем заметить, в своем списке он также не избегает подобных не совсем удачных текстов. Сухих в данной работе описывает не самые лучшие произведения XX века (самые лучшие книги и канонизированные книги – это две разные вещи), а такие произведения, которые невозможно было бы удалить из русской литературной традиции, без того, чтобы на их месте не образовалось пустого места, и написанные позже произведения не стали необоснованными.

Список Сухих: Антон Чехов, «Вишневый сад»	Михаил Шолохов, «Тихий Дон»
Максим Горький, «Мать»	Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»
Андрей Белый, «Петербург»	Иван Бунин, «Темные аллеи»
Евгений Замятин, «Мы»	Александр Твардовский, «Васи- лий Теркин»
Михаил Булгаков, «Белая гвар- дия»	Борис Пастернак, «Доктор Жива- го»
Исаак Бабель, «Конармия»	Александр Солженицын, «Архи- пелаг ГУЛАГ»
Александр Фадеев, «Разгром»	Варлам Шаламов, «Колымские рассказы»
Юрий Олеша, «Зависть»	Венедикт Ерофеев, «Москва- Петушки»
Андрей Платонов, «Чевенгур»	Андрей Битов, «Пушкинский дом»
Николай Эрдманб «Самоубийца»	Василий Шукшин, «Характеры»
Михаил Зощенко, «Сентимен- тальные повести»	Валентин Распутин, «Прощание с Матерой»
Илья Ильф и Евгений Петров, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»	Юрий Трифонов, «Старик»
Гайто Газданов, «Вечер у Клэр»	Сергей Довлатов, «Заповедник»
Леонид Добычин, «Город Эн»	Георгий Владимов, «Генерал и его армия»
Владимир Гиляровский, «Москва и москвичи»	
Владимир Набоков, «Дар»	

Сухих начинает свой список с Чехова, который полностью обновил классическую драматургию. Сухих, учитывая и излагая критические замечания других литераторов, поднимает вопросы и проблемы, ставшие уже неизбежными при обсуждении чеховских комедий, которые можно назвать уже полностью канонизированными подходами к анализу. Он изучает различия между внешним и внутренним действиями, говорит о паузе как о средстве обнаружения второго сюжета, раскрывает комические и трагические элементы пьес, касается и атмосферы чеховских комедий, и нервности героев.

Пьеса «Вишневый сад» во время своей публикации вызвала противоречивые мнения. Даже великий режиссер той эпохи, Станиславский не знал, что делать с чеховскими героями, которые кажутся не живыми людьми, а бездушными куклами. В чеховских пьесах герои поддерживают не настоящую разумную беседу, они просто не слышат друг друга, и в некоторых высказы-

ваниях отвечают не впопад. Чехов целиком перерабатывает структуру драмы, его пьесы состоят из четырех действий. Это представляется полным абсурдом, ведь «приличной» драме пристало состоять из трех или пяти действий. У Чехова отсутствует не только одно действие из классической структуры (экспозиция, начало изложения, развитие изложения, завязка, развязка), но и в корне разрушается построение классической драмы. К тому же, он вырезает из текста все важные события, случившиеся ранее на сцене. Тем самым лишая пьесы самой важной характеристики – действия. Из трех единств драмы, кроме действия, Чехов ломает также и единство времени. Сухих детально пишет о том, что пьесы Чехова переполнены временными указателями. Литературовед ищет ответ на вопрос о том, какую природу имеет время разных персонажей и какой герой по какой шкале измеряет время. В чеховских драмах все, что должно быть акцией (поступками), проявляется в диалогии (в речи). Самые важные части пьесы на сцене не изображены (например, продажа на торгах сада), т.к. все акции превращаются в диалогии. Таким образом, его пьесы трансформируются в произведения, которые характеризуются вербальностью.

Сухих в главе о Горьком упрекает автора в его одномерно пластических героях и стиле текста, превращающегося местами едва не в автопародию. Хотя роман «Мать» получил всемирную известность, даже сам Горький не считал его своим самым удачным произведением. И он действительно стал любимой книгой пролетариата не из-за своих эстетических достоинств. «Мать» является новым типом реалистического и социального романа, через который автор призывает к народу. И в котором совершается переоценка всех прежних ценностей литературы. Этот роман посвящен людям труда с целью повлиять на мировоззрение молодежи, превратить читателей-демократов в революционных борцов. Критика, не принявшая социально-нравственную художественную позицию Горького, часто аргументирует против него тем, что у него отсутствует интерес к «вечным темам», к общим проблемам человечества. Но тот факт, что «Мать», несмотря на его ошибочное эстетическое или языковое оформление, составляет часть русского канона, свидетельствует об огромном влиянии Горького. Несмотря на то, что Сухих сильно критикует этот текст, он отчетливо видит, что этот роман нельзя исключить из списка канона, так как он написан в духе нового литературного направления, которое в дальнейшем будет называться социалистическим реализмом.

В главе о «Петербурге» Белого также не возникает вопроса о месте романа в каноне. Этот роман является пиком литературы XX века, продолжателем традиции Пушкина, Гоголя и Достоевского. Белый хотел написать трилогию (роман «Петербург» мыслился как вторая часть) под названием «Восток и запад», и в этой трилогии он хотел показать всю историю, идеологию, самую суть России. Но трилогию написать ни одному хорошему писателю, в том числе и Белому, не удалось. В романе «Петербург» он представил западные силы России, и хотел представить не реалистическую картину, а написать о мифах этого города.

Сухих называет роман «мозговой игрой», у которой фабула на первый взгляд проста для семейного романа. По мнению Сухих персонажи и ситуации архетипичны, но Белый собирает образ из вроде бы случайных деталей. Но спустя сто страниц вдруг выясняется, что словесная метафора – важный сюжетный эпизод. Белый придумал такой прозотехнический прием, который в европейской литературе позже применяет Джойс в романе «Улисс» и, таким образом, русская проза предшествовала западной литературе. Белый доводит цитирование до абсурда: почти каждое слово романа – ссылка на другие произведения. Место этого произведения в каноне подтверждает и тот факт, что на него достаточно часто ссылаются русские постмодернистские авторы.

Роман Замятина «Мы» обычно относят к утопической фантастике, а Сухих представляет его в отличие от «просто фантастики» как социальную утопию. Единственным автором, у которого в списке фигурирует целых два произведения, является Булгаков со своими книгами «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита».

Сборники рассказов Добычина и Шукшина являются для Сухих лишь поводом, чтобы внести их авторов в список – речь уже идет о художественном мире в целом.

В списке мы находим и всех четырех нобелевских лауреатов: Бунина, Пастернака, Шолохова и Солженицина. Очевидно, что эти писатели, получив всемирную известность, повлияли не только на русские литературные произведения будущего. Их место в каноне станет несомненным после получения самой знаменитой литературной премии. Но это не значит, что литературоведы, в том числе и Сухих, единогласно считают творчество нобелевских лауреатов ценным. Во главе о романе Пастернака Сухих высказывает немало критических мнений: он, например, называет «Доктор Живаго» по построению плохим романом. Но говоря о его стиле (в котором многие упрекали Пастернака после его безупречных стилистических произведений), Сухих берет роман под свою защиту, считая, что «автор пытается максимально сгладить границу между высокой, элитарной литературой и беллетристикой».

Хотя Сухих, как мы уже упомянули выше, в своем каноне 20 века не выделяет периоды и не связывает их с определенными произведениями, в его списке появляются представители всех важнейших направлений и периодов XX века.

Из символистов серебряного века в его список входит только Белый, из сатириков 20-ых годов он изучает творчество Зощенко, Ильфа и Петрова, из лагерной литературы – Солженицина и Шаламова. Из трех направлений позднего периода Брежнего «официальная литература» у Сухих не представлена. Работы официальных писателей «социалистического реализма» с трудом можно назвать высоколитературными. Хотя секретари Союза Писателей, пропагандирующие идеологию власти, имели огромную читательскую аудиторию, они не могли влиять на дальнейшее «свободное» развитие русской прозы. Из представителей «деревенской прозы», продолжающих традицию

славянофилов и проповедующих национальные идеи, Сухих изучает творчество Шукшина и Распутина. Из либеральной литературы (созданной во времена хрущевской «оттепели») в одном эссе появляется Трифонов, который остановился на тонкой границе между литературой запретной и литературой полузапретной.

Сухих не забывает и об авторах (Довлатове и Ерофееве), которых в то же время можно было прочесть только в тамиздате.

Сухих с совсем новой точки зрения смотрит на культовый роман Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Для того, чтобы с новой стороны осветить некоторые элементы текста, он не боится порвать с уже канонизировавшимися литературно-критическими взглядами. Например, Сухих не соглашается с мнением, что жанр этого текста (на котором настаивал сам автор) можно понять только как прямую ссылку на «Мертвые души» Гоголя. Это интересное предположение побуждает Сухих к переосмыслению авторской интенции. Сухих думает, что, посмотрев структурный план «Москвы-Петушков», однозначно видно, что жанр произведения подводит нас к ранним поэмам Маяковского, так как для обоих текстов характерны совпадения героя и автора, ассоциативная композиция, пространство сознания как место развертывания сюжета, и многочисленные евангельские ассоциации. Кроме этих совпадений Сухих подтверждает связь между поэмой Ерофеева и поэмами Маяковского прямыми цитатами, найденными в «Москве-Петушках» из «Облака в штанах» и «Хорошо». Также Сухих заявляет, что если мы забудем о жанровой отсылке к «Мертвым душам», то мы сможем сосредоточиться на лирическом начале ерофеевской поэмы. К лирическому началу относится и повествование от первого лица, которое дает возможность герою на субъективные, лирические отступления. Этот прием повествования становится особенно существенным в конце текста, когда Венечка рассказывает нам о своей смерти. По объяснению Сухих, Венечка переживает личный апокалипсис: оказывается в странном состоянии, он убитый, но не умерший, находится между жизнью и смертью. Толкование Сухих подтверждает, что рассказывать историю о своей смерти кажется абсолютно абсурдной задачей. Однако этим толкованием он игнорирует то, что по технике повествования эта сцена оказывается самой существенной частью текста. О смерти героя мы узнаем не из рассказа кого-то другого, «внешнего» повествователя, а от самого Венечки. Когда Венечка начинает рассказывать о своей смерти, он выходит из роли повествователя, сообщающего о фактах, и его перспектива становится лирической. И именно в этом находится ключ к пониманию того, зачем Ерофеев упорно настаивал на определении жанра произведения как «поэма» вместо романа: рассказ о смерти героя можно понять исключительно как его лирическое отступление, лирическое обращение.

Хотя творческое наследие Венедикта Ерофеева насчитывает не больше одного сборника, он все равно остается одним из самых значительных авторов 70-80-ых годов.

В целом Сухих, кроме того, что суммирует самые важные результаты литературного исследования, также может сказать что-то новое о каждом произведении, так как пытается рассмотреть с новой перспективы уже много раз проанализированные тексты. Сухих считает, что большую часть книг, представленных в его списке, будут читать и в XXII веке, если тогда еще хоть кто-нибудь будет вообще читать. Однако у него нет особых причин для пессимизма, ведь его книга вызвала живой интерес не только у литературных критиков. Ему удалось написать о важнейших произведениях XX века таким понятным для всех языком, что на нескольких литературных форумах развернулась горячая дискуссия среди «простых» читателей о том, кого еще следовало бы включить в список. Но у Сухих тоже есть свои представления о том, какими еще авторами можно было бы расширить список, так что, возможно, в скором будущем мы уже сможем взять в руки его новый сборник эссе о сорока канонизированных произведениях.

VASS Annamária

**ВИКТОР АРИПОВСКИЙ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
УЖГОРОД: ГОВЕРЛА. 2011, ISBN 978-966-2095-60-9, 167 с.**

Работа, изданная в Ужгороде, в издательстве УжНУ «Говерла», в 2011, объемом 168 с., поражает своей многогранностью и грациозным единством идейной архитектоники. В ней рассматривается одно из существенных явлений развития художественного изображения русской литературы XIX–XX веков – тенденция интенсификации стиля и приемов повествования. Признаки и показатели этой тенденции обнаруживаются автором прежде всего в искусном использовании писателями художественной детали – в широкой гамме повествовательских приемов и средств от дробной композиции романов Л.Н. Толстого до мастерства создания образа героя средствами портретной живописи и до звукового рисунка в лирических стихотворениях. Автор, казалось бы, и не заботился особенно о том, чтобы сборник произвел впечатление целого, и все же из-под его пера вышел компактный материал собранных воедино ценнейших находок литературоведческих исследований произведений целого столетия, в котором начертаны главные своды определяющей данную эпоху тенденции повествовательного изображения. Здесь критически используются результаты основных направлений исследований ученых трех веков и как минимум десяти поколений, от Третьяковского до Лотмана и Гинзбург, с предпочтением автора ссылок на литературоведческие работы 40-50-х годов XX века. Сборник дает полное представление о важнейших кругах интересов и, возможно, о самых значительных открытиях многих десятков лет литературоведческой и преподавательской деятельности самого автора.

В очерках вполне традиционные подходы середины XX века сочетаются с некоторыми неожиданными выводами, касающимися в первую очередь композиционно-синтаксического уровня литературного произведения или же звукового рисунка стихотворения. Статьи можно условно разделить на несколько групп: анализ композиции и структуры произведений [11 статей] и разбор «чисто» смысловых и идейных вопросов (2 статьи); статьи, выполненные в достаточно традиционном ключе, без использования особых инструментов и техник литературоведческого исследования и упомянутые выше 11 статей, в которых сильный и богатый арсенал научного исследования проявляет сложнейшие взаимоотношения смысловых и композиционных особенностей анализируемого литературного произведения.

Очерк пушкинских «Повестей Белкина» – чисто полемический. Оспаривая позиции критиков, утверждающих столкновение сил жизни и смерти, или же игру в качестве центральной идеи цикла повестей, автор предлагает нравственно-социологическое истолкование, выдвигая на первый план смыслового уровня стремление писателя изучить «физиологию современного общества» и разоблачить «пустоту» и «театральность» позиции дворянства, которые, за счет широчайшего слоя людей, словами Л. Н. Толстого, «только пользуются жизнью» [с. 10–13]. Такая формулировка, разумеется, расхо-

дится с выводами, к которым пришли авторы критических статей, и все же нужно в ней признать долю истины, исходя из известных демократических стремлений молодого Пушкина. Автором здесь выдвигается идея увидеть принцип разностильности «Повестей Белкина» в их полемичности с приемами сентиментальной и романтической прозы [с. 14]. Возможно было бы также учесть существенное повествовательное свойство цикла повестей – сказ, причем при скрытом наличии многих рассказчиков с разнородными стилевыми элементами речи.

Далее разбираются особенности «аналитического стиля» Лермонтова, отдалившегося от «романтической пространной описательности». Четко воспроизводятся здесь средства и приемы «емкости прозрачного ... лермонтовского слова» [с. 19] в рамках лаконичности художественной обрисовки персонажей. Автор, опираясь на результаты многих критиков, утверждает сознательно психологический подход писателя, в позиции же главных героев Лермонтова он подчеркивает ум, совесть и попытки «не подчиниться власти обстоятельств» [с. 16]. Новизной лермонтовской прозы автором выделяется его уникальная способность к легкому, четкому выражению без тезисности и полемичности, с присутствием, однако, элементов романтической красочности и «благоуханности» [с. 19].

В удачно выбранном аспекте освещается автором малоизученный вопрос логики развития характеров романов Гончарова. Он ищет ответы на такие вопросы, насколько в развитии характеров героев выражается закон необходимости [с. 24] и в какой мере эти герои способны занять свою позицию, временами сопротивляясь не только ожиданиям других героев или же читателя, но и «поправляя» замысел самого писателя. Автор здесь особенно подчеркивает «железную обоснованность поведения героев», не отклоняющихся от «центрального стержня» [с. 22] своего характера, оправданность каждого слова в их характеристике. В итогах указывается на медленную эволюцию героев романов Гончарова, дающих «иллюзию неторопливого течения жизни».

По поводу роли Ипполита в композиционной структуре романа Достоевского «Идиот» автор вступает в полемику с критикой 50-х годов. Отвергая приговор Ермилова о нелогичности появления нигилистов в развитии действия романа и о лишенности художественной убедительности самого Ипполита, В. Ариповский в образе героя видит глубокую жизненную правду страдания человека перед лицом смерти, и подчеркивает гуманность положения писателя, стремящегося «активно помочь людям в поисках правды» [с. 42]. В этой аргументации автор проявляет самые яркие качества критики социалистического реализма: глубокую человечность, высокую нравственную требовательность и ясность суждения. При этом, однако, мы должны указать на существенный недосмотр автора: богоборческая позиция молодого героя, не получившего дар ясновидения, но вынужденного взять на себя огромное бремя и ответственность существования, в статье заменяется «столкновением человека с враждебной ему природой».

Говоря об эволюции принципов психологического реализма в русской прозе XIX века, В. Ариповский осуществляет новейшее и очень полное исследование вопроса об отношении Л. Н. Толстого к лермонтовской традиции психологического реализма. Убедительно раскрываются в работе показатели схожести автора «разветвленных фраз» с лаконичными приемами Лермонтова: главным образом в общем стремлении ко «всемерной интенсификации стиля» [с. 76], в приемах «подчинения портретных зарисовок целям психологического анализа» [с. 55] и в методах «четкого расчленения» [с. 54] художественного материала. Путь интенсификации стиля прозы, как автору удалось наглядно осветить, отмечен Пушкиным, его «в значительной мере освоил Лермонтов» [с. 75], Толстой же, вместе с Достоевским, «срывая ... всяческие маски», подготовили почву для качественно нового подхода к использованию художественной детали в творчестве Чехова» [с. 66].

Изложив некоторые основные вехи развития русского психологического реализма XIX века, В. Ариповский обращается к проблеме смысловых и образных сопряжений в самых значительных романах Толстого – в «Войне и мире» и в «Анне Карениной». Наряду с сильной аналитической частью, в этих статьях присутствует глубокий синтез композиционного и смыслового потенциала образных сцеплений произведений и интересные замечания о принципиально новом аспекте художественного оформления двух романов. Для обоих в равной мере характерны приемы «дробного членения» композиции и принципы «композиционного лаконизма» [с. 77–78], существенные же различия наблюдаются в предметах изображения и в авторских замыслах, что привело с собой разницу позиции автора: множество авторских отступлений с философскими рассуждениями в «Войне и мире» служит цели оказания помощи читателю подняться до уровня «вечного», которого самостоятельно постичь он бессилён. При этом критик безупречной аргументацией указывает на оспоримость множества итоговых положений Толстого (ничтожная роль личности в истории, непотворение злу насилем) [с. 90]. Несмотря на это, он утверждает, что из сводов художественной композиции церковь романа завершена именно авторскими рассуждениями философского плана, без которых роман оказался бы собранием великолепных сцен, не получив, однако ни композиционной завершенности, ни понятийного единства о существенном, о том «главном», что смогло бы объединить людей под одним знаменем – о «деятельной добродетели». В статье об «Анне Карениной» также тщательно рассматриваются принципы размещения мелких композиционных единств, а здесь речь идет уже о создании сопряжений между целыми блоками глав. В этом романе автором сделана ставка на активизацию читательской мысли и воображения, тем не менее, способности читателей в этом плане переоценены автором. Уж раньше было замечено критиком, что Толстой рисковал «запутаться в лабиринте причинно-следственных связей» [с. 75] а также запутать и утопить своего читателя – недоразумения и упреки же в адрес автора «Анны Карениной» [с. 94–95] свидетельствуют о явной неподготовленности публики к новаторским композиционным и смысловым приемам

его романа. Опираясь на свои глубокие прозрения касательно изящной композиции, и на положительную оценку Достоевского на роман, Ариповский отстаивает уместность авторского замысла о теснейшей взаимосвязи двух линий романа, и о совершенности ее композиции, несмотря на указанный им явный композиционный перевес Левина – ему уделено ровно 100 глав, тогда как Анне всего 55. Да будет позволено нам тут сделать небольшое замечание: касательно авторского замысла тема романа – семья», «случайные семьи», поиски смысла жизни, и, может быть, понимание человека, рискующего «в мире зла погибнуть в отчаянии от непонимания путей и судеб своих» [Достоевский, с. 97]. Поэтому, мы бы оспаривали встречавшиеся утверждения автора об основной мысли романа «в разоблачении антигуманной сущности эпохи» и о «суровом приговоре обществу» [с. 96], и, ссылаясь на эпиграф романа, нам бы хотелось подчеркнуть трагически зарисованную позицию героев и также автора-новатора, пытающихся в разгар настоящего момента найти человеческое и чистое решение злободневных вопросов существования. Авторские рассуждения здесь могут отсутствовать в силу неимения достаточной перспективы для изображения текущего момента – это, возможно и прослеживается в «импрессионалистических» приемах изображения в последних главах романа, где смутные силы смятенной души героини управляли местами даже речью рассказчика и данными им описательными деталями.

Проследивание процесса интенсификации стиля повествования в русской прозе завершается автором в двух статьях о прозе Чехова. В первой из них рассматривается мастерство портретной живописи художника, в создании «текущего портрета» осуществившего решительный переход от «зримого образа» к «напоминаниям» о типичном, и хорошо известном читателю свойстве героев [с. 100]. Большое внимание уделяется также своеобразию пародийного изображения, где так называемый «коллективный портрет» зачастую создается «метонимической – нам бы хотелось заметить: синекдохической – характеристикой» персонажей [с. 109]. Особенности чеховского изображения проявлены автором в легкости и в дискретности психологического изображения [с. 116], а новаторство в «придирчивом отборе» средств и приемов изображения [с. 120]. Отрадно отметить, что автором уделена отдельная статья литературным реминисценциям в прозе Чехова, тем не менее, как в предыдущей статье их роль оценивалась им как маловажная [с. 118]. И, безусловно, литературные аллюзии, хотя и несравнимо скромные и ограничивающиеся на знания среднего разночинца, по четким и детальным исследованиям автора, являются ценнейшими средствами как характеристики героя [с. 125] и «всеобъемлющего лаконизма», [с. 121] так и интенсификации стиля и неистекающих возможностей пародии речи, стиля и поступков [с. 124–125].

Второй раздел сборника занимается анализом лирических произведений, среди которых выделяются полнотой охвата и совершенством рассуждений статьи, уделенные ритмическим особенностям поэзии Пушкина.

В первой статье решаются конкретные исследовательские проблемы освещения ритмических и интонационных особенностей излюбленного Пуш-

киным четырехстопного ямба. Опираясь на глубокие знания правил русского стихотворного искусства, автор освещает многосторонность и богатство инструментовки стихов, написанных формой сурового, на первый взгляд, и категоричного четырехстопного ямба. Наряду с наглядными примерами ритмического и звукового рисунка традиционного и новаторского выполнения данной метрики [с. 133–137], автору удалось замечательные постановки о синтаксической и смысловой функциях игр в звуковые и метрические фигуры [с. 136]. В статье о звуковой организации стихотворения Пушкина «Дорожные жалобы» впервые предпринимается попытка осуществить полное исследование «звуковой ткани» стихотворения. Заполнение отмеченного автором пробела в пушкиноведении выдержано замечательно: в статье, параллельно с автобиографическими сведениями о писателе и с композиционной и идейной архитектурой анализируемого стихотворения, разворачивается искусное изложение подробностей создания всего того пленительного звукового «кружева», почему так охотно читаются стихотворения Пушкина. Автор в анализе проявляет высочайшее качество как знания техники стихосложения, так и чуткости понимания скрытых для непосвященного читателя взаимоотношений чувствительного и смыслового содержания звукового и ритмического рисунка [с. 144–147].

Анализ приема умолчания в лирике Некрасова нам показался менее убедительным, поскольку умолчание в разных произведениях считается автором приемами лаконичности несмотря на то, характерна ли вообще для стиля данного произведения сжатость и емкость. На наш взгляд, а это и сам автор явно отмечает местами, умолчания Некрасова служат другим повествовательным целям: передают невыразимо сложную или чересчур интенсивную, порой неприличную или же опасную мысль. В таком отношении, нам кажется, лучше их рассматривать как эвфемизмы, или как фольклорные стилизации.

Сборник завершается статьей о благозвучии стихотворения А. Блока «Незнакомка», сильнейшим достоинством которого является освещение полной и удивительной звуковой гармонии всего стихотворения, даже при передаче пошлых явлений городской жизни и при использовании непоэтического словаря. Полное избежание резких и категорических оценок при анализе художественных деталей пошлости проявляет ту душевную чистоту и благонамеренность автора, которыми поднимают и радуют читателя все его статьи.

В итоге хочется отметить, что в работах В. Ариповского всюду обращает на себя внимание обдуманность и точная обоснованность его суждений. Написанные им статьи об интенсификации повествовательных приемов русской литературы от Пушкина и до А. Блока показывают явные и скрытые связи между поколениями писателей в их постановке вопросов и методах изображения. В силу ярких прозрений автора особенно в области существенного лаконизма русского большого романа, и его характеристики дробной композиции с образными сцеплениями, а также в проявлении некоторых отрядных «тайн» благозвучия русских стихотворений, работа В. Ариповского достойна самой высокой оценки, а ее автор, безусловно, имеет заслуженное право

na uwagę samego izykanego czytelnika. Несомненно, литературоведческая наука обогатилась выходом его книги (добавим, скромнейшим образом «одетой», что ее достоверные результаты необходимы не только для дальнейших теоретических исследований «большой науки», но и в целях педагогической работы в высшей школе.

Читатель, думается, не сочтет неуместным здесь, «при прощании», наше сердечное поздравление от венгерских русистов, с наступающим 90-летием Виктора Ивановича.

Эдит БАЛОГ

**A SZÓTÓL A SZÖVEGIG. RED. VILMOS BÁRDOSI, BUDAPEST: TINTA
KÖNYVKIADÓ. 2012, ISBN 978 615 5219 07 8, 284 s.**

W roku 2012 w prestiżowym budapeszteńskim wydawnictwie *Tinta Könyvkiadó* ukazał się tom *A szótól a szövegig* [Od słowa do tekstu]. Omawiany tom jest zbiorem 35 referatów wygłoszonych w czasie konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Filologii Współczesnej Węgierskiej Akademii Nauk. Konferencja odbyła się w dniach 21–22 czerwca 2011 roku. Redaktorem tomu jest profesor Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie Vilmos Bárdosi.

W omawianym tomie można wyodrębnić kilka kręgów tematycznych. Szczególnie bogato reprezentowane są artykuły dotyczące różnorodnych aspektów teorii i praktyki przekładu. Liczne są również szkice poświęcone słownictwu, frazeologii, leksykografii, tekstologii, artykuły dotyczące językowego obrazu świata, języka mówionego, języka internetu, terminologii oraz komparatystryki językoznawczej.

Ze względu na profil niniejszego czasopisma szczególnie istotne są artykuły dotyczące zagadnień językoznawstwa polonistycznego i szerzej – slawistycznego. Kwestie te porusza pięć artykułów, którym warto poświęcić nieco więcej uwagi.

Artykuł Andrása Zoltána *A szláv denazalizáció a magyar szavak tükrében* [Denazalizacja słowiańska w świetle słów węgierskich], s. 277–280 porusza problematyczne i kontrowersyjne zagadnienie okresu zaniku nosowości samogłosek w języku prasłowiańskim. Autor konfrontuje owo zjawisko z najstarszymi zapożyczeniami słowiańskimi w języku węgierskim. Slawizmy węgierskie typu *rend, tompa* wskazują wyraźnie, że samogłoski nosowe istniały po przybyciu Węgrów do Europy.

Dorota Dziewońska-Kiss w szkicu *A halál perszonifikációja és animizációja a magyar és a lengyel nyelvből* [Personifikacja i animizacja śmierci w języku węgierskim i polskim], s. 51–57 przedstawia wyniki badań kwestionariuszowych dotyczących zagadnienia śmierci. W prezentowanych badaniach przeprowadzonych na Węgrzech i w Polsce wzięły udział 264 osoby, w tym 130 Węgrów i 134 Polaków. Autorka poddaje analizie bogaty i różnorodny

materiał, przedstawia wyobrażenia śmierci w obu językach oraz omawia frazeologizmy z nią związane.

Interesujące rozważania przynosi artykuł Ágnes L. Csengődi *A terminológiai kialakulása – Hasonlóságok a cseh, a szlovák és a magyar nyelvben* [Kształtowanie się terminologii – Podobieństwa w języku czeskim, słowackim i węgierskim], s. 161–165. Autorka sięga do okresu powstawania słownictwa specjalistycznego, a także kształtowania się języków literackich w krajach środkowoeuropejskich, tj. do XVIII i XIX wieku. Badaczka zaznacza, że terminologia słowacka wykorzystywała własne tworzywo językowe, choć czerpała z istniejących już wzorców w języku czeskim, natomiast w wypadku terminologii prawniczo-politycznej, w tym także węgierskiej, dominują głównie wpływy niemieckie, a także francuskie.

Andrea Márkus w szkicu „Új” déli szláv irodalmi nyelvek [„Nowe” południowo-słowiańskie języki literackie], s. 173 – 177 zajmuje się zagadnieniem języka bośniackiego i czarnogórskiego. Autorka omawia ich sytuację prawną, przedstawia krótką charakterystykę obu języków oraz wskazuje tendencje rozwojowe.

Listę artykułów dotyczących zagadnień slawistycznych zamyka artykuł Katalin Tultz *Neologizmusok (amerikaizmusok és anglicizmusok) a mai orosz beszélt nyelvben egy szociolingvisztikai felmérés tükrében* [Neologizmy (amerykanizmy i anglicyzmy) we współczesnym języku rosyjskim w świetle badań socjolingwistycznych], s. 247–251. Autorka przedstawia w nim wyniki badań kwestionariuszowych dotyczących zapożyczeń leksykalnych z języka angielskiego.

Uderzające jest bogactwo tematyczne artykułów zawartych w tomie, poruszają one zarówno zagadnienia diachroniczne, jak i synchroniczne. Można więc w zbiorze odnaleźć z jednej strony rozważania dotyczące wzmiankowanej wyżej denazalizacji słowiańskich samogłosek nosowych w zapożyczeniach węgierskich, informacje o XVI-wiecznym słowniku Gábora Pestiego (por. István Vig *Pesti Gábor szótárának előzményei*, s. 261–268), o XVII-wiecznym nadwornym tłumaczu i językoznawcy ogólnym (por. Éva Jeremiás, *Giovanni Battista Podestà (1625–1698) udvari tolmács és általános nyelvész*, s. 121–128) czy przekładach Williama Jonesa (por. Katalin Torma *Sir William Jones Háfez fordításai*, s. 237–245). Z drugiej strony natomiast tom zawiera artykuły dotyczące współczesnych zagadnień językoznawczych jak metatekst (por. Janusz Bańczerowski *A szöveg és a mataszöveg*, s. 25–30), językowy obraz świata, któremu poświęcony jest wzmiankowany szkic Doroty Dziewońskiej – Kiss, język internetu (por. Ágnes Veszelszky *A netszó a netszövegig*, s. 253–260) czy język mówiony (por. Dorottya Gyarmathy *Rejtett és felszíni monitorozás a spontán beszédben*, s. 99–108). Artykuły te, co warto podkreślić, poświęcone są obszarowi zarówno współczesnych, jak i historycznych Węgier (por. Vilmos Gazdag *Másodnyelvi elemek a kárpátaljai Beregvidék magyar lakosságának nyelvhasználatában*, s. 75–85).

Artykuły dotyczą oprócz języka węgierskiego także języków romańskich (hiszpański, kataloński, portugalski, galego), słowiańskich (polski, czeski, słowacki, rosyjski, czarnogórski, bośniacki), a także arabskiego.

Omawiany tom w sposób istotny wzbogaca zarówno językoznawstwo hungarystyczne, jak i językoznawstwo ogólne, wnosząc nowe dane i wskazując perspektywy dalszych badań. W przyszłości może warto byłoby dołączać do artykułów streszczenie w języku angielskim, co pozwoliłoby zapoznać się z ich treścią osobom nie znającym języka węgierskiego.

Wiesław Tomasz STEFAŃCZYK

**С. В. БРОМЛЕЙ. ПРОБЛЕМЫ ДИАЛЕКТОЛОГИИ, ЛИНГВОГЕОГРАФИИ
И ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. МОСКВА: ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА
ИМ. В. В. ВИНОГРАДОВА РАН, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«АЗБУКОВНИК», ISBN 978-5-91172-027-8, 2010, 754 с.**

Рецензируемая книга представляет собой синтез результатов теоретических исследований Софьи Владимировны Бромлей, выдающегося представителя великого поколения русских диалектологов, работавших под руководством академика Р. И. Аванесова.

Монография содержит результаты работ С. В. Бромлей по разработке диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ), а также собственные исследования ученого в сфере диалектологии и исторического языкознания. Поскольку диалектология является важным разделом русской лингвистики, и С. В. Бромлей в своих исследованиях достигла значительных результатов в этой сфере, данный сборник представляет собой полноценное пособие по современной русской диалектологии и историческому языкознанию.

Книга «Проблемы диалектологии, лингвогеографии и истории русского языка» вышла в свет в честь 90-летия ученого С. В. Бромлей. В 2006 году автор написала предисловие к сборнику своих научных статей (который составила Н. Н. Пшеничнова и редактировал А. М. Молдован).

С. В. Бромлей родилась в 1921 году, на ее интерес к лингвистике повлияла лекция А. М. Селищева о старославянском языке. После окончания в 1945 году МГУ, она была принята в Институт русского языка АН СССР на должность младшего научного сотрудника. Здесь на последнем курсе она написала свою дипломную работу по русскому словообразованию под руководством Г. О. Винокура. После этого С. В. Бромлей начала работу в Диалектологическом секторе, где она познакомилась с коллективом, которым руководил Р. И. Аванесов. С. В. Бромлей была членом группы, работавшей под руководством Р. И. Аванесова над Диалектологическим атласом русского языка. Идея создания этого диалектологического атласа была результатом разработки новой теории лингвистической географии Р. И. Аванесова. Главной задачей исследовательской группы было создание Диалектологического атласа русского языка. Над ним работали исследователи: Л. Н. Булатова, Л. П. Жуковская, И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко, В. Г. Орлова. С. В. Бромлей, кроме основной работы по составлению атласа, вместе с коллегами за-

нималась другими исследованиями, нп. «Русская диалектология» (1964 Р. И. Аванесов, В. Г. Орлова, С. В. Бромлей), «Наблюдения над ударяемыми гласными» (1949 С. В. Бромлей в соавторстве с Л. Н. Булатовой), «Об эталоне сопоставительного описания русских говоров» (1965 С. В. Бромлей, Л. Н. Булатова). Главной задачей С. В. Бромлей в создании Диалектологического атласа был анализ глаголов и причастий на морфонологическом уровне.

В 1954 году исследовательница защитила свою кандидатскую диссертацию по теме «История образования форм сравнительной степени в русском языке XI–XVII вв.». В 1971 году С. В. Бромлей была утверждена руководителем работы по созданию Диалектологического атласа русского языка, авторская и редакторская работа над которым закончилась спустя 9 лет. Также С. В. Бромлей была в ДАРЯ общим редактором совместно с Р. И. Аванесовым, автором 2 вступительных статей к атласу («История создания русского лингвистического атласа» и «Теоретические основы русского лингвистического атласа и его карты»); редактором I Выпуска «Фонетика» совместно с Т. Ю. Строгановой; редактором и автором «Вступительной статьи II выпуска «Морфология», автором 35 диалектологических карт.

После завершения главной задачи – создание ДАРЯ - она активно продолжала исследование, участвовала на конференциях с докладами: «Лингвистическое содержание понятий центральные и периферийные говоры» (1983 в Кемерове), «Степень вокализованности сонорных как различительный диалектный признак» (1983 в Вологде), «Ареальные исследования в лингвистике и этнографии» (1985 в Уфе), «О проекте восточнославянского лингвистического атласа» (1987 в Ленинграде), «Восточнославянские изоглоссы» (1990 доклад сделан на заседании Бюро ОЛЯ АН СССР). С. В. Бромлей после продолжительного периода научной деятельности году ушла на пенсию в 1990.¹

Сборник научных статей С. В. Бромлей представляет собой исследование современных проблем русской диалектологии в связи с задачами русского языка и включает в себя разработку лингвогеографических методов изучения диалектов. В книге предложены описания морфологического уровня языка при помощи языка-эталона/метасистемы, и детали этой метасистемы как сравнительный способ для диалектов, который применим к любому языку. Лингвистическая география используется для изучения развития диалектных явлений во времени и в пространстве. На материале фонетики и морфологии исследуются диалектные динамики, взаимодействия и действие общезыковой тенденции к консонантизации фонетического строя и роль в этом процессе нормированного русского языка. Представляется языковое содержание территориального членения русских говоров. Восточнославянское диалектное пространство рассматривается в связи с проблемой его выделения в качестве самостоятельного лингвогеографического объекта. Рассматривает-

¹ О С. В. Бромлей находится информация на веб-странице Института русского языка им. В. В. Виноградова.

ся историческое описание отдельных фрагментов грамматической системы языка с многоаспектной точки зрения.

Книга состоит из трех частей, каждая из которых могла бы быть и самостоятельной монографией. В первой и второй частях подробно и последовательно рассматриваются темы диалектологии, лингвогеографии (первая часть) и истории русского языка, внимание уделяется возможностям многоаспектного описания диалектологических явлений, сравнению диалектов и лингвогеографии для анализа (вторая часть). Третья часть книги отделяется от предыдущих частей, своей субъективностью содержания. В этой главе мы можем больше узнать о научном руководителе автора сборника, каким она видела Р. И. Аванесова, значительность влияния которого на научную деятельность автора неоспорима.

В первой части «Диалектология и лингвогеография» собраны работы по четырем разделам. Первый раздел посвящен структурному и лингвогеографическому аспектам описания диалектов. В первых статьях сборника С. В. Бромлей в соавторстве с Л. Н. Булатовой рассматривают общие свойства морфологических различий русских говоров, характеризуя их отношение к тем или иным сторонам морфологического строя русского языка, авторы устанавливают место диалектных различий русских говоров среди общерусских морфологических фактов, определяют их отношение к фонду слов, обладающих данной формой словоизменения, а также рассматривают взаимное отношение частных диалектных различий в пределах одной грамматической формы или группы форм. Авторами определяется по строгим критериям метаязык максимального и минимального типа диалектологического описания, и ими предлагается сопоставительное описание морфологии русских говоров, осуществленное с помощью метаязыка (эталона) максимального типа, опирающийся на материальные элементы морфологических систем. В следующей статье С. В. Бромлей характеризует предложенный Р. И. Аванесовым подход к описанию языка как совокупности диалектов. В этом разделе также представлены работы, связанные с диалектологическим атласом русского языка, его зарождением и развитием в русском языкознании.

Во втором разделе автором раскрываются проблемы развития диалектных систем, описываются их межсистемные и внутрисистемные взаимодействия. Обращается внимание на факты фонетического взаимодействия говоров, относящиеся к формальным элементам слов, а также закономерности протекания подобных процессов. С. В. Бромлей доказывает ценность диалектологических атласов для изучения исторического развития языка, исследует проблемы морфонологической продуктивности в русском глагольном словоизменении. Кроме того, в этом разделе можно познакомиться с прозвучавшими на международных конференциях тезисами докладов и сообщений по темам, связанными с вопросами лингвогеографических критериев оценки языковых вариантов в русских говорах и с вопросом о месте фонетики в межуровневых процессах.

В третьем разделе, посвященном отдельным фрагментам структуры языка в синхронии и диахронии, представлены исследования, выполненные в двух аспектах: фонетика, фонология, морфонология и морфология глагола. Среди фонетических вопросов исследования диалектов автор анализирует противопоставление русских центральных и периферийных говоров через различия в степени вокализованности сонорных, устанавливает возможные пути возникновения [I] в русских диалектах в системных связях с другими особенностями консонантизма говоров, в которых этот звук выступает, исследует судьбу признака твердость-мягкость у заднеязычных фрикативных фонем. Несмотря на изученность вопроса о заднеязычной звонкой фрикативной фонеме в русских говорах, С. В. Бромлей в своей статье дает новую оценку статусу этой фонемы. Новизна исследовательского взгляда прослеживается и в работе о русских вариантах греческого имени «Георгиос»: автор рассматривает механизмы фонетических преобразований исходных форм этого имени на русской почве.

В статьях по словоизменению глагола и его акцентуации исследователь рассматривает следующие вопросы: явление стяжения гласных в русских говорах (на примере глаголов и имен прилагательных), взаимодействие и становление форм изъявительного и повелительного наклонений в восточнославянских языковых системах, развитие форм спряжения глаголов с безударными окончаниями в русских и белорусских языковых системах. На основе данных диалектологического атласа русского языка обосновывается наличие в системе русского глагола следов общеславянской парадигмы с ударением на корне и его оттяжкой на приставку в 1 л. ед. ч. и маргинальной окситонезой в остальных формах. Среди актуальных вопросов морфологии диалектного языка автор выделяет проблему структурных отношений, сложившихся в говорах между I и II спряжениями. Другое серьезное исследование С. В. Бромлей посвящено принципам классификации глагола и анализу существующих типов глагольной парадигматики.

В четвертом разделе разрабатываются теоретические основы картографирования восточнославянского диалектного пространства: принципы выделения объектов лингвогеографии, их структура, восточнославянские языки как особый объект картографирования, теоретические основы будущего восточнославянского атласа.

Вторая часть сборника представляет собой многоаспектное описание истории форм сравнительной степени в русском языке. Впервые в русской исторической морфологии рассматривается вопрос об изучении форм сравнительной степени прилагательных с точки зрения судьбы двух исторически различавшихся разновидностей образования (с суффиксом **-jъs* и **-ějъs*). Существенный интерес представляет также изучение взаимодействия двух разновидностей основ, характеризующих парадигму форм сравнительной степени. С этой проблемой связаны как основные вопросы истории согласуемых форм, так и история формирования несогласуемых форм сравнительной степени в русском языке. При изучении этой темы ученый решает ряд слож-

ных и недостаточно изученных проблем синтаксического характера, например, вопрос об истории синтаксических функций членных и нечленных форм. При изучении форм сравнительной степени на основе данных диалектологического атласа, С. В. Бромлей использует метод лингвистической географии, что дает возможность с большей или меньшей степенью вероятности восстанавливать историю отдельных форм и их вариантов, устанавливая их относительную хронологию. В статьях приводятся географические указатели и лингвогеографические карты.

Результаты исследований С. В. Бромлей по исторической диалектологии не потеряли своей значимости для современной диалектологии. На их основании станет возможным более глубокое познание особенностей процесса формирования древнерусского языка – вовлекая фактического материала древненовгородских берестяных грамот – и определение специфики восточнославянского языкового ареала. Сочетание методологии Бромлей с подходом к историческим языковым изменениям русского языка Г. А. Хабургаева (по его монографии Становление русского языка, Москва 1980) сможет открыть новые перспективы в определении степени самостоятельности древненовгородского диалекта среди других восточнославянских диалектов на основании исторического словообразования.

Литература

- ЭДЕЛЬМАН 1968: Эдельман Д. И. Основные вопросы лингвистической географии. Москва.
- ТРУБЕЦКОЙ 1987: Трубецкой Н. С. Фонология и лингвистическая география, Избранные труды по филологии. Москва.
- Лингвистическая география, диалектология и история языка / Под ред. Р. И. Аванесова, О. Труды диалектологической комиссии Академии наук СССР, вв. 1—10, Известия и Сборники (II) отделения русского языка и словесности Академии наук, «Русский филологический вестник».

KOVÁCS Kornél

IRODALOMÉRTÉS – KULTÚRABÖLCSELETI ALAPON

NAGY ISTVÁN

A pályatárs iránti tisztelet jele, ha olvassák, ha írásait továbbgondolják, ha dialógust folytatnak vele. Az itt következő sorok nem a tudós tanár Hajnádý Zoltán portréja, sokkal inkább párbeszéd egy nyitott, továbbgondolásra érdemes életművel.

Amikor erre az írásra készültem, és időrendi sorrendben olvastam a már ismert szövegeket, azt kellett tapasztalnom, hogy az újraolvasás sajátos helyzetében vagyok, amikor az olvasás emlékezés is, vagyis ugyanazt az utat teszem meg, mint az első olvasásnál, csak éppen – visszafelé. M. L. Gaszparov Ju. Tinyinov versolvasási elméletéről töprengve különbséget tesz az *első olvasás* és az *újraolvasás* poétikája között. Igaz, Gaszparov a rövid, ám annál magvasabb tanulmányában a *versről* beszél, a vers kétféle olvasásmódjáról, mégis, úgy vélem, amit mond, az általános olvasásfenomenológiai vonatkozásban is érvényes. Anélkül, hogy részletesen ismertetném a cikket, legyen szabad, ha vázlatosan is, a kétféle olvasásmód sajátosságaira irányítani a figyelmet. Amíg az első olvasásnál a keletkező szöveg folyamatjellegére, az újraolvasásnál az eredményre, a befejezett egészre figyelünk. Az első esetben úgy olvasunk, hogy szó szót követ, az értelem is fokozatosan bomlik ki (szukcesszív olvasás), a másodikban képesek vagyunk egyetlen tekintettel átfogni az egészet, nem szavak, hanem értelmi csomópontok mentén olvasunk (szimultán olvasás), és így képesek vagyunk a szöveg „erős helyeit” megkülönböztetni az ún. „gyenge helyektől”. S talán a legfontosabb: ott *megismerünk*, itt *felismerünk*, *ráismerünk*. A újraolvasás az akmeistáktól oly jól ismert „*isméltődés örömeivel*”, a „*felismerés örömeivel*” ajándékoz meg bennünket. [ГАСПАРОВ 1988: 15–23]. Így olvastam Hajnádý Zoltán könyveit – újra, örömmel.

A nyolcvanas évek közepén jelent meg első irodalomtörténeti, Tolsztojról írott monográfiája (*Lev Tolsztoj. Tragikum Halál Katarzisa*), majd nem sokkal később a *Lev Tolsztoj világa*, illetve egyetemi segédkönyvként, *Az orosz regény*. A közelmúltban látott napvilágot *A lét tüze. A fénylő logosz szintéziskötet*, amely „A kultúra mint emlékezet és felejtés”, „Sophia – a teremtés női princípiuma”, illetve „A Pétervár-mítosz az orosz irodalomban” elméleti tanulmányokkal indul, de alapvetően irodalomtörténeti, prózapoétikai műelemzéseket tartalmaz Puskintól és Gogoltól kezdve Csehovig, sőt a huszadik századi Bunyinig. Közben a szerző megjelentetett két, a magyarországi ruszisztikában mondhatni egyedülálló, hézagpótló kultúratörténeti és kultúrabölcseleti tanulmánykötetet, «Культура как память. Главы из истории русской культуры» [1998] és *Sophia és Logosz. Az orosz kultúra paradigmatiszta-szintagmatikus rendszere (bináris oppozíciói, leküzdésük alternatívái* [2002]. Legyen szabad itt egy szubjektív, az egyetemi ruszisztikát érintő megjegyzést tenni. Az a paradox helyzet alakult ki, hogy utolsó éves hallgatóink, irodalomtörténeti tanulmányaik végén nagyszerűen eligazodnak narráció- és szövegelméleti kérdésekben (ez persze nagyon jó), de – sokéves ta-

pasztalatom – az orosz kultúra és mentalitástörténet (az orosz észjárás) sajátos szerkezetéről, az orosz eszmetörténeti hagyományról meglehetősen hézagos ismeretekkel rendelkeznek. Nem nehéz belátni, ha az irodalmi szövegértéstől nem vezet út az orosz kultúra, jelesül az orosz irodalmi kultúra sajátosságának felismeréséhez, akkor elmarad a legfontosabb: a választott kultúrával való érzelmi, egzisztenciális azonosulás. Hajnádý Zoltán kötetei ehhez az azonosuláshoz egyengetik az utat.

Szaktudományunk, az irodalomtudomány az elmúlt évtizedekben jelentős szemléleti változáson ment keresztül, s ez a változás természetesen az egyetemi oktatást, benne a hazai ruszisztikát sem hagyhatta érintetlenül. Hajnádý Zoltán egymás után megjelenő köteteit olvasva nyomon követhetjük azt a folyamatot, hogy miként épülnek be irodalomértésébe a szemléleti multidiszciplinaritás, a nemzetközi és orosz filológia, poétika és szemiotika eredményei. Történik mindez úgy, hogy elkerüli a szaktudományunkat fenyegető legnagyobb veszélyt, az öncélú és öngerjesztő teoretizálást, amely nem ritkán nyelvi, nyelvhelyességi hibákkal párosul, és esetenként szinte olvashatatlanná teszi a fiatalabb nemzedék egyik-másik írását. (Vállalva az elfogultság vádját, megjegyzem, a hazai ruszisztika nem sétált bele ebbe a zsákutcába).

Hajnádý Zoltán nem értekező prózát, hanem esszét ír, a „teremtő olvasásnak” azt a módját műveli (választékos magyar nyelven), amely Jausz-szal szólva, egyszerre közvetít szövegélményt és öntapasztalatot. Ebben a tekintetben (is) a magyar esszéírás legjobb hagyományát folytatja.

Amit a *Sophia és Logosz* Bevezetésében ír, hogy tudniillik könyve nem a kulturális folyamatok deskripciója, hanem kultúrabölcseleti interpretáció, értelmezés és átértelmezés, továbbá, a kultúra átfogó története helyett annak kersztmetszetét adja, voltaképpen minden könyvére nézve érvényes. Amikor írásum címéül azt választottam, hogy „*Irodalomértés – kultúrabölcseleti alapon*”, akkor a Hajnádý Zoltán által sugallt megkülönböztetés szellemében jártam el, vagyis az Oroszországban oly előszeretettel művelt kulturológia helyett a kultúrabölcseletet választottam magyarázó elvül az egyes tanulmányok megértéséhez. A *kultúrabölcselet* – így Hajnádý Zoltán – az orosz kultúrában hangsúlyos szakrális választja értékorientációja alapjául, a *kulturológia* viszont nem tesz különbséget a szakrális és a szekuláris értékek között, és arra törekszik, hogy túllépjen a kultúrabölcselet logocentrikus keretein. Aki az irodalmat is kultúrabölcseleti kontextusban olvassa, az az orosz gondolkodástörténet legjobb, mert időálló hagyományát folytatja: törekvést az ontikus és noétikus szféra egységére. Egyetértek azzal az értékeléssel is, melyet Hajnádý Zoltán a közelmúltban tapasztalható tudománytörténeti irányváltásról adott:

„Az utóbbi évtizedekben a kutatók jelentős része az analitikus filozófiától a megértés és az értelmezés hermeneutikájára fordult, tanúsítva, hogy a kognitív gondolkodás nem zárja ki és nem is helyettesítheti a metafizikus kontemplációt” – írja a *Sophia és Logosz* 13. oldalán.

Az orosz gondolkodástörténet az elmúlt két évszázadban több kísérletet is tett az új értékorientációval járó *paradigmaváltásra*, hogy csak a legfontosabbakat említssem: kísérlet történt a szakrális és szekuláris kultúra közötti határvonal átjár-

hatóságára, a kétpólusú orosz kultúra és mentalitástörténet bináris oppozícióinak megszüntetésére az egyetemesség jegyében, a Kelet és Nyugat, Oroszország és Európa közti ellentét meghaladására. D. Sz. Lihacsov tovább árnyalja ezt a több évszázados szembenállást, amikor az orosz kultúra két ágáról szólva megkülönbözteti a délről, Bizáncból jövő vallási-szellemi impulzust és azt a hatást, ami Oroszországot katonai és államszervezési tekintetben az északi Skandináviából érte. Ami pedig a 20. századi tudománytörténetet illeti, találkozhatni olyan értékeléssel is, amely az orosz formális irodalomtudományi iskolát (az orosz formalizmust) és a tartui-moszkvai szemiotikai iskolát is – európai értékorientációjuk okán – a tágabban vett kulturális paradigmaváltások közé sorolja.

Az első kísérlet lényegét Hajnádý Zoltán az alábbiakban foglalja össze:

„A 19. század közepétől kezdve a *szotérikus-krisztologikus-eszkatologikus* irányvonalat, amely közel került az üdvtörténethez (a *parúszia*hoz), kezdte kiszorítani a Danyilevszkij, Leontyev, Sztrahov képviselte *evolucionista kultúran-tropológiai koncepció*, illetve a *tudomány és az etika*, egy általános keresztény eszmerendszeren belüli szintézisére tett kísérletek (Fjodorov, Florenszkij, Vernadszkij stb)”. [Uo. 12]

Ehhez csupán azt tenném hozzá, hogy a természettudományokban is járatos, vallásfilozófus Florenszkij, az úrkutatást megalapozó Ciolkovszkij, a nooszféra fogalmát kidolgozó Vernadszkij, vagy a lelkiismeret intuíciójáról elmélkedő fiziológus Alekszej Uhtomszkij a szaktudományos kérdésekbe is beépítette a perszonális filozófia és etika szempontrendszerét, és ebben a tekintetben egy hullámhosszon gondolkodtak az európai dialógus-filozófusokkal. Ami pedig az orosz kultúrán belüli egykori vagy újkeletű bináris oppozíciókat, vagy a Kelet – Nyugat ellentétre épülő saját és/vagy idegen problematikáját illeti, megállapíthatjuk, hogy ezek megoldása, vagy a birodalmi tudat árnyékában felnövő messianizmus és „hipertrofikus küldetéstudat” (Lihacsov) meghaladása sem csupán szellemi erőfeszítés függvénye. Ha igaz az, például, hogy az orosz eszmetörténet olyan jelensége, mint a szlavofil – nyugatos szembenállás, vagy az ún. „pocsvennyicsesztvo” és nihilizmus mint ellentétes értelmiségi magatartásminták a 19. század második felében a megkésett orosz polgári fejlődés, a társadalmi-történelmi elmaradottság, egyszóval az orosz „nyomorúság” tudati reflexe (bennük csapódott le a történelem), akkor a megoldásuk is csak a kemény reáliák világában képzelhető el. Jellegzetes orosz vonás, ha az orosz ember nem boldogul a történelemmel, akkor zárójelbe teszi, felfüggeszti, kilép belőle. Az óhitű raszkolnyikról és az orosz „vándorfilozófusról” az alábbi frappáns jellemzést olvashatjuk a «Русский скиталец» esszéiben: «Раскольник-старовер и „философ-скиталец“, ищущий смысла жизни, по разным, правда, причинам, но оба ищут выключенности из истории». [HAJNÁDY 1998: 179]

Így volt a szubkultúra világában, de a magas kultúrában is van példa az európai norma szerint „botránys” történelem-felfogásra. Mandelstamra szokás hivatkozni, aki a *Csaadajev* esszéjében az író-filozófus Tolsztojt említi példa gyanánt:

„Létezik egy ősrégi hagyományosan-orosz ábránd a történelem megszüntetéséről a szó nyugati értelmében, ahogy azt Csaadajev értelmezte. Ez általános szellemi

lefejeverést jelentett, amely után beáll a „*béke*”-nek nevezett állapot. A szellemi lefejeverés ábrándja úgy elhatalmasodott honi látóköriünkön, hogy az átlag orosz értelmiségi nem is tudja elképzelni a történelmi haladás végcélját, mint e történelmietlen „*béke*” képében. Még nem is oly rég Tolsztoj fordult az emberiséghez az a felhívással, hogy vessen véget a hamis és szükségtelen történelmi komédiának és kezdjen „*egyszerűen*” élni”. [MANDELSTAM 1992: 42.]

A bináris oppozíciók listáját a magam részéről a „*kultúra*” és „*civilizáció*” elentétével egészíteném ki, amely hol bűvópatak szerűen szinte folyamatosan jelen volt az elitkultúrában és az értelmiségi közgondolkodásban, hol nyíltan is megfogalmazódott, ideológiai érvekkel megtámogatva, a szlavofil – nyugatos szembenállásban. Norbert Elias tanulmánya [ELIAS 2003] arról győzött meg, hogy ennek az ideológiai konstruktumnak a nemzeti öntudat felépítésében, a nemzeti önlegitimálás folyamatában mind Németországban, mind pedig Oroszországban fontos szerepe volt. Míg a „*civilizáció*” fogalma „a Nyugat öntudatát fejezi ki” és – legalábbis az orosz gondolkodásban – alapvetően a technikai-műszaki haladással azonosul, addig a német és orosz „*kultúra*”-fogalom „lényegében szellemi, művészi és vallási tényekre vonatkozik”, és ami kettejük értékstátuszát illeti, ahogyan a szerző fogalmaz, „a „*civilizáció*” mégiscsak másodrangú érték a „*kultúrához*” képest” [41, 42, 45].

A kultúratörténeti oppozíciók sorában nem lehet nem említeni az „óhitűek – újhitűek” szembenállását eredményező XVII. századi egyházszakadást, amely B. A. Uszpenszkij szerint a nyelv különös *szemiotikai státusára* vezethető vissza. Uszpenszkij az *Egyházszakadás és a XVII. századi kulturális konfliktus* tanulmányában nem kevesebbet állít, mint azt, hogy az orosz egyházszakadás oka nem dogmatikai, hanem alapvetően szemiotikai (jelhasználati) és filológiai természetű nézeteltérés volt, melyet a kortársak mint résztvevők teológiai problémaként éltek meg. Az óhitű – újhitű ellentét *nem konvencionális – konvencionális* antinomikus nyelvhasználatot, illetőleg nyelvszemléletet takar, amely nem maradt következmények nélkül az orosz szellemi élet későbbi alakulására sem. Arról van szó, hogy a nem konvencionális nyelvhasználati gyakorlat – a nyelvi forma és a nyelvi tartalom azonosítása, a jelölés és a jelölt közötti közvetlen kapcsolat tételezése, valamint az a tény, hogy a szigorúan szabályozott nyelvi normától való legkisebb eltérést is bűnnek minősítették – ugyan fogékonnyá tette a viták résztvevőit a szemiotikára, viszont útját állta bárminemű bibliamagyarázatnak, amely csírájában tartalmazhatta volna egy lehetséges prehermeneutikai gondolkodás kialakulását, mint Nyugat-Európában. Feltehetően ez a körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy Oroszországban a hermeneutikai gondolkodás viszonylag későn, csak a 20. század elején bontakozik ki.

Van itt ugyanakkor egy másik mozzanat is, amely ugyancsak indokoltá teszi, hogy elidőzzünk – ha csak jelzésszerűen is – az orosz hermeneutikánál, amely fő vonalaiban (kiváltképpen Bahtyin kapcsán) visszavezethető a *tárgy* orientált nyugat-európai, illetve a *szubjektum* vezérelt orosz esztétikai gondolkodásra. Natalja Bonyeckaja a *Mihail Bahtyin és a hermeneutika* tanulmányában [BONYECKAJA 1997] Gadamert idézve az alábbi szempontra hívja fel

a figyelmet: „A megértés elsődlegesen azt jelenti, hogy a dolgot értjük meg...”; „...aki megértésre törekszik, az a dologgal kapcsolódik össze”, következésképpen, s ezt már Bonyeckaja teszi hozzá: „A hermeneutikai szituációban e közös tárgy a legfőbb érték, nem pedig a róla társalkodó személyiségek”. [254] Bahtyin átfogó perszonális hermeneutikájában viszont a hangsúly az „én” és a „másik” (a másik ember, a bennem lakozó másik, a Szerző, az Isten) korrelatív viszonyára, az „Én” és a „Te” közötti párbeszédre esik, el egészen odáig, hogy ezt a személyközi relációt olyan vallásos konnotációjú fogalmakkal írja körül, mint „bűnbánat”, „feloldozás”, „kegyelem”, „szeretetszükséglet”. *A szerző és a hős* olvasható úgy is, mint ennek a perszonális hermeneutikának az irodalomesztétikai vetülete. „Am egy életeseemény a maga egészében nem mutat kiutat: egy élet kifejezheti magát belülről a tett, a bűnbánó gyónás, a kiáltás révén, de a feloldozás és a kegyelem a Szerzőtől száll alá. A kiút nem tartozik immanensen az élethez, hanem alászáll mint a „másik” válaszaktivitásának ajándéka” – olvassuk *A szerző és a hős* [BAHTYIN 2004] 138. oldalán.

Arra a kérdésre, hogy mi az orosz irodalom nemzeti sajátossága, miben van „máassága”, hogyan gondolkodott magáról és milyen értékrendet preferált, *az irodalom kultúratörténete* adhat választ, miként arra is, hogy milyen irodalomfelfogást implikál az adott nemzeti kultúra. Ha a magyar íróban, különösen a 20. században, erős volt a közép-európai regionális tudat, az orosz író már a 19. században is Kelet – Nyugat, Oroszország – Európa relációban gondolta el a *saját és idegen* problematikáját. Amikor az irodalom küldetésstudata vagy az írói szerepvállalás kérdése került előtérbe, a viszonyítási pont mindig Európa volt. Az orosz irodalom kultúratörténetének sajátosságát mi is csak európai kontextusban érthetjük meg teljes mélységében. A keleti és nyugati esztétikai gondolkodás különbsége visszaköszön az irodalom kultúratörténetében is, s nem csak a kérdésekre adott válaszokban, hanem magában a kérdésseltevésben is. Úgy gondolom, hogy a Gogolt foglalkoztató kérdés előtt, hogy tudniillik megítélhető-e a műalkotás esztétikai értéke az alkotó emberi-etikai magatartása alapján, a kortárs francia író, mondjuk Flaubert, meglehetősen értetlenül állt volna. Mint ahogyan az is idegen a nyugat-európai modelltől, ha az író azt tartja, s itt megint csak Gogolra kell hivatkozni, hogy ami hőseiben elítélendő, az belőle magából került át hozzájuk, illetve a pozitív jellemekről és cselekedetektől nem lehet és nem szabad képzelet alapján írni, ahhoz magának az írónak is jobbá kell válnia. Egyáltalán, a művészi alkotás autonómiájának bármilyen, akár önkéntes korlátozása is, elfogadhatatlan a nyugat-európai író számára, de az is, ha mesterségbeli kérdéseket etikai síkra transzponálnak (этизация художественных вопросов).

Kedves Tanár Úr! Adjon a Teremtő jó egészséget és számolatlan éveket a további munkáidhoz!

Irodalom

- ГАСПАРОВ 1988: Гаспаров, М. Л. Первочтение и перечтение: к Тыняновскому понятию сукцессивности стихотворной речи // Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига: «Зинатне».
- BAHTYIN 2004: Bahtyin, M. A szerző és a hős. Budapest: Gond-Cura Alapítvány.
- BONYECKAJA 1997: Bonyeckaja N. Mihail Bahtyin és a hermeneutika. // Helikon 1997/3.
- ELIAS 2003: Elias, N. A „kultúra” és a „civilizáció” ellentétének szociogenezise Németországban// *A kultúra szociológiája*. Budapest: Osiris
- HAJNÁDY 1985: Hajnádý Z. Lev Tolsztoý. Tragikum Halál Katarzisz. Budapest: Akadémiai Kiadó.
- HAJNÁDY 1987: Hajnádý Z. Lev Tolsztoý világa. Budapest: Európa.
- HAJNÁDY 1991: Hajnádý Z. Az orosz regény. Budapest: Tankönyvkiadó.
- HAJNÁDY 1998: Hajnádý Z. Культура как память. Главы из истории русской культуры. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
- HAJNÁDY 2002: Hajnádý Z. Sophia és Logosz. Az orosz kultúra paradigmaticus-szintagmatikus rendszere (bináris oppozíciói, leküzdésük alternatívái). Debrecen: Kosuth Egyetemi Kiadó.
- HAJNÁDY 2011: Hajnádý Z. A lét tüze. A fénylő logosz. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.
- MANDELSTAM 1992: Mandelstam, O. Árnyak tánca. Esztétikai írások. Budapest: Széphalom Könyvműhely.